

ISSN 0132-0637

2000

1

Октябрь

Октябрь

1 2000

# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

2000

ЯНВАРЬ

В Н О М Е Р Е

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Михаил РОЩИН.  
**Князь.** Книга об Иване Бунине, русском писателе . . . . . **3**
- Анатолий НАЙМАН.  
**Песочные часы.** Стихи . . . . . **88**
- Афанасий МАМЕДОВ.  
**Люби и ошибайся.** Повесть . . . . . **94**
- Антон УТКИН.  
**Соседняя страна.** Рассказы . . . . . **132**
- Сергей ЮРСКИЙ.  
**Фонтанка.** Моя автогеография . . . . . **143**
- Александр ХУРГИН.  
**В пределах нормы.** Рассказы . . . . . **155**

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Олег ПАВЛОВ.  
**Когда не спасает красота.** Из нелитературной коллекции . . . . . **162**

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Борис ХАЗАНОВ.  
**Левиафан, или Величие советской литературы** . . . . . **165**

Алексей ПУРИН.  
Взгляд на город, похожий на Петербург ..... 172

### **Панорама**

Светлана ВАСИЛЬЕВА. **ОБЖ, ЕБЖ** (Владимир Салимон. Бегущие от грозы). \* Владимир ШПАКОВ. **Мыслящий стилист** (Игорь Клех. Инцидент с классиком). \* Л. ВОЛОДАРСКАЯ. **Рабле двадцатого столетия** (Генри Миллер. Роза распятия). \* Виктор КУЛЛЭ. **Существо поэзии** (Игорь Меламед. В черном раю). \* Марк АНТОНОВ. **Теза — антитеза — синтез** (В. В. Набоков. Комментарии к «Евгению Онегину»). \* Александр ЛЮСЫЙ. **Как жить в Европе, не выезжая из России** (В. К. Кантор. Феномен русского европейца). \* Валерий ШУБИНСКИЙ. **История любви** (Виктор Топоров. Двойное дно) ..... 174

### **Песни познания**

Глубокая тахизма (композиция номер раз) ..... 188

### **Актуальная культура**

Рубрику ведет Владимир БЕРЕЗИН ..... 190

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

#### **Редакция:**

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

#### **Общественный совет:**

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine/October](http://www.infoart.ru/magazine/October)

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности  
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 29.11.99. Подписано к печати 22.12.99. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 8480 экз. Заказ № 2867. Цена 29 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

# КНЯЗЬ

КНИГА ОБ ИВАНЕ БУНИНЕ, РУССКОМ ПИСАТЕЛЕ

...я жил лишь затем, чтобы писать...

*Ив. Бунин*

...и идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем — и не оставляет тайная боль неуклонной потери их — неуклонной и бесплодной, ибо идут в бездействии, все только в ожидании действия и — чего-то еще... И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, не понимаемая мной.

*Ив. Бунин. Жизнь Арсеньева*

## *Вместо предисловия*

**К**огда-то, в начале 60-х, приехав однажды в любимую Ялту, я провел несколько часов сряду в чеховском доме в Аутке, как-то особо воспринял его. Впитал в себя. Дом еще не был замызан тысячами ног и чужих туристских дыханий, хранил свой прежний дух и уют, своеобразие и очарование. Бродил по нему, взглядываясь в Чехова, а думал о Бунине — о том эпизоде в его жизни, когда Бунин с позволения Марии Павловны Чеховой жил в Белой даче как свой, хорошо знакомый человек. Чехов уехал на какое-то время за границу, в Ниццу, в доме оставалась только мать Чехова Евгения Яковлевна и слуги.

К этому времени я пережил многолетнее бурное увлечение Буниным — целый огромный роман с ним, — уже вошел он во все поры, и время было освободиться от его влияния, вернуться к себе, если я хотел писать по-своему (а так и было, конечно). Бродя по дому, я легко вообразил себя им, таким же, как я, тридцатилетним молодым писателем, еще мало кому известным, в начале пути, полным великих честолюбивых мечтаний, замыслов, попыток их воплощения на бумаге.

В Литинституте мы учились вместе с Юрием Казаковым. Именно я принес ему как-то Бунина, хотя сам, весьма начитанный московский юноша, лишь в 20 лет обнаружил, что есть такой писатель на свете, — настолько Бунин был в запрете. Казаков, как известно, еще более всю жизнь был «ушиблен» Буниным, собиравшись написать о нем книгу. К сожалению, не успел.

Повторю: мне надо было тогда освободиться от Бунина — слишком был напуган им, вчитан в него, покорен.

Счастливого свойства писателя: возможность освободиться от действительности, от любви, от горя, от увлечения — передать все бумаге. Мне тоже ничего другого не оставалось. Я еще раз, вернувшись к столу, перелопатил Бунина, Чехова, будто актер, взял себе роль Бунина и твердил ее, пожалуй, еще месяца три или больше. Я все знал в тот момент и о Бунине, и о Чехове, и об их эпохе.

Очень скоро, залпом, запалом написал рассказ «Бунин в Ялте». Кажется, сказал там, выплеснул все что мог. Дал почитать друзьям — одобрили, старик Катаев, главный наш тогда мэтр, тоже сказал несколько добрых слов, отметил, что про Чехова даже более сказано, чем о Бунине. Рассказ приняла и скоро напечатала «Дружба народов» — журнал как раз всходил на новую ступень своей популярности. Был успех. Я, словно луна от солнечного света, сиял бунинским отражением. Полнобуниние.

Освободился ли я от Бунина? Нет, конечно. Сыгранная роль запечатлелась во мне навсегда.

*Мой длинный «бунинский» путь привел меня к данной книге (разумеется, это новая книга. «Бунин в Ялте» — совсем иное, рассказ сюда даже не включен) — я не писал беллетризованную биографию, роман — sie другое.*

*Вручаю книгу тебе, читатель.*

*«Князь» было домашнее прозвище Ивана Алексеевича Бунина. Человек властный, своенравный, он любил все делать по-своему, подчинял жизнь жены и всех близких своему режиму — режиму ежедневной, как правило, с раннего утра работы, коей отдавал и всю свою энергию. Не терпел пререканий, скандалов, перепалок, хотя сам позволял и ворчать, и капризничать. Характер имел не самый легкий. Но способен был тут же шутить, дурачиться, изображать по-актерски талантливо в лицах разных знакомцев. Это — внутри дома, со своими, но и внешне, вообще Бунин был нравен, запальчив, горд, щепетилен насчет чести, соблюдения приличий, высоко привык держать свое родовое дворянское достоинство. Мать, кстати, была княгиня, урожденная Чубарова. Не терпел лжи, фальши, чурался неинтересных, неталантливых людей. Особенно строг был в оценках литературных, в литературе тоже следуя своему жесткому кредо, сам держался в особь, берег свою оригинальность, свою личность. Бывал во имя принципа русской классической литературы и крут, и неустов, беспощаден, даже несправедлив. Чем владел, того не уступал. Упорен был и последователен только в своем труде, в страсти писать. Совершенствуясь от произведения к произведению, от других требовал того же. Любил более всего Россию, ее литературу, ее культуру, всю свою потерянную родину, стоял на страже наших духовных богатств. Знал свое предназначение, верил в себя, свой путь, стоял твердо. Мы знаем, кто был графом в нашей литературе. Бунин был же князь-рыцарем, собою, всей жизнью утвердил, что значит быть русским писателем, — каждой строчкой. Князь — лучше не скажешь.*

**ИСТОКИ.** Какая Русь! Какая природа! Что за типы! А каковы женщины, любовь! Каков также герой, обычно молодой, помещик, барин, студент, еще ли кто, путешественник, мужик и почти всегда до корней волос русский человек. И всегда поэт, художник, человек с особым зрением и чувствительностью, умеющий видеть, различать и понимать, что не всякому дано. И по-особенному избразить потом увиденное.

Мне не представляется нужным и возможным слишком много говорить от себя — я решил принципиально более давать простора моему герою, самому великому автору: зачем же долго объяснять писателя, не лучше ли пристальнее читать его, с чувством, с толком, с расстановкой? Пусть и знакомое. Пусть и повторно. Когда направляешь на привычный текст линзу, строчки словно подсказывают, обретают объем и выпуклость, буквы озаряются маленькими радугами, красота каждой строки, смысл и музыка ее удесятерятся в призматическом сиянии. Слова, детали, сравнения, присущие этому писателю, делаются определеннее и показательнее, доказательнее. Сжимается дистанция между мной, читающим текст сегодня, и автором, написавшим это когда-то, бог весть в какие времена. Эффект присутствия поразителен, наше соединение с писателем за счет наглядности, точности изображения, наше с ним сотворчество (в чем и состоит чтение) озаряет нас тем же восторгом, какой и он должен был испытывать, складывая из смальты слов свою сверкающую мозаику. Позволим здесь более говорить Бунину, он умел это получше, и никакой комментарий, по сути, не нужен: все само так и входит в глаза и в душу.

«Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротником и глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в длинных сапогах в переднюю ось, дергал мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь. Слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, неровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер...

Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором: перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто шла сверху вниз по великой стене туч резвая голо-ветвистая молния, и над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед затем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже наскоком... Красильщиков рос и учился в Москве, окончил уже университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил себя чувствовать помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни...»

Это «Степа», один из замечательных рассказов «Темных аллея». Между прочим, написан только в 1938 году, как рассказал сам Бунин — «на вилле Бесолей, над Монте-Карло. Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имени своего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской губерний) по направлению станции Боборыкино. Проливной дождь. Затем — сумерки, постоялый двор возле шоссе, и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой неожиданно. Когда начал рассказ, еще не знал, чем кончу».

Трудно поверить — так все точно выверено дальше. Мысль уже овладела автором, некий желанный, загадочно-необходимый образ представился ему — не ранее, не позже, а именно в этом, 38-м году, на какой-то вилле, при самых, видимо, далеких от излагаемого обстоятельствах. И этот образ, видение, требует теперь воплощения, оживления. Художник взял бы краски, скульптор — глину или камень, писателю возможно схватить, оконтурить и оживить видение только словами.

Гроза загоняет Красильщикова на знакомый постоялый двор. Хозяина нет, но Красильщиков смело идет в дом: поднялся на крыльцо, сбросил промокшую чуйку, «вытер пестрое от грязных брызг лицо и — вот оно, это место! — стал счищать кнутовищем грязь с голенищ». В доме находит он одну Степу, дочь хозяина, в свете горящей спички «видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой». Обнаружилось, она давно влюблена в него, рада ему, готова для него на все. Молодой купец, что называется, пользуется моментом. «Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей среди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе... Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу...»

В 38-м году Ивану Алексеевичу Бунину 68 лет — так далек он от того молодого купца, в котором наверняка изобразил себя, молодым, легким, напористым, вот эдак лежащим с папироской на отлете рядом с навеки вошедшей в сердце неведомой нам, затерянной во временах и пространствах девушкой. Что ж это, так электронно точна память или вполнину все вообразено и придумано?

Бездонны грусть и чистота этого рассказа. Он обещает Степе вернуться, взять замуж, как она просит.

«— Мне на Крещение уж шестнадцатый пошел, — поспешно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...»

И — невероятный финал: «Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске».

«Невероятный», — говорю я, а что ж невероятного? Очень даже вероятный — по жизни, так оно и бывает, но все же «невероятный» по своему художественному, литературному удару — надо придумать такое! — чтобы поразить читателя в самое сердце, и оттого так глубока правда этого светло-печального и такого юного для 68 лет рассказа!

Впрочем, возраст автора, вся грусть и тайны его, возможно, и помогают ему быть столь свежим, эротически-напряженным, до конца правдивым. Но об этом — еще впереди.

Как все-таки происходит это чудо, тайна? Желание и способность, а затем умение так писать? Вообще писать?.. Жить, чтобы писать?..

И ведь так рано, необыкновенно, — существо человеческое едва дышать стало, лепетать первые слова, стоять на ногах, обонять, бояться холода, жара, громкого звука, глаза открыло и уши. Тайна все-таки. В семи-, восьми-, девяти-летнем ребенке уже звучит поэт. Как? Откуда?..

Русским писателям Бог судьбу лепит почти по одному стереотипу. Родиться положено где-нибудь в среднерусской полосе (там и расти в детстве), в семье дворянской, заметного роду-племени, с корнями, но чаще уже обедневшей, с землями и крестьянами в залоге, но с сохранившейся, как правило, усадьбой, домом, близкими деревнями или хуторами.

Отец достается обычно странный, крутонравный, суровый или чересчур веселый, мот и гуляка, вроде Алексея Николаевича Бунина, мелкопоместного дворянина, успевшего и хозяйство разорить, и наследство спустить и женино приданое. Но не без талантов и обаяния.

Мать — чаще всего, напротив, существо тихое, женственное, доброе, нежное.

По семейным преданиям, нрав десятилетнего Вани Бунина уже являл смешение характеров, и отцовского, и материнского. Худой, тонкий в кости, узколицый, красивый синеглазый мальчик мог быть отчаянно смел, боек, говорлив и насмешлив — это отцовское: отец был на войне, волонтером, в крымской кампании, попивал, погуливал, играл в карты, любил прихвастнуть знакомством с самим графом Толстым, тоже севастопольцем. От начитанной, религиозной, печальной маменьки (из девяти детей пятеро умерли, хозяйство вечно в упадке) мальчику привились задумчивость, любовь к красоте и природе. Даже в имени матери — Людмила — Бунину всегда чудилось пушкински-далекое, символическое. Очень любил мать всю жизнь, был ей предан, сколь мог, всегда помогал. Она тоже отличала его среди других детей, чувствовала его необычность.

Память даже через много десятилетий ищет своих первых впечатлений бытия, тем более память художника, поэта.

Теоретически следовало бы искать их еще в утробном цикле, в окружающих мать, материнское чрево воздухе, атмосфере, в кровотоке и психике женщины. Если угодно, в самой географии, в эпохе.

Иван Алексеевич Бунин родился 23 октября (ст. ст.) 1870 года в городе Воронеже, на Дворянской улице.

Воображения и фантазии писателя, вероятно, достало бы и на исследование себя в утробной жизни, но во всем и всегда честный Бунин не заходит так далеко. Вот его первые младенческие впечатления — из «Жизни Арсеньева», одной из главных его книг, «книги жизни»: «Самое первое воспоминание мое есть не-

что ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косорогом, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновенье! Почему именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чужая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий. В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...»

Бунин фиксирует в себе необычайно раннее ощущение одиночества. И этот странный, неведомый зов куда-то...

Между тем и атмосфера, и воздух, и дух родной земли обступали его весьма густо. Проникали в него, без сомнения, сквозь все поры.

А Воронежская губерния, между прочим, представляла собою вот что: все это среднерусские земли, предстепье, самая глубокая, исконная Русь. Река Дон делит губернию почти на две равные части: на правой, более возвышенной — уезды: Землянский, Нижнемедведицкий, Воронежский, Коротоякский, Острогжский, Бобровский, Павловский, Новохоперский, Бирюченский, левая — с Задонскими уездами. Степи, леса, овраги, косогоры, ложбины, холмы, реки: Оскол, Девица, Хопер, Битюк, Икорец, Тихая Сосна, Черная Калитва, Воронеж, — всего до 250 рек и речек.

Соседи — Курская губерния, земли Войска Донского. В XVIII веке здесь расположились крайние русские княжества, Липецкое и Ворогольское. Затем — Елецкое, удел Рязанского. Население всегда было самое пестрое: русские, печенеги, половцы, монголы, малороссы, цыгане, колонисты-немцы. Богатая черноземная земля, обширные степные луга.

Что такое сам Воронеж? Знаменитый в России город, еще с 1695 года, когда Петр Великий прибыл сюда строить флот. Оставался до революции дворец Петра с цитаделью; было пятьсот каменных домов. Существовал Митрофаниевский монастырь, 47 фабрик и заводов, водопровод, одна мужская, две женские гимназии, духовное училище, кадетский корпус, десять городских школ и училищ, музей, библиотека. Памятники Петру, поэтам Кольцову и Никитину, уроженцам города.

Поэзия, конечно, начинается с «зова пространства», со звучащей в душе мелодии. «Так начинают, — писал Пастернак, — года в два./ От мамки рвутся в тьму мелодий,/ Щебечут, свищут — а слова/ Являются о третьем годе».

Вспоминается отчего-то знаменитый фильм Спилберга «Контакт третьей степени» о прилете космической тарелки на Землю: там первые сигналы о прибытии идут из космоса в виде мелодии всего из пяти нот, но все, кому надо, от мальчика из Алабамы до гигантских толп индусов, хором поющих эту мелодию, — все ее слышат и ею возбуждены и влекомы.

Растущий среди природы чувствительный и восприимчивый ребенок не может не обращать внимания на ритмы облаков, ветра, стучащего дождя. А что значит лежать на возу сена лицом вверх, ехать степью под мириадами движущихся или неподвижно-звучащих звезд? Он рано выучился ездить верхом и скакал безудержно по своим лугам, лесным и степным дорогам. Ритм!.. Поэзия начинается с ритма. А восторг этого движения, этих театральных зрелищ плывущих облаков, часами длящихся закатов?.. Сиденье на берегу с удочкой, прикованный взгляд на бегущую у ног воду реки, волнами колеблемую рожь и поля цветов, ромашек...

Ясным утром на тихом пруде  
 Резво ласточки реют кругом,  
 Опускаются к самой воде,  
 Чуть касаются влаги крылом.  
 На лету они звонко поют,  
 А вокруг зеленеют луга,  
 И стоит, словно зеркало, пруд,  
 Отражая свои берега.  
 И, как в зеркале, меж тростников,  
 С берегов опрокинулся лес,  
 И уходит узор облаков  
 В глубину отраженных небес.  
 Облака там нежней и белей,  
 Глубина — бесконечно светла...  
 И доносится мерно с полей  
 Над водой тихий звон из села.

Это написано в семнадцать лет, уже в немалом для юного поэта возрасте. Впрочем, что возраст для поэта? Есть ли он у него вообще?

По семейным преданиям, уже в восемь маленький Бунин сочинял стихи.

Никакой поэт не растет одиноким цветиком среди голого поля. Подобно великой природе, окружает его стихия великого родного языка. И, подобно великой стихии языка, окружает его сызмала океан великой родной литературы. Начинается, возможно, с матушкиных молитв, с нянькиных сказок о кикиморах и бесенятах, что гнезятся по углам темных, без света, комнат, кладовок, сараев и чердаков. По-старинному распевно, с чувством и волнением читает мама любимого ею Пушкина. Рано, раньше всех, приходит к русскому писателю Пушкин, легкий, складный, веселый и озорной. Его ритм, его ямб, его свобода хочешь не хочешь входят в кровь, в ум, пьянят и восторгают, влекут подражать ему, говорить, как он.

Из «Жизни Арсеньева»: «Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к “Руслану”: “У лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том...” Казалось бы, какой пустяк — несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, такой вздор — какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то “ученый” кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки и “на неведомых дорожках следы невиданных зверей”. Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное. В том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и “ученый” в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений (“и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом”), и эти “неведомые” дорожки, и “следы невиданных зверей”, — только следы, а не самые звери! — и это “о заре”, а не на заре, та простота, точность, емкость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом — сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то запovedной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:

Там лес и дол видений полны,  
Там о заре прихлынут волны  
На брег песчаный и пустой,  
И тридцать рыцарей\* прекрасных  
Чредой из вод выходят ясных,  
И с ними дядька их морской...

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня “Старосветские помещики” и “Страшная месть”. Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, “жизненный состав”.

Эти “поющие двери”, этот “прекрасный” летний дождь, который “роскошно” шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где “старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей...” А “Страшная месть”!»

Бунин и далее цитирует Гоголя — стоит обратить внимание, какие особенно выделяет слова и метафоры. «Тихо светит по всему миру; это месяц показался из-за горы. Будто дамасскою белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен... Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: черные казацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны...»

А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка: «На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она замолчала, потупивши очи в сонную воду, а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи...»

Далее. «Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, всегда запоминая, закрепляя за собой,— чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса».

Эти замечательные слова уже относятся к своему таланту: с восторгом, со страстью запоминая, закрепляя, с верностью чутья и вкуса!..

Русские писатели учатся у русских писателей — ну не только, разумеется, не только! — но новые великаны опираются на плечи старых, есть школа, учителями в ней, как мы только что видели, все тот же Пушкин, тот же Гоголь!.. Как сказочно хороша эта школа! Как просторны ее классы, высоки окна и потолки, чисты стены и коридоры, просторны и высоки лестницы, какой дух прилежания и самодисциплины, любви и товарищества, авторитета и образованности учителей! Сурова администрация, справедливы оценки, образцовы отличники, наказуемы по заслугам лентяи и проныры, позорны подхалимы и любимчики начальства, соперничество и соревнование благородны, шпаргалки и выскочки презираемы. Образцова и почитаема школа русской литературы!

Бунин так заканчивает свой рассказ о Гоголе: «“Страшная месть” пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки,— чувство святейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда бога, есть вера в него. В минуту осуществления его торжества и его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви к богу и к ближнему...»

\* Так у Бунина. У Пушкина — «витязей» (М. Р.).

Среди однообразного, без особо ярких событий детства нужно, однако, выделить некоторые, несомненно, давшие стимул к пробуждению писательства, организации того самого «жизненного состава» юного Вани Бунина.

Во-первых, хорошо иметь в жизни, в детстве старшего брата, такого особенно, как Юлий Алексеевич Бунин. Был он бунинской же породы, даже внешне были весьма похожи, но все же отличен несколько иной индивидуальностью: умен, целенаправлен, со сложившейся по-иному биографией. Скажем, средний брат Евгений, человек более мягкий, «домашний», без особых талантов, был отправлен отцом в военное училище и оставался вначале в Петербурге в полку. Юлий же поступил в университет, кончил курс, затем перешел еще на юридический. Ему прочили научную карьеру, но он увлекся другим: без конца читал Чернышевского и Добролюбова, сошелся с молодой оппозицией, вступил в революционно-демократическое движение, «ушел в народ». Был арестован, отсидел некоторый срок, затем сослан в родные места. Так что Ваня мальчиком встретился с братом, пережившим уже немало, образованным, критически настроенным, автором революционных прокламаций и имевшим свой круг таких же, как сам, друзей — в Полтаве, Харькове, Петербурге. Долгие прогулки с братом, долгие беседы, когда Юлий отвечал на вопросы, начиная с карты звездного неба и кончая жизнью и положением крестьян, оказали на младшего брата огромное влияние. Так осталось потом на всю жизнь: дружить с Юлием, во всем советовать, слушать, получать его помощь.

Пожалуй, можно сказать, что старший брат брал умом и образованием, а младший покорял талантливостью, остротой, оригинальностью. Честолюбием и целеустремленностью.

Соблазнительно вспомнить и привести здесь бунинский гороскоп, весьма выразительный:

«Рожден под знаком Скорпиона. Противоречивый, сложный, контрастный характер и судьба. Под двумя планетами: Марс — сила, война, резкость, и Нептун — более мягкое, гуманное. Знак воды. Привлекательный и жестокий. Сам себя пожирающий. Первая трудность для него — жизнь. Все есть, чтобы добиться успеха: энергия, сила, живость, но из-за раздражительности характера много врагов. Много таинственного и загадочного. Весь свой яд направляет на себя, даже когда искренен, замкнут и насторожен — таков его способ защиты. Но когда его критикуют действительно или нападают, гнев его страшен. В работе, в исполнении долга — всегда железная воля, он прирожденный боец, никогда не ищет спасения в иллюзиях, быстро находит слабую точку в человеке или ситуации. В отношениях с людьми — порядочность, честность, но как глубокому индивидуалисту всего важнее независимость. Символы его — скорпион, орел-змееносец, светильник, пирамида, жук, череп; цвета — желтый, красный, алый, малиновый; металлы — железо и сталь; камни — аквамарин, топаз, берилл; цветы — гвоздика, пион, хризантема; счастливый день — вторник. Сильное влияние солнца. Самые привлекательные для жизни страны — Германия, Швеция, Алжир, Марокко, Цейлон».

Удивительно, но сколь многое оказалось в самом деле пророческим в жизни Бунина — и осуществившимся; мистика — ну что ж, и насчет мистики тоже что-то есть в гороскопе и в самом скорпионском знаке. Если продолжить сравнение, то Юлий, родившийся под знаком Рака, имел — по гороскопу — характер мягкий, любезный, матерински-заботливый, нежный, полный сочувствия к людям, — все сие и испытал на себе младший брат, о котором Юлий заботился, право, как родная мать. Иван Алексеевич отвечал самой горячей любовью, трагически пережил смерть брата — уже вдали от него, в эмиграции.

Юлий жил на поселении в Озерках, но по доносу соседа Логофета вновь был арестован, отправлен по железной дороге с двумя жандармами. Это уже крепко осталось в памяти: позже Иван Алексеевич опишет эту историю: как

убивалась и молилась мать, как беспечно махал рукой отец: «Ну, арестовали, ну, увезли, может, в Сибирь сошлют, мало ль нынче ссылают, и почему какой-нибудь Тобольск хуже Ельца? Нельзя жить плакучей ивой! Пройдет дурное, пройдет хорошее, как сказал Тихон Задонский, все пройдет!»

Вторая заметная фигура — Ромашков, Николай Осипович. Среди многочисленных друзей и соседей отца был помещик Ромашков, а сын его прослыл чудаком, странным человеком: с отцом разошелся, с братом тоже, разорвал и бросил какой-то наследственный документ, скитался. Появился в гости к Буниным, по пьянствовал и поспорил, поспорился не раз в застолье с Алексеем Николаевичем да и остался гостевать — так водилось прежде между приятелями. Был Николай Осипович начитан, образован, окончил курс в Лазаревском институте восточных языков в Москве, носил парик, ел только хлеб с горчицей под водочку, с Людмилой Александровной говорил по-французски. Она рада была: вот, мол, пусть и Ваню обучит. И Николай Осипович сделался домашним учителем, доведя Ваню до самого поступления в гимназию. Учил Ромашков читать по «Одиссее» и «Дон Кихоту»; часами рассматривали вместе журналы «Всемирный путешественник» и «Земля и люди» — там были и египетские пирамиды, и пальмы, и пираты, и дикари в пирогах. Так что, с одной стороны,— Дон Кихот, рыцари, замки, средневековье, с другой — дальние страны и океаны, путешествия, приключения. Впечатлительный и памятливым мальчик все впитывал, мечтал потом и о том и о сем. Ромашков сам много скитался, навидался людей, натерпелся лиха, умел живо и интересно рассказывать, увлекался, вызывал у мальчика сочувствие в своих диккенсовских передерягах.

Этот человек, названный в «Арсеньеве» Баскаковым, учителем оказался слабым, но заражал своей необычностью и необузданностью. Кроме того, однажды он подарил воспитаннику коробку акварели, и краски поразили ребенка. «Пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловую, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве,— и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листьях, я и умирая вспомню...»

Возможно, благодаря Николаю Осиповичу Ваня стал лучше различать и понимать взрослых людей.

Все же в том, что касается учения, главную роль играл Юлий Алексеевич. Другим сильным впечатлением детства оказалась болезнь — лет в семь-восемь. Видимо, скарлатина. «...Это было как бы странствие в некие потусторонние пределы. Что же было со мной? Я испытывал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех человеческих чувствах — в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании; испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, за исключением самых дорогих сердцу, любить». Болезнь, боль всегда, как ни странно, благо, помощь творчеству. «Коэффициент полезного действия грусти на душу поэта». Человек надолго и глубоко остается наедине с самим собою. Так рождаются жемчужины: песчинка попадает на нежное тело моллюска, слой защиты обволакивает ее, за ним — второй, третий, так далее. Мир исчезает, скрывается за толстым, глухим стеклом, ребенок остается один, ему не постичь происходящее. Но потом ярко и освежающе возвращение к этому миру, привычному здоровью, ожившим чувствам и желаниям. Нет, болезнь — великое и благое испытание.

Еще одно из ярких впечатлений детства — первая поездка с родителями в город. Бунин будет потом путешествовать всю жизнь, сделается страстным пу-

тешественником, объездит весь мир, самые дальние страны, но первое детское путешествие останется в памяти навсегда. «Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился среди двора на солнечном припеке, глядя на тарантас, который еще утром выкатился из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в одном месте дороги случилось вот что: в одной лощине,— а дело уже было к вечеру и места были очень глухие,— глухо рос дубовый кустарник, густо-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника “разбойник”, с топором, засунутым за пояс,— самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виденных домов, меня ослеплял блеск солнца, стеклов, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в такой величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительнее в городе оказалась вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле,— а видел я много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка сделана, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великие радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: “В аккурат сапожки!” — и ремennую плеточку со свистком в рукоятке... С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой ременной плеточки!»

Так пишет, так не пропускает ничего, всматриваясь в себя, в свою жизнь, поздний Бунин, пожилой уже человек, опытный мастер, великий прозаик и поэт. Как любителю он всякой деталью, как находит все нужные слова! Но Бунин не был бы Буниным, если бы ограничивался двумя-тремя выбранными, «вкусными» деталями и словами,— он всегда останавливается еще на самом важном в жизни, на таинственном и отвлеченном. Так, весь этот рассказ о поездке в город завершается неким странным видением и мыслью, далеко не просто восторженной и малозначительной. «На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом... в нем было великое множество окон, в каждом окне была железная решетка, он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо запорты,— и стоял за решеткой в одном из таких окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором отражалось нечто такое сложное и тяжелое, что я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах, смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты... Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь,— есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало:

я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания, особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым курстарникам в лощине с топором за подпояской. Но то был разбойник,— я ни минуты не сомневался в этом,— то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка...»

Так понемногу маленький Бунин постигал мир — не одни прелести, цветы и краски его, но и страшные тайны. И это был уже не малыш, который не выговаривал букву «р» и, капризничая, кидался на пол и кричал: «Умиа-аю!» — это был уже думающий, пристальный мальчик, сочиняющий первые стихи.

И еще одно детски-отроческое важное событие: смерть младшей любимой сестры Саши. Мальчику уже и до того пришлось узнать слово «смерть»: умерла бабушка, потом почти на глазах его погиб один из деревенских мальчишек с Выселок, один из тех, с кем он привык играть, бегать, ходить в ночное,— мальчик скакал верхом и вместе с лошадью упал в Провал, близкий страшный овраг, засосавший всадника вместе с лошадью. Смерть сестры резанула по душе еще резче, не изгладилась потом никогда.

Русский писатель обычно наделен нежной, чувствительной душой — и глубокий, не поверхностным, склонным к философии умом, способным к самонаблюдению за движениями и колебаниями обостренно-нервной души. Вместе с душой, с жизнью Бог вкладывает в нас и наши боли: причуды характера, возраста, прямые болезни и даже самую смерть. Теперь генетики научно объяснили тайны наших генов, генотипов, наследственных и обретенных качеств и недостатков. Чуткой душе и острому уму не надобно и объяснений: всякая мысль о смерти, любое наглядное зрелище ее — тем самым напоминая, удар колокола, о котором сказал Хемингуэй, всегда мучение и тревога. А чем жгуче жажда жить, умение полно дышать всем воздухом и жаром жизни, тем, естественно, печальней сие напоминая. Сказать, что Бунин не любил смерти, было бы смешно,— кто ж ее любит и как это можно? Тем более для натуры почти по-животному чувственной, греховной, жадной, языческой.

Снова из «Жизни Арсеньева»: «... умерла Надя — месяца через два после моей болезни, после Святков. Святки прошли весело. Отец пил, и каждый день, с утра до вечера шло у нас разливанное море, дом был полон гостей... Мать была счастлива: высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на Святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особо бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытьи, горела, и в детской было все то же: завешенные окна, полумрак, свет лампадки... За что именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово — “кончается” — раздалось для меня впервые поздним зимним вечером, в глуши темных снежных полей, в одинокой усадьбе! А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел: в зале, на столе, в лампадном могильном свете лежала нарядная недвижимая кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами... Более волшебной ночи не было во всей моей жизни.

...Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни — жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись

губки Нади к выносу ее из дома. И моя уstraшенная и как будто чем-то опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу...

И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла».

Когда возрастал наблюдательный, внимательный, чувствительный отрок Ваня Бунин, в поместной России существовала еще нормальная, семейная жизнь. Было много родственников, соседей, друзей; семьи с женитьбами, перепродажей земель, заботой о детях переплетались между собой. Бунинские и чубаровские земли из Воронежской губернии заходили в Орловскую, в Курскую. Каменка — это одно, Батурино — другое, Озерки — третье, Васильевское родных матери, Пушешниковых, — еще новое место. Множество лиц, связей, отношений, преданий!.. Не забыть, например, о родной тетке Бунина, тете Варе, которая была не в своем уме. Где-то когда-то Иван Алексеевич сказал, что он живет в тайном безумии, но возможно, что и генетические корни имели здесь место.

Вера Николаевна Бунина-Муромцева, верная жена, прожившая с И. А. всю жизнь, в своей биографической книге немало рассказывает о родных, о семейном быте тех, еще мирных российских времен. Мальчика повезли в Елец в гимназию, отдали на постой к мещанину Бякину (за 15 рублей в месяц с харчами). С ним же отправили родственника Людмилы Александровны Егорушку Рышкова — вместе маленьким гимназистам было повеселее у сурового Бякина. Есть запись в дневнике самого Бунина: «...Вечер какого-то царского праздника (конечно, тезоименитство Александра III, 30 августа). Иллюминация, плошки, их чад и керосиновая вонь. Бякин, гимназист 15 лет, показал нам в гуляющей толпе хорошенькую мещаночку, свою любовь, потом дома дал карточку какой-то молодой девицы. Совсем голой. Не сразу заснул после этого. Ночь, лампадка, что-то вроде влюбленности в мещаночку Бякина и какого-то возбуждения при мысли о карточке».

Ваня любил шататься по городу, наблюдать людей, разные сценки, перебранки. Потом удачно копировал, ярко рассказывал. В гимназии благодаря памяти и ранней начитанности учился хорошо, не давались только арифметика, алгебра (кто и когда из поэтов мог понять, почему  $a+b=c$ ?). На другой год Ваню поместили жить у кладбищенского ваятеля, Ваня научился лепить из глины кресты, кости, черепа. Еще одну зиму Ваня жил у тетушки Веры Аркадьевны, что разошлась только что с мужем. Это не у Бякиных скучных и не у могильного скульптора: тетушка была веселая, общительная, каждый вечер полно народу, вся местная богема: актеры, офицеры, дамы, самовар весь день не сходил со стола. Ваню поразили бритые, говорливые, веселые актеры; благодаря им по контрамаркам стал ходить в театр, все пересмотрел, что можно; когда приезжали навещать родители — брали обычно с собой любимую сестру Машу, — с ними тоже ходили в театр, цирк. Ване уже минуло пятнадцать, чувствовал себя взрослым, много читал, писал стихи. Влюблялся.

Брат Евгений задумал жениться, выбрал дочь винокура помещиков Бехтирявых Настасью Карловну Гольдман. Винокура звали Отто Карлович Таубе, это был добрый, порядочный немец. У Насти оказалась младшая сестра Дуня, Ваня влюбился, однажды поцеловал ее, испытал ужас блаженства.

«Свадьба была назначена на Ильин день в Знаменском, приходе Озерок. Пир до зари. Гостей много — и родные, и друзья, и соседи. Пели, плясали, выпили море шампанского». Ваня надевал невесте туфельку, клал туда золотой, вез с ней в карете образ к венцу — был одним из действующих лиц.

И случилось еще чудо: когда вся семья сидела на балконе за самоваром, раздался стук колес и из брочки вышел брат Юлий, худой после тюрьмы, чужой, но

легко еще отделился: на три года в Озерки под надзор полиции. Мать более всех была счастлива.

Если правда, что Бунин жил, чтобы писать (а это несомненно), довольно взять один из его знаменитых шедевров «Суходол» — как вылилось в эту повесть все родное, родственное, потомственное. Один из прекрасных бунинских женских образов — Наталья из «Суходола», дворовая крестьянка, но молочная сестра отца, всю жизнь прожившая в семье с барями, слившись с ними. Боже, как написан «Суходол»! Какие слова, какие краски, люди! Жесткой, жестокой была жизнь в бывшей барской усадьбе: и любили жестоко, и убивали, и били, а всех держала любовь к этому месту, земле, этой жизни. Чего стоит судьба той самой безумной тети Тони! «В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо...

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей... Но душа-то и в нем была суходольская — душа, над которой так велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее бытия, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворян и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кирилловичу? Разно говорят о том предания. Кто был отцом Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекло столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!..»

Кажется, Бунин оказался единственным из русских писателей, кто так просто и смело обозначил нерасторжимое родство веками тесно живших помещиков-дворян и крепостного их люда, деревни, — его великая любовь к России, русскости отворяла ему эту простую тайну.

А какова старая, в упадке, но еще мощная усадьба! Подростки Ваня и Маша попадают в Суходол во время грозы. Много гроз и дождей написано Иваном Алексеевичем Буниным — и замечательно, и эта, суходольская, в особь. «Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний... Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив, плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал...» А как дом изображен, комнаты, фортепьяно тети Тони — что там Ивану Сергеевичу Тургеневу, что Льву Николаевичу Толстому или Антону Павловичу Чехову! Необычайно резок, пронзителен, всею печалью сердца, кровью его пишет Бунин.

Не зря потом критика и читатели выделяют «Суходол» и «Деревню» в самые заметные, пронзительно-правдивые его произведения, с них пойдет слава Бунина-прозаика. Говорили, что никто еще так про деревню не писал.

Да и не писал так-то!

Впрочем, «Суходол» написан уже в 1911 году окрепшей и уверенной рукой.

Ребенка, подростка, юношу, отмеченного литературным даром, переполняет множество чувств, впечатлений, обобщений раннего опыта. Все это невозможно без конца держать в себе — надо выразить, поделиться, хоть с самим собою, а лучше с листом бумаги. Потому что уже есть примеры, есть поэты, отчего же они умеют так складно и сладко говорить обо всем? Юный Бунин честолюбиво мнит себя новым Пушкиным, Лермонтовым, на меньшее он не

согласился бы. Но как, как это делается? Жить просто так, не рассказав впечатления от осени, зимы, первого снега, грозы? Смерти? Первой любви?.. Подростком Ваня, приехав зимой на каникулы, познакомился с гувернанткой своих маленьких кузин, дочек Евгения. Остались записи в юношеском, одном из первых дневников — дневник, кстати, всесильный, всевмещающий дневник, бывает обычно первым литературным прибежищем переполненного чувствами сердца и кипящего впечатлениями ума. 15-летний Бунин, только прослышав о гувернантке, уже мечтает о ней, готовится, волнуется. Вот встреча на крыльце знакомого дома в Васильевском: «Это была барышня маленького роста, с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся...»

Он влюблялся и в других барышень, в кузин, в их приезжавших в гости подруг, в какую-нибудь нечаянную Юленьку или дорожную попутчицу, он хаживал со скуки на деревенские гулянки, где парни и девки пели, плясали на вытоптанном пятачке, кричали частушки, сам сочинял припевки,— там тоже можно было высмотреть какую-нибудь, поиграть глазами, а то и посидеть тесно бок о бок,— мы не знаем, что там бывало с ним, знаем только, что бывает со всеми. Он, конечно, мечтал о настоящей любви, он выбирал, он ждал — она пока не приходила. Можно было писать, надеяться, изливаться в дневнике или стихах.

О да, от злобы я молчу.  
Стою, как нищий у дороги,  
И жду, исполненный тревоги...  
Но подавня не хочу...

Я жду хоть ласкового слова.  
Хоть только нескольких минут  
Любви, забвенья молодого...  
Душа болит... А дни идут!..

Боже, сколько замечательных женских портретов, характеров — каких! — напишет потом в своей жизни Иван Алексеевич Бунин, и как примитивна, убога эта первая избранница! Да и не умеет он еще об этом, пишет, как получается, фиксирует. Но все же не может молчать, не может!.. «За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже друзьями, а я, кроме того, влюбленным. И теперь вот я сижу и пишу эти строки. Все спит... но мне и в ум нейдет. “Люблю, люблю”, шепчут мои губы». Далее, через день: «Она моя! Она меня любит! О! С каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!..» Какое все чужое, литературное, выдуманное, неумелое!.. Это — Бунин? Автор великих шедевров о любви — «Солнечного удара», «Легкого дыхания», «Генриха»?.. Нет, конечно. Это только пылкий мальчик, начинающий что-то лепетать в своем младенческом дневнике. Писатель учится писать всю жизнь, даже самый гениальный. Все должно созреть, выработаться, определиться. Здесь же он и философствует, и хочет казаться мудрым и всепонимающим тоже еще по-детски, по-гимназически: «Но, может быть, именно более всего святое свойство души Любовь (с большой, конечно, буквы!) тесно связано с позицией, а позиция есть Бог и святая святых земли, как сказал Жуковский\*.

Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная. Я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! И на самом деле так должно быть: поэт платит о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно!»

\* В. А. Жуковский был сыном помещика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи. Бунин часто вспоминает это семейное предание, дальнейшее родство.

Любопытно, что здесь же, чуть ниже, 15-летний автор дневника при свете луны пишет о прошлом: «Почему-то мне вдруг вспомнилось давно, давно, когда я был еще лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная... Я был тогда в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымит... Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет ребенок...»

Прошедшее, вспомненное, элегическое всегда для писателя важнее и интереснее сиюминутного, злободневного — со временем это станет одним из главных принципов и признаков Бунина: через прошлое являть настоящее. Вся «Жизнь Арсеньева» — большой современный роман, писавшийся уже в эмиграции, — памятник прошлому, забывшемуся, сошедшему в Лету. Даже гувернантка Эмилия послужит прототипом Анхен. И, как ни странно, по рассказу Веры Николаевны, судьба еще раз сведет писателя с этой кукольной фигуркой: к уже пожилому писателю на одном из его выступлений в Ревеле в 1938 году подошла поленькая пожилая женщина — это была Эмилия.

Нетрудно догадаться, что первые, юношеские стихи Вани Бунина тоже были слабые, подражательные, литературные. Отражались картинки природы, фантазии о любви, о море, об иных неведомых мечтах. Первыми попавшими в печать были стихи памяти умершего в 1897 году очень знаменитого тогда поэта Надсона. В них весьма прозрачно все заимствованное, романтизированное, сделанное «как надо».

Угас поэт в расцвете силы,  
Заснул безвременный певец.  
Смерть сорвала с него венец  
И унесла под свод могилы.  
В Крыму, где ярче неба своды,  
Он молодые кончил годы,  
И скрылись в урне гробовой  
Его талант, могучий, сильный,  
И жар души любвеобильной,  
И сны поэзии святой!..

Не правда ли, звучит почти пародийно? И чего только нет из старого арсенала: «певец», «венец», «свод могилы» и рядом — «неба своды», «сильный — любвеобильной, гробовой — святой...»

Опять хочется спросить: да Бунин ли это?

...Я — простая девка на баштане,  
Он — рыбак, веселый человек.  
Тонет белый парус на Лимане,  
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре  
Хороши... А я черна, худа.  
Утопает белый парус в море —  
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, непогоду...  
Не дождусь — с баштана разочтусь,  
Выйду к морю, брошу перстень в воду  
И косою черной удавлюсь.

Вот это Бунин.  
И вот это:

И ветер, и дождик, и мгла  
Над холодной пустыней воды.  
Здесь жизнь до весны умерла,  
До весны опустели сады.

Я на даче один. Мне темно  
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,  
Но тебе уж тоскливо со мной.  
Под вечер ненастного дня  
Ты мне стала казаться женой...  
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны  
Проживу и один — без жены...

Сегодня идут без конца  
Те же тучи — гряда за грядой.  
Твой след под дождем у крыльца  
Расплылся, налилсь водой.  
И мне больно глядеть одному  
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:  
«Воротись, я сроднился с тобой!»  
Но для женщины прошлого нет:  
Разлюбила — и стал ей чужой.  
Что ж! Камин затоплю, буду пить...  
Хорошо бы собаку купить.

Можно сказать, что это два разных Бунина, — нет, один, просто первый — еще начинающий, неумелый, поддельвающийся под чужое — якобы так надо, второй — созревший, уверенный, обретший свой голос.

Не забудем вот о чем: пока юный поэт возрастает и созревает в своей глуши, весь остальной огромный мир русской литературы (и не только русской) меняется; уже вступил в иную эру своего развития. Вообще весь свет меняется, кончается век, на пороге — двадцатый, со всеми своими назревающими катаклизмами, катастрофами, высотами, провалами. Как далеко ушла литература от милого, добродушного лукоморья! Наступила кризисная эра декаданса, символизма. Уже явились на свет Брюсов, Белый, Сологуб, Волошин, Блок, Цветаева; умерший печальный Надсон — просто дитя в сравнении с мистическими, замумными, агрессивно-вызывающими поэтами. Русская литература всегда пребывала в непрестанной борьбе, всегда была политизирована: от «Вольности» самого Пушкина, от Радищева, Рылеева — да все, кого ни возьми, боролись с деспотизмом, крепостничеством и между собою делились на западников, прогрессистов и славянофилов, оберегавших исконную, «истинную», святую Русь. Уже отшумело, отвоевалось, ушло в пространство истории народничество, сделавши свое дело, уже вышли вперед господ социалисты, будоража европы с америками, а заодно и матушку Русь; уже Федор Достоевский «Бесами» отозвался, которые сто лет потом будут перечитывать, сравнивать с вживе явившимися и взявшими власть бесами, пока что покатила, вроде невесть откуда, первая революция, запольхали там и сям первые усадьбы барские от руки столь любезного либеральным сердцам родимого мужичка.

То была напряженная, трудная юность, время самопознания и самосоздания. Казалось бы, внешних событий было немного, но для 14—15-летнего поэта все событие: ночная поездка по лесу, ландыши, мечта о какой-то гувернантке, картинка стрижки бабами овец, уличные деревенские посиделки с гармонью и частушками, смерть и похороны родственника или смерть любимого в ту пору поэта Надсона, первый поцелуй и первая папираса, арест и возвращение брата Юлия, дружба с младшей сестрой Машей и ее подружками, пьянство отца или его же рассказ о том, как играл в карты с графом Толстым, когда воевал в Се-

востополе. Где-то у Олеси есть: писатель начинается с двух вещей — внимания и воображения. Бунинская особенная наблюдательность начинается рано и остается навсегда, превращаясь со временем в изощренность, в ту именно бунинскую густоту прозы, поэзию прозы, о которой Чехов говорил, что она как двойной бульон, а Куприн кричал в сердцах: «Меня тошнит от твоей изобразительности!» Юноша Бунин мечтает быть не хуже Пушкина и Лермонтова, самолюбие и честолюбие его проявились удивительно рано, он как бы наперед знает свою судьбу, пусть в мечтах, но провидит свой славный путь, отчего сразу высоко ставит, как теперь говорится, планку для своего прыжка. И все осуществлялось, между прочим, шло даже и поверх планки. Не шуткою было уже в 1900 году напечатать сразу в одном номере горьковской «Жизни», и поэму «Листопад», и «Антоновские яблоки» — первый из шедевров бунинской прозы. Не шуткою была ранняя Пушкинская премия, избрание в академики. (Кстати, однажды парижский шофер такси, куда сели Бунин и его секретарь Седых, послушав две минуты разговор пассажиров, — Бунин всю жизнь употреблял, когда надо было, крепкое словцо, — сказал: «Я угадал, господа, должно быть, мсье — офицер русского флота?» «Нет, — отвечал Бунин, — я почетный академик по разряду изящной словесности». «А, изящной!» — только и оставалось сказать шоферу.) Не шуткою были ранние собрания сочинений, широкая известность среди русской эмиграции и полный отказ от Бунина на родине, ставшей советской. И уж совсем не шуткою сделалась Нобелевская премия 1933 года, первая литературная Нобелевская, полученная русским писателем.

Из книги Веры Николаевны Муромцевой о жизни Бунина, из «Жизни Арсеньева», из различных воспоминаний и документов, явившихся на свет уже теперь, когда опомнившаяся от тоталитаризма Россия стала наконец подбирать свои разбросанные в разные времена и по разным странам богатства, признавать своими тех, кто десятилетиями ходил во врагах и изменниках, — из всех этих примечательных для биографии писателя вещей легко увидеть, как вырос мальчик и юноша Бунин. Рос в родительских деревенских поместьях, среди быта «мелкопоместных», разорившихся, живших вплоть и почти вровень со своими крестьянами, среди орловской, елецкой природы, полей и лесов, в большой семье, со множеством сородичей и соседей, с чудаками-учителями, с пахотами и жатвами, ночными и охотами, сказками и преданиями, с ежедневными событиями и историями, в самой глубине родного языка, песен, преданий, молитв, праздников и похорон, — всегда на вольном воздухе, под сияющими или льющими дожди небесами, под звездами, в завале зимних снегов, с конюшнями и скотными дворами, лаем собак и соленьем капусты. «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, — писал А. Блок, — мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко, и красочные и слуховые его впечатления богаты». То же знание и любовь обнаруживаются в самых первых, даже газетных (когда работал в «Орловском вестнике» и писал туда что попало) заметках, очерках и первых рассказах Бунина о «простом» народе, мужиках-крестьянах, бабах, мелкопоместном дворянстве.

В русской литературе за спиной Бунина уже существовали Гоголь, Некрасов, тургеневские «Записки охотника» — может быть, лучшее, что написано о русском мужике! — писатели-народники с их умилением и радением о народе — страдающем брате.

«...Начало моей новой жизни совпало с началом нового царствования. Плохие писатели писали тогда романы и повести, пошлые заглавия которых верно выражали сущность происходившего: “На переломе”, “На повороте”, “На распутье”, “Смены”... Все и впрямь было на переломе, все сменялось: Толстой, Щедрин, Глеб Успенский, Златовратский — Чеховым, Горьким, Скабичевский — Уклонским, Майков, Фет — Бальмонтом, Брюсовым, Репин, Суриков — Леви-

таном, Нестеровым, Малый театр — Художественным... Михайловский и В. В. — Туган-Барановским и Струве, “Власть земли” — “Котлом капитализма”, “Устой” Златовратского — “Мужиками” Чехова и “Челкашем” Горького...

“Россия — сфинкс”. Религия Герцена — религия земли. “Община, артель — только из них, на этих великих началах, на этих святых устоях может развиваться Россия. И это — свет во тьме мещанского запада”.

Вера в народную жизнь. Народничество влияло на все — на литературу, науку, жизнь. Народничество жило верой, что Россия войдет в светлое царство социализма. Народничество было проникнуто истинным религиозным пафосом...»

Бунин и здесь видит и пишет по-своему. «В юности, читатель, меня очень интересовали дураки. Не улыбайся,— право, о них стоит подумать... Я с одинаковым удовольствием любовался и на старых, и на молодых, и на толстых кретинных, и на худых, долговязых идиотов. Мне нравилось наблюдать, как старый дурак постоянно гордится тем, что он женат и что он чистокровной породы; как он любит подарки, мятные пряники и произведения искусства — в часы досуга; как он всем дает понять, что он если и не блещет красотой теперь, то еще очень представительен. Нравилось мне, как гордится молодой дурак, говоря, что у него вся жизнь впереди, то есть что он тоже будет женат и будет любить пряники и прибавит народонаселения... Но потом — это-то еще бы ничего! — потом я встретил такую разновидность этой милой породы, что крепко задумался. Я встретил “злого” дурака! О читатель, бойся злого дурака! Злой дурак не чета другим. Злой дурак гордится не тем, что он женат, а тем, что он — гений. Он видит, что кругом него рукава жуют, а он не жует и понимает, что он среди других — гений. Думают так же и многие посторонние. Да и в самом деле! — посмотри, какой иронией светятся свиные глазки этого гения под наплывшим лбом...»

Резок, сердит в данном случае молодой автор — что ж, это с ним бывало, позже и порезче, и покруче умел он сказать. Однако смладу питавшие его родные Каменка, Озерки, Бутырки, Васильевское — среднерусские села, усадьбы, окружавшие их уголья, населявший их народ, они, а ничто иное были пищей зрения, слуха, души молодого поэта, и им обязаны мы и русская литература рождением замечательных бунинских шедевров, вроде «Руси», «Таньки», «Ловчего» и многих других. «На край света» — первый бунинский сборник рассказов — уже был наполнен этой природой, этими типажами.

Что такое Захар Воробьев из одноименного рассказа, богатырь-мужик русобородый с богатырской же душой?.. Он нес на руках верст пять нищую, убогую старуху, а мог бы, кажется, унести всю Русь, все ее горе-злосчастье. Да что толку! Гибнет Захар, выпив на спор с дрянными людишками море водки. Поэт Иван Вольнов сказал об этом рассказе: «Это — на сто лет! Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали».

В изображении мужиков, крестьянской жизни, деревенской природы чудятся у Бунина та же правда и та же боль, что были у Некрасова, у Глеба и Николая Успенских,— не зря Успенских он всегда высоко ставил, почитал, писал о них.

Бунин знал не идеализированный, романтизированный, приукрашенный из разных причин и чьих-то выгод русский народ, а подлинный, полный всякими достоинствами и столь же разнообразными малопривлекательными чертами. Но правда-Бог велит писателю: даже художественно-преображенный мужик у него есть во всем смаке и мощи мужик-богатырь и дикарь, хозяин и раб, человек и полуживотное. Как ни странно, Иван Алексеевич всегда внутренне полемичен, с чем-то (редко с кем-то) борется и полон скрытого, сконцентрированного пафоса. Изредка прорывается наружу. Так, например, в 1915 году: «...литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах те-

перь нынешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках — по извозчикам и дворникам, о солдатах — только одно: “Так что, ваше благородие”, говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то, никогда не бывалый утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются». Фальшь, проклятая фальшь — первый враг Бунина. Это пишет уже автор «Деревни», произведения, бомбой рванувшего в обществе, мощного по замыслу и воплощению, сказавшего ту голую правду о Руси, на которую никто не решался. Прорвалось далеко не «вдруг» — о вековой отсталости, косности и дикости, о загубленности жизни и судеб, о вине не кого-то, социальной и классовой, а самих людей, обладателей и носителей конкретных характеров, исконно, исторически, генетически русских, со всеми их качествами и пороками, свитыми воедино. Здесь он шел в ногу со зрелым, мудрым Чеховым, автором «Моей жизни», «Мужиков», «В овраге», уже драматургом Чеховым.

Еще более жесткие и жестокие вещи сказал писатель о родимом народе, когда тот втянулся и разгулялся вовсю в годы революции: Бунин стал автором одной из самых беспощадных русских книг — «Окаянных дней». За что и был, как известно, навсегда отлучен от советского читателя. Горького за «Несвоевременные мысли», книгу, тоже не по шерстке глядящую власти и революционный народ, вроде бы простили, прижали к груди ленинско-сталинской, а Бунин — нет, никогда, до самой его смерти.

Еще бы! Приведу одну малоизвестную запись из дневника Бунина 6 августа (н. ст.) 21-го года: «В газетах все то же. “На помощь!” Призывы к миру “Спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян!” А вот когда миллионы гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал... И как надоела всему миру своими гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь — Русь!»

Надо глубоко и яро, всей душой любить родину, чтобы сметь так сказать! Вроде как было сказано: «немытая Россия».

А что же писал в 21-м году не «злой обыватель» Бунин, а мастер Бунин? Поискав, я наткнулся на один из удивительных рассказов «Преображение» — как сын Гаврилы читал ночью псалтырь над умершей и лежащей в гробу матерью: «...Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, — разве это она, вот это Нечто, ледяное, бездвижное, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плюсом и белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что вчера еще ютилась на печке? Нет, свершилось в ней некое преображение — и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преобразенном мире!...»

Вот каков, право, этот Иван Алексеевич! Как он умел всю жизнь и одно увидеть, и другое, с орлиной своей зоркостью и мудростью змия позволить себе говорить тогда и то, что хочется и просится.

Помните, чеховское по каплям выдавливание из себя раба? Кажется, Бунин подобной работы никогда не проделывал: он был свободен — да и все. Скорее, если уж сравнивать с чеховским глубоким демократизмом, Бунин тяготел более к аристократизму и свободе Льва Николаевича Толстого, самого любимого им писателя, главного своего учителя.

Давайте проверим: никто ему не сказал в 14—15 лет, никто не научил, не надушил, не нагадал, не подтолкнул — ни мать, ни отец, ни брат (такой авторитет!), ни одна душа и даже книга, а он все знал, сам знал, кто он, что, кем будет, что его ждет. Он хотел только писать, только в этом добиваться совершенства и гордо стоять выше всех. Ведь он не мечтал — ни в офицеры, ни в купцы, ни в сановники, ни в банкиры, — нет, он был рыцарем литературы, поэзии — и только. Пушкин, Лермонтов, позднее — Лев Николаевич Толстой. Других идеалов, других примеров не было. Он читал Золя, Флобера — они оказали на него свое воздействие, вне сомнения. Но Толстой был выше. Да и кто же писал в ту пору лучше? Кто занимал столь много места в обществе? 16-летний Бунин написал Толстому письмо, решил: как, мол, жить, как писать? Лев Николаевич уже позже, при встрече с ним (о чем рассказано в книге о Толстом) так ответил ему: «Не ищите от жизни ничего лучше того, что у Вас есть теперь, и момента более серьезного и великого, чем тот, который Вы теперь переживаете... Не думайте также о форме жизни иной, более желательной: все безразличны. Лучше та, в которой требуется напряжение духовной силы».

А еще позже случился такой эпизод. Страстная любовь к Толстому, желание увидеть его своими глазами, возможно, поговорить хоть минуту толкнули Ивана с азартом и решительностью Бунина-старшего поехать к Толстому. До Ясной Поляны, до Тулы от них было верст сто. Семнадцатилетний юноша взял свою любимую, подаренную отцом Кабардинку, на которой он так много привык скакать по окрестным местам, и отправился в путь. По дороге лежал городок Ефремов, где Ваня прежде тоже никогда не бывал, — Ефремов на самой Красивой Мечи, той, тургеневской, — тоже интересно. Он скакал весь день без отдыха, волнуясь и воображая себе предстоящую встречу. И, конечно, устал, и дня езды до Ясной ему не хватило. Устал до предела, достиг Ефремова, а здесь — ни родных, ни знакомых, денег тоже нет. Пришел в городской сад, сел на скамейку, потом прилег. И заснул. Проснулся только на рассвете нового дня, застыл. Идти не к кому, на гостиницу денег нет. А до Ясной еще немало, не доехать, и лошадь еле жива. Пришлось повернуть назад. Вернулся, конюх только охнул, до чего барчук загнал бедную Кабардинку. Но все же это был поступок, и все же — будто побывал у Толстого, — воображение, во всяком случае, дорисовало то, чего не сбылось.

Может быть, эта поездка сделала и того больше: нельзя было далее оставаться в глуши, одному, с самим собою, — великий мир вокруг, хочется вырваться, всюду побывать, все увидеть.

Так начались его юношеские, молодые, долгие скитанья.

Брату Юлию отменили ссылку, разрешили жить в городах. Он уехал в Харьков, обещал выписать туда Ваню.

Росший одиноко и сосредоточенно в своей глуши барчук не так уж круто был отрезан от тех течений, очевидных и подводных, которые бурлили в ту пору — конца одной исторической эпохи и начала другой. Уже судьба любимого брата Юлия могла сказать юноше многое: студент, близкий к народникам, потом к революционерам, арестованный, судимый, отправленный в ссылку, очень образованный и либерально настроенный Юлий Алексеевич был типичным представителем всего демократического движения. Когда Ваня приехал к нему, то попал в среду для него новую и странную. В книге В. Н. Муромцевой живо описано пребывание в Харькове. Жил Юлий в каморке, которую снимал у еврея-портного. Брат был иным, чем в деревне: не тихим, серьезным, а веселым, разговорчивым, душой большой компании молодежи. Даже звали его здесь Жуликом — от Юля-Жюль, но и с намеком на то, как брат провел следователей и избежал Сибири. К молодому поэту отнеслись радушно, но поэзию вообще презирали: все заняты были политической борьбой, а не такими мелочами, как литература. Его приняли, но «он был юноша непокладистый, не скрывал своего отрицательного отношения к тому, что

ему не нравилось, бросался в споры со всяким... Жили бедно, часто проводили вечера в спорах, слушали музыку. Иногда тайно приезжал бежавший из ссылки, иной раз и какой-нибудь известный революционер, тогда все подтягивались, вели бесконечные разговоры, обсуждая политическое положение, потом за ужином затягивали революционные песни. Скоро у Вани оказались “друзья” и “враги”, то есть те, кто для него были милы, и те, кто по типу ему были нестерпимы. (А он рано умел узнавать и распознавать людей.) Возненавидел он и некоторые революционные песни, главным образом за фальшь, как, например, “Стеньку Разина” или “Из страны, страны далекой...”. Особенно его возмущали строки: “Ради вольного труда, ради вольности веселой собрались мы сюда...”

— Хорош труд! Пьют, поют, едят, без усталости болтают и спорят. Большинство из них бездельники! Всем возмущаются, всех критикуют, а сами?..

Задевал его и язык его, совсем иной, чем язык его семьи, соседей, мужиков, мещан — их язык бледный, безобразный, испещренный иностранными словами и словечками, присущими этой среде, повторением одних и тех же фраз, например: “Чем ночь темней, тем ярче звезды” или “Бывали хуже времена, но не было подлей”, “Третьего не дано” — и так далее..

Тем более не могли ему понравиться идеи, о которых без конца шла там речь: об освобождении, свержении самодержавия, воле для народа. Эти горячие, честные, умные головы, молодые еще люди, хотя все были постарше Бунина лет на десять, что они могли знать по-настоящему!..

Бунин, разумеется, не знал пролетариата, города, но уж русский народ, мужика он знал достаточно. Все же он впоследствии стал автором знаменитой «Деревни».

Бунин поедет и в Орел потом (это особая статья), и в Одессу, в Крым, увидит впервые море, которое навсегда поразит его, и горы, и вообще иные пространства, кроме хлебных степей, снегов и все тех же небес. С художником Куровским отправится в Европу, увидит Париж, Берлин, Италию, Женевское озеро. Но все это — впереди. Прежде Европы были, конечно, Петербург и Москва.

Чего более всего хочется любому юному автору? Отзыва, оценки, толкового слушателя. Учителя. Хоть какого-то признания. Зачем было письмо и потом гонка к самому Толстому, позже — письмо и три рассказика обретшему известность автору «Пестрых рассказов» (книжка была читана и перечитана с восторгом) Антону Чехову? Послано несколько стихотворений в редакцию популярного толстого журнала «Книжки недели». Через год-два этот журнал уже довольно часто будет его печатать. Журнал «Родина» (петербургский), опубликовавший первое стихотворение Бунина в 1887 году, напечатает затем и первые его рассказы «Нефедка» и «Два странника». Так, довольно легко и совсем рано, Бунин стал на свой профессиональный путь. Нежданно-негаданно вдруг пригласили на работу в «Орловский вестник» — его редактор, «милая молодая женщина» Надежда Алексеевна Семенова. Он боялся: они же знают, что он, Бунин, даже в университете курса не кончил, уж не говоря о том, что у него всего четыре класса гимназии. Нет, оказывается, и Семенова, и ее муж уже читали, знали да и напечатали кое-что у себя. Приняли с радостью. Ему было 19 лет. Всего девятнадцать, но, как пишет в своей книге Вера Николаевна, — «одарен он был острым умом, наблюдательностью и независимым характером. И “вышел в мир” уже с известным жизненным багажом — знанием подлинного народа, а не вымышленного, со знанием мелкопоместного быта, деревенской интеллигенции, очень тонким чувством природы, почти знатоком русского языка, литературы, с сердцем, открытым для любви». Немало.

**ВАРЯ-ЛИКА.** Но более всего повлияли на него не литературные успехи, не путешествия, не новые мысли о мире и человечестве, не что-либо еще, а первая его сильная любовь, первая гибельная схватка с Женщиной.

Русскому писателю промыслительно полагается иметь исключительные, судьбоносные, необыкновенные любовные истории. Она может быть одна или несколько, самых разных, но, во всяком случае, число женщин в личной жизни писателя никак не окажется меньше числа самых интересных, живописных и живых героинь его поэм, рассказов, романов, вдохновительниц его творений, прототипов этих героинь — пусть часто и просто придуманных, слепленных по одной только частичке, косточке, как палеонтолог собирает древний скелет. Как будто бы, оглядывая жизнь Бунина, не видишь такого сонма красавиц, такого «списка», как пушкинский. Но! — читая Бунина, поражаешься обилию разнообразно и блестяще написанных женских характеров, портретов, судеб, — впрочем, у него и то, и другое, и третье слиты всегда воедино. Да еще каждая судьба, всякая любовная история колеблется на острие обоюдоострого ножа; жизнь — смерть и потом обрывается в смерть! С ума можно сойти от этих любовных бунинских рассказов, от этих героинь, поразительных женщин!.. Вспомним «Темные аллеи»: Степа, Муза, Руся, Натали, Красавица, Зойка и Валерия, Антигона, Таня, Галя Ганская и героиня «Чистого понедельника» — и все, и всё другое, что есть в этой волшебной, единственной на свете книге!..

Это разнообразие и многоликость замечательны и говорят сами за себя. Но все же, чтобы знать женщин, не обязательно знать множество — достаточно с бунинской пристальностью и его чувством правды взглядеться изначально в одну.

Женщина рождает поэта: мечта о ней, очарование ею, увлечение, изучение (потому что каждая есть тайна), влюбленность, волнения, ожидания, ревность, обладание, наслаждение — да какая еще страсть человеческая сравнима с этим!

Вся история его первой любви — к той девушке в пенсне, которую он встретил в «Орловском вестнике» в 19 лет, к Варваре Пащенко, дочери доктора, изложена отдельной повестью в «Жизни Арсеньева» — пятая часть, под названием «Лица». Перечитайте «Лику». На свете много книг о любви. Все книги о любви. Но самых лучших, может, наберется всего пять-шесть. Даже если только пять — среди них окажется «Лица» Ивана Бунина, русского писателя. Проверьте.

На каждой странице повести, в каждом эпизоде опять и опять поражаешься виртуозной точности писателя, беспощадной правде его психологического анализа взаимоотношений двух молодых влюбленных: их страсти, единению, слитности и отторжению, их бесконечной борьбе друг с другом: он такой, она — другая, нежность и полное понимание сменяются раздражением, вспышками раздоров, ревности, претензий, обид.

Хочу вспомнить, пересмотреть «Лику». Знаю, многим она, к сожалению, незнакома. Не могу не рассказать своего первого, ошеломительного впечатления, своего художественного потрясения, случившегося когда-то. Я носил за собою, я всем, кому мог, читал, отдавал книгу: такая была неподдельная, свежая радость!..

Это очень молодая книга. О первой любви, первой встрече и жизни молодых возлюбленных, юных супругов. О «последних днях моего юношеского иночества».

19-летний Бунин, как и его герой, приехал в Орел в редакцию «Орловского вестника», где и встретил Варвару Пащенко, работавшую в газете корректором, — она только закончила гимназию. Герой повести еще накануне «был одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу». У него — цыганский загар, худоба лица, запущенные волосы. Но вот другой, первый день его новой жизни. Он «отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особой мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера». С редакторшей, носящей в повести имя Ави-

ловой, он осматривает затем какую-то старую усадьбу, похожую на ту, что была у Тургенева в «Дворянском гнезде». «Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захотелось любви». Он уезжает ненадолго и испытывает «странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь к которой я уже совсем верил». Он еще совсем юн, этот герой, мальчишка, вокруг весна, и все воспринимается им остро, восторженно, возвышенно.

Сколько бы ни оговаривался Бунин насчет «Жизни Арсеньева», что это не биографическая книга, что вся «Ли́ка», в частности, придумана, сочинена, причем уже в старости, сто лет спустя, но невозможно не подставлять вместо Алеши Арсеньева в героя повествования самого молодого Бунина с его румянцем, усиками, глазами, чувствами (есть такой молодой портрет в бурке на плечах), — с кинематографической реальностью видишь все и всех, каждый эпизод, каждую деталь. Что хочешь делай, но сливается герой «Ли́ки» с самим автором!.. (А может, подсознательно старик к тому и стремился и оттого так вышукло вышло?)

«...Для новой поездке в Орел оказался деловой предлог: нужно было отвести проценты в банк. И я повез, но заплатил только часть, остальные растратил. Это был поступок не шуточный, но со мной что-то делалось — я не придал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно-счастливой решительностью. В Орле я непристойно нарядился — тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышком дворянский картуз, — купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня... Ехал опять на Писарево — с целью купить еще лошадь — там как раз в ту пору была в селе конская ярмарка... Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч». В обществе новых друзей он едет в чье-то имение на именины, и там он уже «сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее».

«...Я надолго остался после этого в городе, по целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца, — отец (беспечный человек, либеральный доктор) ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Исты и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильнее, счастливей, бессмысленней — моя или ее (тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся)».

«Ли́ку» Бунин сочинял, но себя самого ему сочинять не надо было — он оттаивал собою, только хотелось увидеть, вернуть себя того, молодого, влюбленного, одержимого, полного жизни и окруженного, погруженного в ту знакомую, дорогую, любимую им жизнь, которая прошла, но, кажется, все еще жила в нем во всей полноте.

Вся история происходит на фоне жизни губернского и уездного городов, деревни, природы, знакомых и неистребимопамятных. Повесть насыщена прекрасной, старинной живописью, словно галерея или хороший провинциальный музей...

«Уже давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской... Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве: доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию, после завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, беготней со своим рыжим Волчком... Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей — она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых, а я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральный лай Волчка, бесившегося на лестнице, сквозь слезы глядел в полузавешанные окна, на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой... Я все спрашивал себя: что делать? Было ясно, что именно. Но чем настойчивей старался я вну-

шить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо,— это было еще возможно, последней близости между нами еще не было,— тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелестью ее глаз, лица, смеха, голоса...»

Так — в повести, где все выверено, смягчено, продумано, поставлено на свое место. В самой жизни роман с Варей Пащенко развивался и так же счастливо, и мучительно.

Дело упиралось в самое житейское и примитивное: доктор Пащенко, ревнивый отец, высоко ставивший достоинства дочери, никак не хотел видеть в 19-летней мальчишке жениха и мужа, который подходил бы Варваре. Она тоже была девушкой с норовом, носила пенсне, привыкла к куче поклонников, при всей своей эмансипэ никогда не хотела пойти против воли отца. У нее в конце концов не хватило сил на борьбу, на ожидания журавля в небе.

Для русского писателя бедность — обычная спутница жизни. Ему вечно положено жить в полунищете, вечно в погоне за деньгами, в унижении бедностью, в муках уязвленного самолюбия. Бунина не миновала чаша сия: имения были разорены, от семьи помощи не получал, еще самому приходилось давать деньги матери, когда стал зарабатывать. Помогал немного только любимый брат Юлий, сам бессребреник. В «Лике» выразительно написан разговор доктора с Алешей Арсеньевым, где доктор пытается его: кто он? что он? говорит, мол, служить надо, быть кем-то, и в конце концов объявляет напрямую: «Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. И потом, позвольте уж говорить совсем откровенно: что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая и, нечего греха таить, довольно переменчивая — нынче одно увлечение, завтра другое, — мечтает, уж конечно, не о толстовской келье под елью, — посмотрите-ка, как она одевается, несмотря на наше захоlustье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорченная, я только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам...»

А вот — из жизни — одно письмо Ивана Алексеевича Варваре (апрель 91-го года): «Драгоценная моя, деточка моя, голубеночек! Вся душа переполнена безграничною нежностью к тебе, весь живу тобою, Варенька! как томишься в такие минуты! Можно разве написать? Нет, я хочу стать сейчас перед тобою на колени, чтобы ты сама видела все, — чтобы даже в глазах светилась моя нежность и преданность тебе... Неужели тебе покажутся эти слова скучным повторением? Ради Христа, люби меня, я хочу, чтобы в тебе даже от моей заочной ласки проснулось сердце. Господи! ну да не могу я сказать всего... Вот, например, за последнее время я ужасно чувствую себя “поэтом”. Без шуток, даже удивляюсь. Все — и веселое, и грустное — отдается у меня в душе музыкой каких-то неопределенных хороших стихов, чувствую какую-то творческую силу создать что-то настоящее. Ты, конечно, не знаешь, не испытывала такое состояние внутренней музыкальности слов и потому, может быть, скажешь, что я чепуху несу. Ей-богу, нет. Ведь я же все-таки родился с частичкой этого. О деточка, если бы ты знала все эти мечты о будущем, о славе, о счастье творчества. Ты должна знать это: все, что есть у меня в сердце, ты должна знать, дорогой мой друг. Нет, ей-богу, буду, должно быть, человеком. Только кажется мне, что для этого надо не “место”, а сохранять, как весталке, чистоту и силу души. А ты называешь это мальчишеством. Голубчик, ты забываешь, что я ведь готовил себя с младенчества для другой, более идеалистической жизни».

И тут же — само просится — следует процитировать письмо Ивана Алексеевича брату Юлию (тоже апрель-май 91-го года): «Если бы ты знал, как мне тяжело!.. Я больше всего думаю сейчас о деньгах. У меня нет ни копейки, заработать, написать что-нибудь — не могу, не хочу... Штаны у меня старые, штиблеты истрепаны. Ты скажешь — пустяки. Да, я считал бы это пустяками прежде, но теперь это мне доказывает, до чего я вообще беден, как дьявол, до чего мне

придется гнаться, *поневоле* расстраивать все свои лучшие думы, ощущения заботами (например, сегодня я съел бутылку молока и супу даже без “мягкого” хлеба и целый день не курил — не на что).

И этакая дура хочет жениться, скажешь ты. Да, хочу! *Сознаю* многие скверности, препятствующие этому, и потому вдвойне — беда!.. Кстати, о ней: я ее люблю (знаю это потому, что чувствовал не раз ее другом своим, видел нежно со мною, готовой на все для меня); это раз; во-вторых, если она и не вполне со мной единомышленник, то все-таки — девушка, многое понимающая...

Я тебя, кроме твоих советов, которые, богом клянусь, ценю глубоко, дорогой мой, милый Юринька, хотел просить еще места в Полтаве, рублей на сорок, на тридцать пять, да еще буду зарабатывать кое-что литературой — проживем с нею; а главное, *с тобою* в одном городе! Пишу несвязно, по-мальчишески — понимаю. Лучше не могу. Прощай и не называй меня дураком: мне тяжело, как собаке,— смерть моя!»

В эту пору он то и дело слезно обращается к Юлию с просьбой выслать хоть пять — десять рублей, а то и два всего — немедленно.

И далее: «Вдумайся... где мне жить? Дома? Бедность, грязь, холод, *страшное одиночество* — раз. Глядеть в глаза семье, перед которой я глубоко виноват,— тяжело, страшно тяжело — два... В редакции — работа проклятая, сволочи они оказались при близком сожительстве — страшные. Я сам думал, что не буду работать, буду лениться иногда. Вышло иначе: я работал, как никогда в жизни...»

Родители Варвары никак не хотели принять Бунина — это стало главной внешней точкой преткновения. Но и они сами, и он и она, мало верили в возможность своей совместной семейной жизни. А все Бунин! Его литература! Он хотел одного — писать, все остальное всегда только мешало ему, досаждало. Варвара писала Юлию: «Я вам уже говорила, что он не верит мне, а теперь прибавлю, что он и не уважает меня... Пусть он поживет хоть год без меня, может быть, у него сгладятся все эти шероховатости и он будет терпимее...»

Однако вернемся к «Лике», ее герою, к автору, который углубленно всматривается в себя через своего героя, воссоздает, почти ногтями выскребывает из памяти, как все было. Каков он был в ту давнюю пору.

Он уже не жил «на мелок» в Дворянской гостинице, а перебрался на дешевое подворье Никулиной на Щепной площади. «Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходил темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горницы,— там была спальня хозяйки и та комната, где стояли два больших дивана, на которых спали редкие проезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина, в тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника... “Прогулялись?” — ласково, с улыбкой милого снисхождения спрашивает хозяйка, выходя оттуда. Какой очаровательный, гармонический голос. Она была полна, круглолика. Я порой не мог спокойно смотреть на нее — особенно в те вечера, когда она, вся алая, возвращалась из бани и долго пила чай, сидела с еще темными, влажными волосами, с тихими и томным блеском глаз, в белой кофточке, свободно и широко покоя в кресле свое чистое тело, а ее любимая шелковисто-белая с розовыми глазами кошка мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук: стряпуха затворяла с улицы крепкие ставни... в комнате становилось все уютнее... Дикие чувства и мысли проходили тогда во мне: вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, под мерный бег будильника!»

Но далее происходит новая встреча с Ликой, в поезде, ночь близости. Кажется, счастье. Но... «это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно, и душевно». Он любит ее, ждет, ревнует, она медленно, но верно остывает, устает.

Его продолжают мучить неопределенность, зыбкость, непонимание. Он хочет писать, работать,— как написано это в вышеприведенном письме. «Потом

все чаще стало мелькать в уме: о такой ли жизни я мечтал! Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами! Все это только пока, теперь? Ну а что впереди? Мне стало казаться, что не все благополучно в нашей близости, в согласованности наших мыслей, чувств, вкусов, а значит, и в ее верности: этот вечный раздор между мечтой и “существенностью”, вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне». Как он в самом деле еще молод, хотя кажется себе взрослым! Как проявляется и прорывается его нелегкий даже ему самому характер!..

Бунин замечательно фиксирует разницу их натур, взглядов, с тончайшей психологической точностью, наблюдательностью. Он ничего не позабыл, не пробросил похода. «— Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему, — сказала она раз. — Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя...

И точно: по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил — особенно на людях — минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать — и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я, действительно, чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, пронизательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с ней и как страдал, не достигая ее!»

Бунин не стесняется признания в своей ревности, подозрительности — таков его опыт, его знание жизни и людей...

Последующие сцены еще интереснее, взяты наверняка близко к натуре.

«Я часто читал ей стихи.

— Послушай, это изумительно! — восклицал я. — “Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!”

Но она изумления не испытывала.

— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему “как месяц над рощей”? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.

Я негодовал: описаний! — пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась.

— Это только пауки, миленький, так живут!

Я читал:

Какая грусть! Конец аллеи  
Опять с утра исчез в пыли,  
Опять серебряные змеи  
Через сугробы поползли...

Она спрашивала:

— Какие змеи?

И нужно было объяснять, что это метель, поземка.

Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре: она слушала с беспощадным безучастием».

Поэту нужен слушатель, сподвижник, все понимающий и чувствующий, как он сам. Варя Пашенко была девушкой слишком земной, практической, поэзия и литература были для нее высокими материями.

Но зато она любила театр и сама участвовала в любительских спектаклях. Вообще мечтала стать актрисой.

В «Лике» есть убийственные страницы на этот счет.

«Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками и сладким говорком изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длинного сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацки, эти Фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями,— все это приводило меня просто в содрогание! А опера! Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками, раз навсегда раскинутыми врозь вопреки всем законам естества и связанными в коленках. Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: “Ты взойдешь, моя заря”, мельник из “Русалки” с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых не снято, однако, обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак! В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались, теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в “Записках сумасшедшего”, и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски-радостном и все растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и, наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом: “Се-го-дня-шне-го дня...” Вот на другой день он еще великолепно притворяется Любимом Торцовым, а на третий — сизоносим, засаленным Мармеладовым: “А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?”... Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричали друг на друга, не давая спать Авилевой, до трех часов ночи, и я клянусь уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского».

Стоит отметить, что именно такой театр не принял чеховской «Чайки», не мог ее исполнить, и востребовались Станиславский и Немирович, чтобы сделать иной театр. Напиши Бунин вдруг пьесу, ее бы постигла участь «Чайки».

«...Я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние; однако легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает: тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным...»

Прекрасно пишет Бунин провинциальный бал, и себя, и ее, затем с не меньшим ядом, чем о театре, рассказывает и о любительском драмкружке, где участвует Лика, и о любительском спектакле.

Все не нравится ему — все, что отнимет ее у него.

Варвара Пашенко, девушка в пенсне, была дитя своей эпохи, декаданса, свободы, вседозволенности, эпатажа, высокомерия ко всему «старому», гордыни и любви лишь к себе самой — полна того, что коробило и мучило Бунина с его дворянской щепетильностью и презрением к новым веяниям, всякому изло-

му и неправде. Варя играла свою игру, она открыто искала, где и что лучше, уставала от обыденного и рутинного. Мечтала о блеске и благополучии.

«...Теперь у меня было еще одно страдание, еще одна горькая “неосуществимость”. Я опять стал кое-что писать — теперь больше в прозе, — и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье! — и какой душевный труд!..»

Сие есть важный момент писательского мастерства. Далеко не каждый даже профессиональный писатель в размышлении и поиске, что и как писать, способен «образовать» в себе это «нечто»: оно образуется из всей его личности, жизни, взгляда на мир, душевного настроения, — душевный труд, в самом деле, так просто, авось, с потолка не возьмешь.

«...Я написал и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно: один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею, другой на пошлую тему о помещищем разорении и тоже с выдумкой, между тем как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р., и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкапе и вечно, вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья... Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность».

История Лики длится еще долго — в повести, в жизни все было более кратко и резко.

Из «Лики»: «Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: — Жаль мне тебя от души! Рано ты поставил крест на себе!

Но никакого креста на себе я не чувствовал.

Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение: неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь детей? Последние — дети, дом — представлялось мне особенно нестерпимым.

— Вот мы с тобой повенчаемся, — говорила она, мечтая о будущем. — Все-таки я этого очень хочу, и, потом, что может быть прекраснее венчания! У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы?

Что-то сладко и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучивался: — Бессмертные творят, смертные производят себе подобных».

Так — в «Лике», но, надо думать, так же было и в жизни. Он-то хотел только писать.

Бунин учил английский — для себя, ему нравилось, но и не без меркантильной надежды заработать переводами, поскольку разорение Алексея Николаевича уже достигло апогея. Это увлечение кончилось переводом «Гайаваты», безусловно, первоклассным, лучшего на русском языке нет.

Он увлекся в какой-то момент толстовством, сойдясь с толстовцами, то ли из своей любви к Льву Николаевичу, то ли в самом деле вдруг приняв идеи опрощения, бескорыстия и т. п., и даже пошел работать физически, набивать обручи на бочки, — кончилось разочарованием. И все равно, все равно ото всего он опять уходил в свою работу, скорее, скорее. В 1891-м много сил и нервов ушло на то, чтобы избежать призыва в армию: подошел его срок и его могли забрать на целых три года простым солдатом — не хуже, чем в нынешние времена. Никаких льгот у него не было, а была, напротив, как раз в самом разгаре история с Варей Пашенко, и он больше солдатчины и войны боялся, что взбалмошная и странная возлюбленная три года без него не продержится в верности и терпеливом ожидании.

От воинской повинности его спасло то, что вытащил дальний жребий — 471, к тому же доктор Пашенко, обмерив его, крикнул, что объем груди ниже нормы, — обошлось, зачислили в синебилетники, таких призывали только во время войны.

Не потревожила его даже неожиданная болезнь. Однажды, путешествуя с Варей по Смоленской губернии, — поехали в Рославлев, много ходили пешком, потом искупались где-то в ключевой воде, — Иван Алексеевич простудился, доктор нашел плеврит, велел лечиться, угрожая туберкулезом, но не тут-то было, исконное, бунинское, отцовское легкомыслие взяло верх: обойдется! — хотя, по словам Веры Николаевны, это пораженное левое легкое мучило его до глубокой старости.

Они переехали к брату в Полтаву, Бунина устроили в управу библиотекарем, а Варю туда же на 15 рублей жалованья. Но из семейной жизни в самом деле ничего не вышло. Иван Алексеевич увлекся как раз толстовцами, уехал в Харьков. Возле Вари оказался старый их друг Арсик Бибилов, в имени которого когда-то в начале своего романа они провели несколько счастливых дней. Теперь Арсик сделал предложение, и Варя приняла его. Варя попросту бежала, оставив Бунину сакраментальную записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лишом». Вера Николаевна Муромцева писала в своей книге, что потом всю жизнь у них в семейном обиходе гуляла эта фраза.

Это была смертельная рана. Бунин так страдал, что родные опасались за его жизнь. Он три часа бегал по Ельцу у дома Бибиловых, потом отправился на вокзал, уехать домой, в деревню, но был так плох, что даже боялся один ехать. У него пошла кровь носом, он ослабел: «А потом ночью пер со станции в Огневку, и, брат, никогда не забуду я этой ночи! Ах, ну к черту их — тут, очевидно, роль сыграли 200 десятин земельки».

Что ж, как положено русскому писателю, и любовь выпала ему трагическая, гибельно прекрасная, гибельно обманная. Перевернула душу, оставила горестный след, на всю жизнь протянула свою длинную тень. «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана».

Страница в романе о хозяйке подворья Никулиной, эпизоды с редакторшей Авилловой, о неопределенной симпатии к ней типичны не только для Алеши Арсеньева, героя, но и для автора: Иван Алексеевич немало увлекался разными девушками и женщинами и особенно после разрыва с Варей: по-прежнему хотелось любви, оставалась неутоленной потребность в человеке близком, любящем и любимом. Он все искал, все стремился куда-то, при всей своей значительности, изрядной важности был он быстр, непоседлив, «охота к перемене мест» была типичной его чертой.

Его будущая жена в своей книге о нем напишет: «Нашла запись, объясняющую эту непоседливость: “Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его... Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и “сезонными толчками крови” у людей...»

«Совсем, как птица, был я всю жизнь!»»

Из письма Людмилы Сергеевны, баронессы Врангель, дочери писателя Елпатьевского: «...Иван Алексеевич еще не был женат, когда бывал на наших вечеринках у Александры Аркадьевны Давыдовой... Наша юная компания... собиралась здесь часто. Это были М. И. Ростовцев и его любимая ученица, моя подруга Соня Кульчицкая, дочь Давыдовой Муся, вышедшая впоследствии замуж за А. И. Куприна, сыновья Михайловского, Гайдебурова и разные молодые люди, достававшие нам билеты в “Александринку” на Комиссаржевскую и в “Мариинку” на Валькирию с Литвин...»

В редакции «Нового слова» Иван Алексеевич познакомился с молодой писательницей, сестрой профессора философии Льва Михайловича Лопатина, писавшей под псевдонимом «К. Ельцова», Екатериной Михайловной.

Прошло много лет. Другая писательница, Галина Кузнецова (о ней и Бунина речь впереди), в своем «Грасском дневнике» записала: «5 июня 1931. Вечером во время прогулки В. Н. (Вера Николаевна, жена Бунина.— М. Р.) сказала, что Екатерина Михайловна (Лопатина) днем рассказывала ей о том, как И. А. когда-то был в нее влюблен и каким он был.

И. А. рассказал: — Мне тогда шел двадцать шестой год, но, конечно, в сущности, мне было двадцать. Однако Катерина Михайловна вовсе не была “взрослей” меня, хотя ей было 32—33 года и выросла она в городе. Она была худая, болезненная, истерическая девушка, некрасивая, с типическим для истерички звуком проглатывания — м-гу! — звуком, которого я не мог слышать. Правда, в ней было что-то чрезвычайно милое, кроме того, она занималась литературой и любила ее страстно. Чрезвычайно глупо думать, что она могла быть развитей меня оттого, что у них в доме бывал Вл. Соловьев. В сущности, знала она очень мало, “умные” разговоры еле долетали до ее ушей, а занята она была исключительно собой. Следовало бы как-нибудь серьезно на досуге подумать о том, как это могло случиться, что я мог влюбиться в нее. Обычно при влюбленности, даже при маленькой, что-нибудь нравится: приятен бывает локоть, нога. У меня же не было ни малейшего чувства к ней как к женщине. Мне нравился переулочек, дом, где они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это бывает часто, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился дом... Кто я был тогда? У меня ничего не было, кроме нескольких рассказов и стихов. Конечно, я должен был казаться ей мальчиком, но на самом деле им не был, хотя в некоторых отношениях был легкомыслен до того и были во мне черты такие, что не будь я именно тем, что есть, то эти черты могли бы считаться идиотическими. С таким легкомыслием я и сказал ей однажды, когда она плакалась мне на свою любовь к Х.: “Выходите за меня замуж...” Она расхохоталась: “Да как же это выходить замуж... Да ведь это можно только тогда, если за человека голову на плаху можно положить...” Эту фразу очень отчетливо помню. А роман ее с Х. был очень странный и болезненный. Он был похож на Достоевского. Только красивее.

В. Н. — Все-таки она думала, что И. А. больше в нее влюблен. Она была очень задета его женитьбой через два месяца после предложения ей.

И. А.— Да, и тоже был поступок идиотский. Приехал в Одессу, ни с того, ни с сего женился. А о Катерине Михайловне думал потом с ужасом: что бы с ней делал? куда бы я ее взял?

Он еще рассказал, между прочим, что, когда Катерина Михайловна смеялась над ним, он как-то сказал ей: “Вот увидите, я буду известен не только на всю Россию, но и на всю Европу!”»

Несомненно, обида, ревнивое чувство отмщения, невытравленная и отравленная любовь к Варваре вскоре толкнули Бунина в другую историю, не менее печальную, но на этот раз даже с некоторым оттенком фарса.

Из многих городов, по которым он бродяжничал, Бунин особенно любил Одессу. Море, корабли, порт — все действовало на него крайне возбуждающе. И сам город был хорош, да еще подружился там с людьми, которые надолго стали близкими: молодые одесские художники, литераторы, журналисты — Куровской, Федоров, Нилус группировались вокруг популярных «Одесских новостей». Бунин тоже печатался, подрабатывал в этой газете, стал бывать в семье редактора, одесского грека Н. А. Цакни. Его двадцатилетняя дочь Аня, истинная красавица, пышноволосяя, большеглазая, торопилась поскорее стать взрослой, носила вуаль, шляпки, смело ходила в ресторан, была окружена поклонниками. Бунин опять попал в домашний театр! Мачеха Ани, «мамаша Ираклиди», собирала в доме музыкантов, певцов, здесь разучивали и ставили целые оперы. Аня обычно сидела за фортепьяно. А в Одессе бушевала весна.

Отзовется потом в «Гале Ганской», написанной уже в 1940 году, в Грассе, когда будут писаться «Темные аллеи»: «Почему-то вспомнилась одесская весна, вся ее совершенно особенная прелесть — это смешение уже горячего солнца и морской еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...» Бунин гулял с Аней над морем, ездил в имение к Цакни со всей большой компанией, случалось, ночевал у них на балконе. Его манила эта девушка, ее необычная восточноеврейская красота, молодость, сильное, молодое тело, фиалковые глаза. Душа его была изранена и пуста — этот вакуум не так трудно было заполнить общением и увлечением новым, неожиданным. Хоть и не склонен был к юмору и юмористического не писал, но позже, в «Жизни Арсеньева», Иван Алексеевич разделяется с этими операми, доморощенными певцами, мамашей, которая, похоже, в свою очередь, увлеклась молодым красивым писателем и ревновала к нему дочь.

Бунин гулял с Аней, ужинал с нею кефалью с белым вином, но между делом меркантильно прикидывал, каковы доходы папаши Цакни и не будет ли со временем возможности прибрать к рукам его популярную газету. Он даже писал об этом брату Юлию, как всегда, делясь с ним своими новостями и планами. К слову, сотрудничая в газете, Бунин напечатал в ней стихи В. Брюсова — Брюсов где-то вспоминает об этом. Все же главное — заглушить, изжить в душе горькую память о Варваре. Сидя с Аней вечерами над морем, он читает ей стихи, целует руки. Девушке нравится, но у нее тоже есть цель: ей двадцать лет, хочется поскорее, поскорее определить свою судьбу. «Мамаша» также ведет атаку на потенциального жениха — она-то нюхом чувствует его незаурядность, его перспективы. 23 сентября уже было венчанье — довольно быстро, всего-то лето прошло. Бунин повез молодую супругу в Москву и Петербург, провинциальная девочка прежде мало что видела и понимала. В Москве попали на открытие нового, Художественного театра, на первое представление «Царя Федора Иоанновича», а на обратном пути из Петербурга даже на «Чайку» Чехова.

Из семейной жизни, однако, ничего опять не получилось. Аня запиралась от мужа в своей комнате, «мамаша» влезала в каждую мелочь, репетиции и оперы продолжались, и Бунину все более хотелось лишь одного: бежать, уехать, оказаться поскорее в любимом Васильевском, где ждет его знакомый дом, его комната, стол с пачкой чистой бумаги, перья и открытое в сад окно. «Языческая похоть» к юной Ане уже улетучилась, она к его страсти относилась безразлично.

Через год Аня родила сына, Колю, вскоре они с Буниными расстались. Милый Коля пожил лишь до пяти лет, не принеся Бунину радости отцовства. Его маленькое фото он хранил всю жизнь, до самых последних дней.

Те одесские дни, сама юная Аня отразились во многих рассказах, некие черты Ани достались даже выдуманной Лике.

Свою новую, неожиданную любовь Иван Алексеевич встретил только в 1906 году в Москве — это была Вера Николаевна Муромцева, дочь Н. А. Муромцева, члена Московской городской управы и племянница С. А. Муромцева, председателя Государственной Думы. Бунин познакомился с Верой Николаевной в семье Бориса Зайцева, уже известного в ту пору писателя, с которым они дружили всю жизнь, особенно в годы эмиграции. Вера Николаевна была красивая московская барышня, весьма образованная, окончившая естественный факультет Высших женских курсов, самостоятельная, прекрасно знавшая литературу, театр, музыку, владела немецким, французским, итальянским, английским, переводила на русский Флобера и других французских писателей. Была моложе Бунина почти на десять лет. Конечно, совсем другой тип женщины, другой характер, нежели эмансипированная, революционно настроенная Варя, носившая пенсне и всегда вступающая в отчаянную борьбу за «принципы», или наивная, провинциальная одесситка Аня Цакни, терявшаяся перед мощным напором бунинского ума, не понимавшая его главной страсти — любви к

литературе. Вера Николаевна удивительно быстро нашла ключик к страстной и неумной натуре Ивана Алексеевича, очень скоро стала ему подлинным другом, подлинной женой, заботливой и всепонимающей.

У них начался красивый роман, типично московский — с театрами, концертами; Бунин много встречался в эту пору с писателями, вошел полноправно в московскую литературную среду, подружился с Куприным, Андреевым, Горьким, редакторами, издателями.

Они не могли сразу пожениться: не был расторгнут брак с Цакни. И произошло их венчанье много-много лет спустя, в 22-м году, уже в эмиграции.

Они отправились в свое первое длительное путешествие, которое всегда называли свадебным. А Бунин будто повенчался с Востоком: обрело реальность его стремление и пристрастие к древности, к истокам иных цивилизаций, к познанию вечности. «Меня влекли все Некрополи, все кладбища мира!..»

Готовясь к поездке, Бунин снова и снова читал Библию и Коран, в путь взял Саади. Они выехали из Одессы в начале апреля 1907 года, а 15-го уже были в Константинополе. Вера Николаевна записывает в дневнике: «Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады, кладбища... Он знает Константинополь не хуже Москвы». Затем Мраморным морем, через Дарданеллы плывут в Грецию, в Афины. Все возбуждает бунинское воображение, все воздействует на него чрезвычайно. Он думал: не уехать ли на несколько лет из России, совершить кругосветное путешествие, побывать в Африке, Южной Америке, на островах Таити. Из Греции поплыли дальше: Африка, Александрия, затем Египет, Иудея, Иерусалим, Хеврон, Вифлеем.

«Бунин вынул записную книжечку, что-то записал в ней.

— Ты много записываешь? — спросила я.

— Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если не войдет в меня, то, значит, душа моя этого не принимает и не примет, что бы я ни делал».

Из Иерусалима, через Яффу, морем, отправились на север; в Ливан и Сирию, в города Бейрут, Баальбек, Дамаск. Двое суток провели на Тивериадском озере и через Хайфу — обратно в Египет, в Каир, видели Нил, пирамиды. Бунин замечал: «Всякое путешествие очень меняет человека», потом говорил: «Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все представлять себе, а уж если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. Редко кто умеет передать душу страны, дать правильное представление о ней».

Однако в пути Бунин все читал Саади и восхищался им.

В. Н.: «Когда мы опять были в Галате, Ян неожиданно сказал:

— А мое дело пропало — писать я больше, верно, не буду...

Я посмотрела на него с удивлением.

— Ну, да, — продолжал он, — поэт не должен быть счастливым, должен жить один, и чем лучше ему, тем хуже для писания. Чем лучше ты будешь, тем хуже...

— Я в таком случае постараюсь быть как можно хуже, — сказала я, смеясь, а у самой сердце жалось от боли».

Вот так, даже в самые счастливые дни, в прекрасном пути, с любимой женщиной, он все равно думает о том, как писать, как лучше писать.

Это первое путешествие будто спроецировало всю будущую жизнь Бунина и Веры Николаевны, полную скитаний, перемен стран, мест жительства, городов, его нервной и беспрестанной работы, ее помощи ему, понимания и преданности. Они прожили вместе сорок шесть с половиной лет.

**РЕМЕСЛО.** Литературная слава Бунина между тем росла. Хотя в литературе наступила новая эра — символистов, а Бунин не принимал символизма, но в ча-

стной жизни, разумеется, он оставался своим в среде литераторов, участвовал в общих вечерах, выступлениях, салонах, банкетах, как водилось в ту пору. Вождь символистов Валерий Брюсов мало жаловал Бунина, но в 1900 году, когда создал издательство «Скорпион» и стал его редактором, принял и издал книгу стихов Бунина «Листопад». «Скорпион» издавал Верхарна, Гамсуна, Верлена, Эдгара По, Малларме и Рембо или «своих» — Бальмонта, Мережковского, Гиппиус, Сологуба. «Листопад» попал сюда почти случайно. Но, к счастью, выдвинул резко Бунина вперед среди современных поэтов. Хотя немало было и критики и «выходило так, — говорил сам Бунин, — что нет писателя более тишайшего (певец грусти, дворянских гнезд и т. п.) и человека более определившегося и умиротворенного, чем я.

А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда».

Тем не менее за «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» Бунин получил свою первую Пушкинскую премию (1903). Вторую Пушкинскую он получил за стихи и переводы в 1909-м и тогда же был избран почетным академиком.

После «Листопада» вышли «Новые стихотворения» (1902). Брюсов в «Новом пути», в рецензии, подписанной «Аврелий» (Валерий слышится), решил показать Бунину, каков он есть на самом деле. Брюсов взял стихотворение «В Альпах» и вот что понаписал: «Первый сборник стихов г-на Бунина “Листопад” был записной книжкой наблюдателя. “Да, это бывает”, — вот все, что можно было сказать о его первых стихах. В “Новых стихотворениях” г-н Бунин неожиданно переходит на новую дорогу. Он перенимает темы парнасцев и первых декадентов... К своим новым стихам Бунин относится так же, как раньше к природе. По-прежнему его стихи остаются вне его личности и вне его жизни. Только сферой его “наблюдений” стали уже не поля и взморья, а книги и преимущественно сборники стихов. Своим наблюдательным взором г-н Бунин подмечает у действительно новых поэтов красивые примеры, красивые образы, красивые чувства — и воспроизводит их, даже не без некоторого мастерства. Если первые его стихи могли иметь значение для ценителей “стихов о природе”, то “Новые стихотворения” будут, несомненно, интересны тем, кто не знаком с их иностранными и русскими оригиналами... Образцы г-на Бунина — это вчерашний день литературы. Характерны для него стихи о том, как он вырезал “стальным клинком сонет” на какой-то альпийской вершине. “Смотрело только солнце, как стилет чертил мой стих по изумрудной льдине, — гордо сообщает г-н Бунин и прибавляет, что его стихи вырезаны “лишь для того, кто бродит по вершине”. Увы! то, что господин Бунин считает вершинами, — не более, как модные “климатические станции”, куда давно проведены удобные funikuleri. Там “бродят” только туристы с бедкерами в карманах и биноклями в руках. Несомненно, для них-то и вырезал г-н Бунин свой стих “стилетом” на льдине, и произошло это событие отнюдь не на высотах Тауризанкара или Эльборуса, а, наверное, где-нибудь на Пилатусе или Ригль».

Вот так доставалось иногда Ивану Алексеевичу — так шла вечная российская литературная борьба!..

Бунину ближе были участники горьковского «Знания», телешовской «Среды»: между этими группами и «скорпионами» всегда происходили трения. Впрочем, с Брюсовым они как-то примирились, между ними даже велась переписка, но рецензию об «Альпах» Бунин не забывал никогда.

Бунин так и не сошелся с декадентами, а что думал о них, высказывал без обиняков. Уже в эмиграции, в начале тридцатых, резко разошелся с их корифеем Мережковским и Зинаидой Гиппиус, которых всегда не любил (как и они его).

Хотя дело, конечно, не в этом, не в Шопенгауэре и Ницше и «своих ребятах», Константине Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Вяч. Иванове, Брюсове, Белом, Бальмонте, Мережковском. Дело все же во времени, в эпохе, в необходимости и наступлении нового, современного, как во всем, так и в литературе, в искусстве. Русский декаданс, русский авангард наступал достаточно самобытно и мощно. Нельзя было по-прежнему, тихо-спокойно, следуя старым, проверенным законам и наработанным правилам, ни картины писать, ни книги и стихи, ни на театре играть, ни дома строить. Сам Толстой боролся и мучился со своей «художественностью», «литературой», боясь неправды.

Между тем проблема и много сложнее, и проще. Бунин сам был модернистом, одним из лучших. Ведь ни Горький, ни Андреев, Зайцев, Замятин, ни сами Толстой и Чехов не писали такой прозы, какую поистине изобрел и создал Бунин. Феноменальную, новую, сверхсовременную.

Ремесло, школа, традиции, мастерство — это одно; подлинный творец, в отличие от просто мастера, всегда совершает открытие, прорыв, создает нечто новое в своем деле. Великие художники отличаются друг от друга, каждый вырос сам из себя и неповторим.

Мир изменился, разорвался, разрушился, человек тоже. Человеческую психологию, внутренний мир каждого уже невозможно передать средствами «реализма». Психологизм самого Толстого кажется искусственным, чересчур «выстроенным»: люди не размышляют столь долго и подробно, мир чувств быстрее, резче. По Бунину, вообще поведением человека руководят не сознательные волевые усилия, а инстинктивные импульсы, малые взрывы чувств.

Поэзия есть Божья любовь, разлитая в мире. Душа поэта устроена — ловить ее, передавать другим. Д. С. Лихачев, пиша о прозе Б. Пастернака, сказал немало того, что прямо относится и к прозе Бунина: «Он объединил поэзию и прозу как единое искусство слова... Не отделимые друг от друга, поэзия и проза — полюса. По врожденному слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, предается затем импровизации на эту тему... Искусство, по Пастернаку, создается не творцом, а действительностью. Поэзия разлита в мире. Она не в поэте, а в окружающем. В образе преображенной действительности она является творцу, как некогда являлась поэтам муза. Мир сам говорит с поэтом и заявляет о себе в его поэзии. Пастернак пишет: «Искусство реалистично, как действительность, и символично, как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело...» Внутренний мир поэта необыден, внешний же мир обыден. Поэтому поэзия, самая праздничная, самая богатая неожиданностями, самая торжественная, слагается из обыденностей, но в их необыденном положении — в их активности, в их вторжении во внутренний мир поэта. «Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии», — пишет Пастернак. Вторжение во внутренний мир всегда внезапно, всегда победительно и производит решительные изменения... Факты действительности сгорают в художественном творчестве. Их мало, но они вспыхивают метафорами (они названы), превращая действительность в фейерверк поэтической праздничности... они в сознании поэта, они диктуют ему мысли, как поэтические поступки, и, больше того, диктуют ему стихи и прозу».

Бунин не изучал, подобно Пастернаку, философии в Москве и Марбурге, вообще мало теоретизировал, — его наитие, природный дар сами вели его верным путем: не игра в форму, не замена условностью реальности, а поиск простоты, искренности, поиск «метафоры в природе», переход от «приемов» и рутинных принципов в прозе ко все более открытому, «очерково-дневниковому авторскому «я» вместо нагружения этим авторским «я» измышленных героев, искренность и исповедальность поэта — вот его путь в прозе. Можно только

дивиться тому, как устроен был его чувствующий аппарат, — постичь этого все равно не дано: тайна.

В статье Иосифа Бродского «Поэт и проза» есть слова: «Отбрасывание лишнего само по себе есть первый крик поэзии — начало преобладания звука над действительностью, сущности над существованием: источник трагедийного сознания».

Бунин краток не ради краткости, а оттого, что в жизни, если взглядеться, все кратко, мимолетно, мгновенно. Он часто отсекает начало «истории» и как бы с конца начинает, с финала, потому что знает эту жизненную обычность: стянуть все в последний узел, к последней точке, а все нагроможденное до того, сама эта «история» мало обязательны для искусства, для поэзии.

Еще из статьи Бродского, опирающегося в основном на прозу Цветаевой: «Со дня возникновения повествовательного жанра любое художественное произведение — рассказ, повесть, роман — страшится одного: упрека в недостоверности. Отсюда — либо стремление к реализму, либо композиционные изыски. В конце концов каждый литератор стремится к одному и тому же: настичь или удержать утраченное или текущее время. У поэта для этого есть цезура, безударные стопы, дактилические окончания; у прозаика ничего такого нет. Обращаясь к прозе, Цветаева вполне бессознательно переносит в нее динамику поэтической речи, — в принципе, — динамику песни, которая сама по себе есть форма организации времени... какова бы ни была тема повествования, технология его остается той же самой. К тому же повествование ее в строгом смысле бессюжетно и держится главным образом энергией монолога».

Как нельзя более, кажется, относится это и к бунинской прозе: несомненные его монологичность и неповторимость интонации — музыка его прозы.

И еще одно соображение Бродского: «...дело в различиях между искусством и действительностью. Одно из них состоит в том, что в искусстве достижения — благодаря свойствам самого материала — та степень лиризма, физического эквивалента которому в реальном мире не существует. Точно таким же образом не оказывается в реальном мире и эквивалента трагическому в искусстве, которое — трагическое — суть оборотная сторона лиризма — или следующая за ним ступень».

Весьма подходит тоже Бунину! «Реалист» Бунин, обладающий чувством и проникновением в космическую цельность мира, отказывается от его линейности, прямолинейности: его художественный мир отрывочен, фрагментарен, эпизодичен, высоко лиричен и столь же трагичен — покоя и порядка в нем нет.

Мы уже говорили, он писал рассказы, как стихи: на выплеск, сжато, точно, на одном дыхании.

Читатели и критика изрядно удивлялись (да и писатели тоже), когда видели, что Бунин часто печатает свои вещи в символистских изданиях — «Золотое руно», «Перевал», «Корабли», «Факел», «Гриф», «Шиповник». При том, что одни хвалили его за «модернизм», другие — за верность традициям. И ругали соответственно за то же самое.

Самого Бунина это не смущало. Он дело делал.

Стиль Бунина всегда узнаешь и ни с кем не спутаешь. Напряжение, высокая нота его фразы, особые сложносоставные эпитеты, пристрастие к оксюмору (холодный пламень, горячий лед и т. п. — несовместимость, сшибка противоположных понятий, дающих неожиданный эффект) — таковы его отличия. Кстати, об этом много и подробно сказано в одном из лучших исследований о писателе — книге Юрия Мальцева («Иван Бунин». Посев, 1994).

Другое дело, что он не впадал в отчаяние декаданса, не фантазировал на темы то прошлого, то будущего, то потустороннего, не уходил от жизни в чистое искусство, в условность, в чистую форму. Он просто писал по-своему, и это уже было ново, странно, непривычно. Он с молодых ногтей занят был тем, как пи-

сать,— какие же еще нужны искусственные поиски? Его форма рождалась всегда слитно с содержанием, образуя единый сплав, один стиль.

Он слышал музыку времени — она была иной, чем прежде.

Бунин сжимает и сжимает прозу: «двойной бульон» уже кажется ему не так крепок, он свивает слова в пружину, он приходит к самоценности всего одной фразы, к емкости назывных предложений, к самодостаточности блестяще исполненного фрагмента. Является многозначность подтекста, как у более поздних писателей нового века. Прорывается то и дело почти киношный, сценарный стиль. Характеристики, портреты все суше, строже. Давно отставлены в сторону «завязка — кульминация — развязка»; никаких экспозиций, лишних описаний. Рассказ может начаться с финала, автор перейти в «я» героя, или, наоборот, писатель сосредоточен на мысли, на самом главном, говорит как бы только сам с собою, мало заботясь о бегущем за ним внимании читателя. Так впоследствии будет писать Фолкнер. Из друзей-противников — только Сологуб, Мандельштам, Пастернак. Позже — Булгаков, Платонов, затем и многие из советских писателей.

Конечно, это совсем новая проза. Отчего же Бунин так сердит на декадентов, не сходится с ними, злится?

Он движется своим путем — как убежден, самым верным. То, что он делает,— не формалистика, не игра в литературу, не подмена реальности лишь отображением представления о ней, он хочет быть правдивым до конца, реалистом до конца, ему не до фокусов. Поэтому он суров и строг. Он рыцарем стоит на страже русского стиха, ненавидит все эти «дыр-бул-щир».

Между прочим, в «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой (еще не раз придется обратиться к нему) есть такое место о стихах Ивана Алексеевича: «...изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной, двумя строками затронута любовная тема. Спросила об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и скрытности, стыдливости натуры, по осознанию несоответствия своего и чужого чувства... Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятании себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнажения души...»

Вероятно, это дельное и близкое к истине замечание. Но неисповедимы пути творчества! — кто может знать — и сам творец стихов не знает,— возможно, так предопределено было свыше: не обнажить душу даже в стихах, чтобы сделать это с огромной силой в будущей прозе! Писатель лучше знает свой путь, верит своему наитию,— и в конце концов выигрывает! А как и когда — его дело.

История произвела свой водораздел: мы не причисляем к декадентам — к целой плеяде талантливейших русских поэтов, прозаиков, философов, составивших собою то, что называется теперь Серебряный век,— ни Л. Н. Толстого, ни Ф. Достоевского, ни А. Чехова, ни М. Горького, ни Бунина.

Казалось бы, шли все вместе, жили и работали в одну эпоху, шли тесно, плечо в плечо, но история отчего-то отделила «чистых» от «нечистых». Хотя, возможно, есть какая-то ошибка в этом слишком строгом счете, и мы, уже далекие потомки, продолжаем твердить то, что утверждалось и канонизировалось чопорной и малограмотной послереволюционной, «красной» критикой, просто мстившей русскому авангарду, поскольку весь цвет его — кто сам, а большинство не по своей воле — оказался после революции в изгнании, в эмиграции, гордо держал голову, не преклоняя ее пред узурпаторской властью Ленина — Сталина.

Судьба в этом смысле слегка поиздевалась над Буниным: в конце концов ему пришлось провести вторую часть жизни среди тех и с теми, кого он так резко не хотел принять в дореволюционную пору.

Впрочем, и потом он продолжал стоять на своем, принципы его не изменились.

Очень трудно согласиться с Буниным, не принимавшим напрочь многих современных ему поэтов. Все же сам поэт, знаток поэзии и литературы, как мог он не принять и свысока смотреть на Блока, Белого, Цветаеву, Ахматову, Мандельштама, Волошину, Георгия Иванова, Ходасевича, Пастернака? Ругал футуристов и Маяковского, но не видеть в Маяковском поэта вообще? как можно? Могла не нравиться Зинаида Гиппиус, обзывал ее мошенницей, но как не оценить, не отметить таланта и души Цветаевой? не чувствовать Ахматову?.. Какое-то чрезмерное предубеждение. Оценил и принял Твардовского, написал добрые слова о «Василии Теркине», и как же при том ругательски ругать Есенина?.. Ни слова лестного о Гумилеве, Мандельштаме, Пастернаке, будто их вовсе не существовало, но они были, были! Уж вровень-то стояли с ним. Нет, молчание, отказ, неприятие. Притом есть одно письмо Бунина (в 1950 г.) Л. Ржевскому, о чем сообщил лучший у нас исследователь биографии Бунина А. Бабореко, где сказано: «Естественно, — пишете вы, — что реалист Бунин не приемлет символизма Блока!» Называть меня реалистом, значит... не знать меня как художника. «Реалист Бунин» очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе».

Чем же объяснить такое неприятие «своих», тоже близких «символической мировой»? Упрямым, ядовито-желчным характером? Упорным консерватизмом, отсутствием какого-либо смирения и гордыней, чрезмерно высокой самооценкой, не позволявшими поставить кого-либо вровень с собою или выше себя?.. Возможно, видя чужой талант, он ревновал, возможно, любое отступление от канона, классики, Пушкина заставляло его, — он не был просто злым никогда, — Рыцаря литературы, тут же хвататься за меч, вздымать копьё?..

Приходится признать: жизнь отомстила Ивану Алексеевичу тем, что по сей день многие мало читают и ценят его как поэта, всячески превознося его прозу. Так было и при жизни: символисты отвечали ему таким же неприятием или недооценкой его поэзии.

Впрочем, довольно хоть немного сойтись с поэтами, подружиться с ними, пожить в этой среде, повариться, чтобы узнать, как этот замечательный народ тщеславен, капризен, ревнив, пристрастен друг к другу. Дерево нашей цивилизации выросло из греческого семени, все оттуда, и ежегодные конкурсы поэтов-драматургов не могли не образовать в конце концов ген соперничества, соревнования — кто лучше?.. «Там жили поэты, — сказал Блок, — и каждый встречал другого надменной улыбкой». Каждый про себя думает, что он лучше всех, и, конечно, метит на первое место, и лидеры идут посменно. Поэты знают весь свой клан, они готовятся к своим незримым турнирам, как красотки к конкурсам, вступают на подиум столь же капризно-кокетливо, так же красуясь и заражаясь один от другого, перенимая по-обезьяньи манеры, ужимки, самый шаг, принятый модой и условиями, ими же самими означенными. Актерство, лицедейство, интриги, подножка ближнему, восторг и зависть, братство и братоубийство — все здесь. Главное — отличиться. Потому можно прихвастнуть, приврать, распустить павлиний хвост, подразнить. Как дети. Детски-чисты поэты и, бывает, детски-жестоки. Есть старый анекдотец: как слон с мышкой в прятки играли или взапуски бегали. И слон нечаянно на мышку наступил. «Ах, мышка! Извини, я не хотел, я нечаянно, прости, маленькая!» «Да что ж, — ответила мышка, — ничего, слон. Такая игра». Вот и у поэтов — «такая игра», что поделаешь.

Удивительно все же это свойство таланта — а здесь лучше сказать, гения, — верить в свою правоту, быть судьей и другим, и, главное, себе, — «Ты сам свой высший суд», по Пушкину, — он не принадлежит ни к какой партии, заряжаясь ее идеологическими установками, ни к религии или секте, чтобы руководствоваться их догматами и жестокими законами, хотя он, несомненно, верующий че-

ловек. Но более всего он верит в себя, в свою звезду, свое предопределение. А точка отсчета его, критерий — тоже свой, один: жизнь. Он уже знает ее и подумал о ней достаточно. Жизнь — великое счастье и великая трагедия, человек мал, одинок и бессилён, праздник жизни заключается непостижимым таинством смерти, разум и душа живут в непрерывной борьбе, эмоции переплетаются и движутся в душе самыми невероятными, противоречивыми сочетаниями. И все же есть истина жизни, и она едина и проста: идти, двигаться, изменяться. Есть единое время: сразу и прошлое, и настоящее, и предстоящее, и день наступающий ничем не лучше, не надежнее проходящего или предыдущего. «И вот я отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю,— главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время сложное, то глубокое, чудесное, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах... “Все читаете, все книжки выдумываете”. А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законного выражения, то есть воплощения и сохранения хотя бы в слове» («Книга», 1924).

Да, конечно, он жил, чтобы писать. Он все бросал, отторгался, иной раз чуть хитря, уходил отовсюду — из Харькова, из обеих столиц, из Орла, где так кипела-проходила его любовь, из Ялты, от Чехова, с которым было так приятно, душевно дружить, из Крыма, который обожал, из Одессы,— отовсюду стремился он в свое любимое Васильевское. Работать! Вырабатывать себя! Добиваться совершенства. Чехов, повторим, сказал, что его рассказы трудно читать, задыхаешься,— они так насыщены, словно двойной бульон, это уже была особая, бунинская проза.

**РЕЧЬ О ЛИТЕРАТУРЕ.** Он разошелся с символизмом так же, как разошелся с революционно-демократическим движением. Декаданс ведь, в сущности, тоже пришел с Запада, из Европы, и вся русскость Бунина, его преданность русской культуре и литературе сделали его отчасти и поэтому противником символизма и даже борцом против него.

Можно немало говорить на эту тему, но все равно не скажешь лучше самого Ивана Алексеевича. Он очень рано, единожды и навсегда сказал все, что думал об этом. Известная, популярная газета «Русские ведомости» осенью 1913 года праздновала свой полувековой юбилей. После юбилейного заседания состоялось, как водилось, большой, на 680 персон, банкет в «Славянском базаре». Среди прочих слово было дано почетному академику И. А. Бунину. Вот главная часть его наделавшей шуму речи: «Приветствую “Русские ведомости” с благодарностью за то, что дали они русской литературе, и за их отношение к ней. Не останавливаюсь на том, что непосредственно прошло через “Русские ведомости” и осталось в литературе: столбцы их украшались именами бесспорными — именами Толстого, Чернышевского, Салтыкова, Глеба Успенского, Чехова, Короленко. Отмечу только то, что имена эти были неслучайными на этих столбцах, что они не терялись в пестром списке других имен, что до последнего времени окружены они были именами если и меньшими, то всегда приблизительно того же порядка и ценности определенной, устойчивой, а не созданной теми или иными обстоятельствами. Другая заслуга “Русских ведомостей” не менее, если не более важна: это — позиция, которую занимали они по отношению к литературе за последние пятнадцать, двадцать лет, и воздействие их на нее, прямое и косвенное. Трудно учесть это воздействие, каждодневное воздействие всякой газеты; но несомненно, что оно огромно, а у нас и за последнее время — особенно.

Наша читающая масса еще малокультурна; газета для нее еще в новинку и действует на умы резко. А потребность в газете растет с каждым днем... А мы — еще далеко не европейцы; мы еще не чувствуем в той мере, как европеец, грани между печатным словом истинно литературным и так называемым бульварным; да у нас еще и не обозначилась как следует эта грань. “Нам печатный лист все еще кажется святым”, — сказал Пушкин, и мы еще должны помнить эти слова. У нас не редкость, что не только газета, претендующая быть литературным органом, но журнал уделает столько же места и столько же серьезности при разборе “Хаджи Мурата”, как при разборе произведения, недалеко ушедшего от какого-нибудь “Разбойника Чуркина”. Мы еще не совсем понимаем, что такое реклама, — мы, как провинциал: видим вывеску — “центральный магазин” — и полагаем, что этот магазин и впрямь центральный. Подумайте же, что означает для нас газета в то время, когда мы с такой быстротой европеизируемся, порождаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной, пестрой жизнью... А ведь писатель испытывает влияние двойное: власти и газеты — и толпы. Много ли тех, кто могут противиться этой власти, жажде нравиться толпе, жажде вырвать у нее славу, даже хотя бы скандальную? Таких стойких всегда было мало, а у нас, теперь, особенно мало, да иначе и быть не может: ведь и писатель наш малокультурен, он не менее нервирован сменой событий и настроений и столь же мало подготовлен к нашей новой, ломающей жизни, не говоря уже о том, что русская действительность сделала все возможное, чтобы искалечить нас, что она дала нам такие ужасающие контрасты, как шестидесятые, семидесятые годы, а вслед за ними — восьмидесятые, дала девяностые — и начало девятисотых!

Вы, господа, слишком хорошо знаете, чем была русская жизнь за последние двадцать лет, знаете все радостные и все уродливые или ужасные явления ее. Чем же была русская литература в эти годы? По необходимости отвечая на этот вопрос кратко, в самых общих чертах, я должен твердо сказать, что отрицательных явлений было в ней во сто крат более, чем положительных, что литература эта находилась в периоде, во всяком случае, болезненном, в упадке, в судорогах и метаниях из стороны в сторону. И тысячу раз был прав Толстой, когда говорил: “На моей памяти совершилось поразительное понижение литературы, понижение вкуса и здравого смысла читающей публики”. Толстой причину этого видит в развитии рекламы, в приспособлении писателей и вообще печатного слова ко вкусам и интересам наибольшего числа потребителей, ко вкусам всегда грубым и низким, по его определению.

Но у нас в России есть и другие причины этого падения художественных произведений и вообще печатного слова. На мой взгляд, вот одна из них. Был известный уклад в русской жизни, тяжелый во многих отношениях, но уклад. Он должен был разрушиться, исчезнуть — и почти исчез. Была известная культура, не глубокая, не имевшая крепких, вековых корней, она тоже осуждена была на исчезновение еще в те дни, когда “порвалась цепь великая”. Успела ли эта культура создать себе преемницу, основать прочные культурные традиции? Вы знаете, что нет. Писатель — “разночинец” шестидесятых, семидесятых годов — еще дышал этой культурой, да и само время определяло его путь, направляло его. Этот “разночинец” странствовал, спивался, страдал, болел, но это была другая болезнь, это были муки совести, сердца, — и вы знаете, что это сердце бывало порою поистине “золотым сердцем”.

Теперь в литературу пришел новый “разночинец”, духовный разночинец, уже совсем почти традиций лишенный, сбитый с толку годами восьмидесятыми, девяностыми, а кроме того, и тем, что должно было встретиться с ним, — европейскими влияниями. Я говорю не о всех представителях современной литературы. Я говорю о типе писателя, еще так недавно преобладавшем. Каков же этот писатель? Он, малокультурный, чуть не подросток во многих и многих отноше-

ниях, и начал и жил эксцессами, крайностями и — подражанием, чужим добром. Он нахватался лишь верхушек кое-каких знаний и культуры, а возгордился чрезмерно. Он попал в струю тех течений, что шли с Запада, — охмелел от них и внезапно заявил, что и он “декадент”, “символист”, что и он требует самой коренной ломки всего существующего в искусстве и самых новейших форм его (как будто форма отделима от содержания, как будто форма не есть последствие, порождение индивидуальности таланта и того, что он хочет сказать). Конечно, все это было бы совсем смешно, когда бы не было грустно: грустно потому, что нет действий без причин, а на причины — и горестные — я уже указывал; смешно же потому, что разве не нелепо было это требование баррикад и битв за свободу в литературе русской, одной из самых молодых, одной из свободнейших и разностороннейших литератур в мире? Понятны были литературные революции в Европе, эти битвы классицизма с романтизмом, романтизма с реализмом там, где были долголетние твердыни их. А во имя чего начался наш бунт? разве не у нас был Пушкин и почти рядом с ним — Лермонтов, Лев Толстой — и Достоевский, Фет — и Некрасов, Алексей Толстой — и Майков? Разве не с чужого голоса закричали мы и продолжаем кричать?

Да, так вот каково было, господа, начало. Нужно ли мне напоминать дальнейшее? Здесь не место и не время для этого. Я только напомню вам, какое невероятное количество школ, направлений, настроений, призывов, буйных слав и падений видели мы за последние годы! Послушайте писателя нового типа: он, на своем пошлом жаргоне, своими устами или устами своего критика — и чаще всего газетного — скажет вам, что он создал несметное количество новых ценностей, преобразовал прозаический язык, возвел на высоту и обогатил стихотворный, затронул глубочайшие вопросы духа, “выявил” новую психику, поставил себе великие “задания”, стремится к великим “достижениям” и “возможностям”, он, не стыдясь, назовет себя “мудрым”, “многогранным”, “дерзновенным”, “солнечным”... А меж тем, за немногими исключениями, не только не создано за последние годы никаких новых ценностей, а, напротив, произошло невероятное обнищание, оглупление и омертвление русской литературы:

Не многое исчезло: совесть, чувство,  
Такт, вера, ум... Растет словесный блуд...

Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота (вот они, критерии Бунина! — М. Р.) — и морем разлились вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости — называемой “виртуозностью” — стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы, к которому можно чувствовать теперь уже ненависть, ибо ведь “все можно опошлить высоким стилем”, как сказал Достоевский. Вы вспомните, господа, чего только не проделывали мы с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись! Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением “проблемы пола”, и боготворчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и “пролеты в вечность”, и садизм, и снобизм, и “приятие мира”, и “неприятие мира”, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом “футуризм”. Это ли не Вальпургиева ночь! И сколько скандалов было в этой ночи! Чуть не все наши кумиры начинали свою карьеру со скандала! И какую поистине огромную роль играла в этом газета!..»

А крутенок, как видите, бывал милый и интеллигентный Иван Алексеевич. И зол, яростен, и какой темперамент, его подлинный темперамент!..

Но еще. Чуть далее. Стоит дослушать эту великую речь.

«...“Русские ведомости” не есть эта газета. “Русские ведомости” — одна из тех немногих газет, которые никого не рекламировали, не гонялись за сенсацией, не создавали скороспелых репутаций, со спокойствием отмечали плюсы и минусы писателей и перворазрядных, и второстепенных. “Русские ведомости” проявляли отношение неизменно беспристрастное даже и к тем, которые после шумной “славы” падали и подвергались в других изданиях, ранее превозносивших их, издевательствам. “Русские ведомости” отмечали, — конечно, с своей точки зрения, с которой можно и не соглашаться, — все ценное даже и у тех, которые по общему своему направлению совсем не подходили к ним. “Русские ведомости” замалчивали нелепости литературы последних лет, справедливо полагая, что то внимание, которое, в угоду толпе, обращалось на них, лишь содействует их развитию, их популярности, хоть бы и скандальной».

“Русские ведомости” протестовали против тех течений в литературе, которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать полную разнузданность все себе позволяющей личности, прославлять под видом утонченности самый простой и старый, как мир, разврат, искоренить идеи общественности, разрушить веру в силу разума и нагонять мистические туманы, шаткие метафизические построения, часто нарочито сочиненные, собственного изделия и весьма слабо продуманные, прославлять смерть, квиетизм и даже самоубийство. “Русские ведомости” порою указывали и на происхождение того, чем жила наша литература за последние годы: на общую расшатанность, неустойчивость нашей общественной мысли и неорганизованность общественного мнения, на нашу подражательность Европе, большею частью жалкую, ученическую, — очень нередко сводившуюся даже к плагиатам, — на низкие стремления выделиться не оригинальностью, а оригинальничаньем, на что имелся особо бойкий спрос со стороны нашей уродливо формирующейся буржуазии и всех праздных слоев общества, на увлечение некоторых из писателей, хотя и искренних, но неспособных, вследствие отсутствия истинной культурности разобраться в явлениях жизни, в различных теориях, смешивающих движение вперед с чисто дикарским отрицанием заслуг всех своих предшественников, несовершенство научных методов с крахом науки, дерзновенные полеты мысли с дерзостью, рост и разносторонность индивидуальности с развращенностью ее...»

Вот вам обвиненный сто крат в дворянском презрении общественных проблем академик и «небожитель» Иван Бунин! Какой строй речи, какой пафос, знание и глубочайшее понимание всех проблем жизни!

Речь заканчивается таким образом: «Толстой в статье, которую я цитировал, особенно упирает на те подделки под художественные произведения, которые в таком огромном количестве появляются в наше время, и на роль газеты, журнала, критика, проводящих в жизнь эти подделки. “От газеты, журналов, критики, — говорит он, — зависит вся будущность просвещения европейского мира”. Господа, за “Русские ведомости” вы могли быть спокойны. “Русские ведомости” — один из самых благородных органов печати во всей Европе. Поклонимся же им за это благородство».

Какая поразительная серьезность, даже величавость, какой поистине хозяйский гнев; кто смеет поганить русскую литературу? Какие почести благородной газете! Уж Бунин ли это в самом деле? Да, Бунин. И его понятие о литературе, понимание ее и преклонение перед настоящей и гнев против поддельной.

Вот так он и с современной ему, новой литературой разошелся — тоже, как с женщиной, из-за слишком большой любви и обмана.

Не продолжаю историю этой речи, хотя она, разумеется, вызвала самые резкие и обиженные отзывы Бальмонта, Брюсова, Арцыбашева, Балтрушайтиса, Зайцева и других писателей, в которых Бунин и метил. Газета «Голос Москвы» провела летучий опрос и потом напечатала ответы писателей. В свою очередь, Бунин еще раз на эти мнения ответил — и не менее резко. Оспорить его никому не удалось.

Иван Алексеевич Бунин был философ. Подобно самым древним в мире жрецам, египетским ли, буддийским, или подобно поздним греческим, которые познавали мир, задавая друг другу вопросы и отвечая на них по мере знаний, Бунин в своем одиночестве и сосредоточенности всю жизнь занят был тем же: познанием, сопоставлением одного с другим. Кто-то сказал: философия начинается с удивления. Это очень подходит Бунину: мир непрестанно удивлял его. Всегда влекла древность. Он тщился постичь Время: что это? Где граница меж прошлым, нынешним и будущим? И есть ли она вообще?.. Смерть — тайна, и жизнь — тайна. Живя, не узнаешь жизни. Надо остановиться, оглянуться, задуматься. Он любит читать Саади: «Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество... Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей. ...Я коротал дни с людьми всех народов по колосу с каждой нивы...» («Тень птицы», 1907).

Бунин, начиная писать свою прозу, хочет уйти от стереотипов, от беллетристики. Он пишет прозу, как стихи: кратко, собранно, лично. Ему нет охоты рассказывать, пересказывать, конструировать: я передам, я выражу свое впечатление, свой взгляд, понимайте сами, как хотите.

Среди первых знаменитых его рассказов есть «Сосны» — краткая словно бы поэма о зимней ночной метели в лесу, смерти и похоронах в деревне Платоновке сотского Митрофана, — без всяких лишних описаний, объяснений автор, без подставного рассказчика, от себя повествует об этой метельной ночи, о гуле вьюги и леса, о лежащем в своей избе покойнике Митрофане, о дне похорон его: мир полон красок, жизни, зимнего солнца, пушистого снега, красоты гигантских сосен с зелеными их кронами. Зрелище покойника, знаки смерти, горе людей, ужас рассказчика — тоже здесь же, все воедино. Красота Мира многозначна, слишком насыщена, таинственна. «Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...»

Прочтешь этот рассказ и будто заглянешь в пропасть — такое остается чувство. В пропасть жизни? Смерти? Времени? Вечности?.. Нелегко объяснить, но впечатление именно такое, несомненно.

Это рассказ 1901 года, когда Бунин пишет уже много, широко, все более уверяясь в себе самом, своем стиле — и своей правде.

Есть, между прочим, фотография этого года: Бунин очень красив, тонкое лицо, усы и борода, ладный сюртук, галстук с белым стоячим воротничком, белые манжеты с выступающими из них бело-красивыми кистями изящных рук. Вид покойный, взгляд остро-открытый, ни глаза, ни светлый лоб ничем не омрачены. Приличный, вполне благополучный господин, по виду ни за что не скажешь, что пишет такие далеко не веселые рассказы. И что так знает эту, кажется, должную быть далекой от него какую-то Платоновку, зиму, вьюгу, просеку с гудящими соснами, какого-то Митрофана.

А между тем...

А между тем уже в 1899 году произошла всероссийская стачка студентов. И именно с нее по новейшей истории и началась русская революция.

Конечно, как и многое прочее, революция пришла к нам с Запада (теперь толкуют, чуть ли не с Петра Великого). Но есть, однако, исторически и резко очерченная русская революция. Сто лет она витала в воздухе начиная с 1812 года, с возвращения армии из Европы — в этом смысле Наполеон не виноватее Петра, — вернулись, огляделись: оказывается, так жить нельзя. Россия была вечно влюблена в революцию — так у Гоголя каждая женщина влюблена в черта, — и Россия любила и выгривала ее, змеюку, на своей груди: «Вольность» Пушкина, Радищев, Рылеев, декабристы, Герцен... Жизнь, как всегда, коварно обманула и все повернула по-своему. Свобода, равенство и братство обратились во что? Свобода — в свободу для одних, в оголтелый эгоизм и индивидуализм, равенство — в равенство для равных, братство — в братоубийство и человеко-ненавистничество. Кто ж знал! (Кто знал — того не послушались, да и поздно было.)

Может быть, начиная еще с тех молодых харьковских социалистов, возникли бунинская неприязнь, непримиримость ко всему революционному, и разошлась его дорога с дорогой русской революции.

Впрочем, как же разошлась? Другое дело, что его туда не втянуло, — служить этой революции, воспевать ее, остаться с нею. Но именно революция изломала его судьбу, отняла у него родину, Россию, перевернула весь привычный мир.

Они никогда и не могли сойтись.

Иван Алексеевич Бунин, философ и знаток своей страны, своего народа — как и всего мира, всего мирового пространства и времени, — не мог поверить в то, что обещали, чем плакатно размахивали. Он верил в другое и другое знал: материальное — еще не все, социальное — далеко не все, человек не есть просто пролетарий или буржуй, всех проблем человеческих не решить разом, а тем более силком, напором.

В этот период, перед самой революцией, несмотря на столь мрачные мотивы в стихах и прозе, личная жизнь писателя идет довольно бурно, активно, можно сказать, радостно. Его много издают, читают, знают — он известен не только кругу профессионалов-писателей, но и читающей публике... У него бывают вечера в Политехническом, в Петербурге, он выступает, читает сам свои стихи и рассказы, участвует в юбилеях, литературных собраниях, присутствует на панихидах, обедах, премьерах. Слава Богу, он теперь обеспечен, нищенская юность позади, он может позволить себе что хочет: поездки, покупки, рестораны. Единственно, чего у них нет с Верой Николаевной, — своего дома; уж это, видно, на роду ему было написано, навсегда, — кочевать, жить по гостиницам, по гостям, чужим городам.

Что же, все было во имя главной цели: я жил, чтобы писать...

Однако...

«Две трети всех сил моей жизни я убил на этот будто бы необходимый для меня труд. Но жил все-таки не затем, чтобы только писать. Хотел славы, похвал, даже посмертной памяти (что уже бессмысленнее всего). Но всегда содрогался от мысли о том, что вот будут после моей смерти (без меня) сохнуть на полках библиотек мои книжки, от представления о моем бюсте на могиле под кладбищенской сенью или в каком-нибудь городском сквере, где в летнее предвечернее время с идиотским визгом будут носиться друг за другом вокруг него, вечно немого, неподвижного, тонконогие мещанские дети. На постаменте: “такому-то!”, а к чему все это? Кто об этом “такому-то” думает? Ниже две даты: год рождения, год смерти, с чертой между ними, и вот эта-то черта, ровно ничего не говорящая, и есть вся никому не ведомая жизнь “такого-то”... просто в земле, как тысячелетнюю древность, как тот или иной лик или след легендарных времен, какой-то незапамятной жизни со всеми ее первобытными (на взгляд нашед-

шего) людьми, одеждами, обычаями, жилищами, утварью — и вечной, вовеки одинаковой любовью мужчины и женщины, ребенка и матери, вечными печалью и радостями человека, тайной его рождения, существования и смерти.

Тот, кто умер за две, три тысячи лет до нас, и подобия не имеет того, кто умер и погребен полвека тому назад в нашем мерзком гробу, в сюртуке или в мундире и в покойницких туфлях. Две, три тысячи лет — это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, печальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах: Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей...»

Вот, например, заметный в его биографии небольшой московский период: 17 января 1910 года Художественный театр отмечал пятидесятилетие со дня рождения А. П. Чехова. В. И. Немирович-Данченко обратился к Бунину с просьбой почитать воспоминания об Антоне Павловиче. «Немного. Минут пятнадцать — двадцать».

В театре присутствовало множество друзей и почитателей Чехова. «В ложе сидели родные...: мать, сестра Мария Павловна, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья,— не помню». Это дневниковая запись самого Бунина. «Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антоном Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.

Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали вступить в их труппу».

Впрочем, такое предложение они делали Бунину еще когда-то в Ялте, в тот знаменательный приезд театра в Крым, когда специально приехали показать Чехову «Вишневый сад», и на чеховской Белой даче в Аутке днями толпились артисты, шутили, читали наперебой Чехова, Бунин уже тогда сошелся тесно со всеми.

Через день, 19 января, состоялось «чеховское утро» в университете, здесь тоже собралось множество профессоров, преподавателей, писателей, читали Чехова И. М. Москвин и В. И. Качалов. Бунин снова читал свои воспоминания и рассказ Чехова «В усадьбе».

Вера Николаевна вспоминала: «Чуть ли не на другой день после чеховского праздника обедали у Ольги Леонардовны Книппер... Там я познакомилась с Марией Павловной Чеховой, она пригласила нас в следующее воскресенье к себе на обед».

Бунины впервые встретились с молодым Михаилом Чеховым, еще учеником театра. Впоследствии Бунин увидит его и будет восхищен игрой в «Сверчке на печи», а затем и в «Потопе».

В эти дни на одной из телешовских «сред», где Бунин бывал на правах уже полноправного члена «Среды», Леонид Андреев читал свою знаменитую пьесу «Дни нашей жизни», чуть позже — другую пьесу «Гаудеамус». Бунину понравилось, хотя у него были довольно сложные отношения с Андреевым. В 1910 году в интервью газете «Одесский листок» Бунин рассказал: «Как знают читатели, я никогда не был в восторге от нынешних модных писателей, а в том числе и от г. Л. Андреева. Когда я писал о произведениях г. Андреева, что они туманны и хаотичны, не художественны и бессодержательны, некоторые из господ читателей осыпали меня строгими нотациями... Заблуждение публики не может быть бесконечным. Публика скоро отрезвилась...»

Более тесные и более дружеские отношения из «модных» складывались у Бунина с Куприным, с Горьким.

7 февраля 1910 года праздновался тридцатилетний юбилей «Русской мысли» — чествовали основателя и издателя В. М. Лаврова. Давался по всем правилам банкет. Выступали литераторы, деятели театра: А. Грузинский, Немирович-Данченко, Бунин в том числе как постоянный автор журнала.

Но снова и снова, несмотря на светскую суету, Бунин сидел и работал над «Деревней» — она оставалась главной его заботой в ту пору.

Чтобы работать спокойно, он уехал из Москвы в Одессу. Повесть уже ожидал «Современный мир», где работала жена Куприна Мария Карловна. Ею была послана Бунину телеграмма: «Не отдавайте повести никому до переговоров с нами». В те годы писатели имели возможность выбирать себе издание или издателя, которые предлагали хорошие условия, солидные гонорары. То есть существовали нормальные, во всем мире и всегда принятые взаимоотношения между писателем и издателем. Бунин отдал первую часть повести в «Современный мир» 10 февраля. А 20-го писал Куприной: «Дорогой друг, вчера послал вам корректуру “Деревни”. Простите, что немного запоздал,— я был в Ефремове, в Тульской губернии,— очень больна моя мать».

Приехав в Одессу, Бунин действительно засел за работу. Хотя они с Верой Николаевной собрались в новое путешествие и уже были выправлены заграничные паспорта.

Первая часть «Деревни» вышла в мартовской книжке «Современного мира», остальное Бунин обещал дать в апреле и мае.

Так бывает: кажется, писатель целиком погружен в ту вещь, которую делает,— и даже срочно, подгоняемый не только своим запалом, но уже и внешним обязательством, однако что-то еще до конца не додумано, чего-то не хватает, что-то требует проверки, дополнения, и нервы заставляют переключиться на другое, занять себя другим, отвлечься. Не так-то легко идет «Деревня», требует углублений и уточнений, но Бунин вместе с Верой Николаевной все-таки отправляется вдруг в новый вояж за границу; путешествие, как часто бывало, выручает его, возможно, необходимо новое возбуждение, осмысление написанного. Они едут в Вену, Милан, в Геную, затем в Ниццу. Переписываясь с Горьким, который в это время живет на Капри, Бунин обещает непременно навестить его, и вот теперь они отправляются и на Капри.

**ДЕРЕВНЯ.** В «Грасском дневнике» Г. Кузнецова вспоминает, как однажды спросила И. А., как он писал «Деревню», с чего началось.

«— Да так... захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в 4 дня. И на год бросил.

— А вторая часть?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву, почему-то в июле. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут и получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал...»

Это горькое признание на удивление связывается со всем трагическим, отчаянным настроением «Деревни» — видимо, такое личное переживание — горе, смерть матери — способно дать писателю то состояние, настроение, которое способствует созданию наиболее глубокого и верного по отчаянию произведения. Горе-злосчастье, как ни странно, всегда продуктивнее для бунинского характера.

Бунинские «деревенские» рассказы 1910-х годов почти все жестко-реалистичны, насыщены картинками явно обличительными — жестокой, тупой, нищей жизни, образы их мрачны или печальны, жизнь беспросветна («Веселый двор», например, или «Сила», «Древний человек»). Но «Деревня», самая откровенная вещь, наполненная многопересеченными между собою событиями, образами, философией, написана всех гуще, ярче. Вот ярмарка, например: «Была всегда шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели дет-

ских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами... Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями...

Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах: подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашенные волосы мертвого бурого цвета...»

Кажется, стоишь перед полотном какого-либо русского художника, в зале или мастерской, где разбросаны по стенам или стоят на полу в безрамных холстах этюды к нему, портреты многочисленных живописных персонажей. Суриков всплывает, «Крестный ход» репинский, Нестеров, Корин.

Если вспомнить о портретах, то «Деревня» богата образами брата Кузьмы Ильича, Молодой (он стал классическим), ее мужа Родьки, и Серого, и Дениски.

Кроме ярких русских типов и живописных картин, полна повесть откровенных и нелюбезных разговоров о Руси, русском народе — эти тяжелые, убойные характеристики тоже поражали и поражают читателя.

Разговор с Кузьмой:

«...— Я, видишь ли,— анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю,— драть шкур не буду.

— Да и времена не те,— вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще,— драть-то».

Русский писатель всегда искренен. Вообще бог русской литературы — правда. А искренность предполагает и заставляет говорить, что думаешь, о самом любимом, в том числе и о семье, о родителях, возлюбленных, о родине, родном народе. В этом учителя и примеры — опять Пушкин, Гоголь, Грибоедов, «дедушка» Крылов, Тургенев, Гончаров, уж не говоря о Чаадаеве, Чернышевском, Герцене, Аксакове, Лескове. Бунин писал ту Русь, которую видел, понимал, открывал то, что лежало на душе.

Писатели, как подростки и оперившиеся дети, вечно спорили, роптали, делались непокорны устойчивым семейным порядкам. «Отцы и дети»! — кричали обществу. «Обломовщина»! «Мертвые души»!.. «Горе от ума»! «Униженные и оскорбленные»!.. «Бесы»! «Господа Головлевы»!.. «Тарелкины»!

Хотел или не хотел Бунин, но «Деревней» встал в ряд обличителей. Нет, конечно, совсем не желая того, не идя следом за тем же Горьким. Просто он так видел жизнь, так понимал ее и человека в ней. И выходило — правда.

В чем же секрет этой прославленной повести? Все, все ее читали, обсуждали, говорили, писали о ней, самую большую славу принесла она Бунину — дореволюционному. Впрочем, Горький, например, никогда не прерывавший своей внутренней связи с Буниным, любя его и восхищаясь, даже в советское время, в 1931 году, собирался переиздать ее: «Ничего, что он — барин, белогвардеец, дореволюционную деревню изобразил жестоко и правильно».

Пожалуй, в этом «жестоко» и надо искать секрет. Жестокая, злая, свирепая повесть, такая же, как и герой, Тихон Красов, новый тип хозяина, из бывших крепостных, кулака, кровопийцы и мироеда. Нет, нет, впрочем, оставим сразу эти отжившие, отшумевшие словечки. У Бунина, как всегда, все сложнее и проще, и хотя много сказано злого даже про революцию, про сам русский народ, дорвавшийся до бунта, до пожара хозяйской Дурновки, но не тот это пожар, не тот народ, который сто лет любила и воспевала вся русская литература: о где ты, детский, пушкинский, идеальный кузнец Архип из «Дубровского», который приказных в избе запер и сжег, а за кошкой, бегавшей по горящему сараю, полез на крышу?..

Может показаться, Бунин сгущает краски: столь нищ, грязен, уныл клопный быт деревни, даже в глазах, в восприятии все видевшего, не среди оранжевых роз прожившего Тихона Кузьмича. Настроение у Тихона — никуда, злое, агонизирующее, и Бунин беспощаден: ясно, как самому ему невыносим более этот быт, низкие страсти, вся эта жизнь.

Горький написал Бунину в декабре 1910-го серьезные слова о «Деревне»: «Конец “Деревни” я прочитал — с волнением и радостью за вас, с великой радостью, ибо вы написали первостепенную вещь. Это — несомненно для меня: так глубоко, так исторически деревню никто не брал. Можно бы говорить о Льве Николаевиче, но “Утро помещика” и прочее — это другая эпоха, и это эпизоды из жизни Толстого. “Мужики”, “В овраге” — тоже эпизоды — простите! — из жизни ипохондрика. Я не вижу, с кем можно сравнить вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это — ново. Так еще не писали».

Бунин очень вырос и изменился в эти годы своих первых «настоящих» рассказов. Сами рассказы, как это бывает с писателями, влияли на автора, оттачивали и взгляд, и мысль, и перо.

**ГОРЬКИЙ.** Вот строки из итальянского дневника Веры Николаевны: «Хотя мы платили в “Погано” за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку от Горьких, что нас просят к завтраку, а затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, послушать рассказ или обсудить “животрепещущий вопрос”...»

«...17 марта. Именины Горького, танцы, тарантелла, мандолина, стихи...»

«...Ян всегда был в ударе. Нужно сказать, Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но все же главное любили по-настоящему...»

Это главное — несомненно, литература, художество.

И еще: «Последнее наше пребывание на Капри было тихое, мы продолжали почти ежедневно бывать у Горьких. Иногда втроем — писатели и я — гуляли. Они часто говорили о Толстом, иногда не соглашаясь, хотя оба считали его великим, но такой глубокой и беззаветной любви, как у Ивана Алексеевича, я у Горького не чувствовала...»

Русскому писателю — при всей многомиллионности родного народа и величии родимой географии — предопределено всю жизнь чувствовать свое отчаянно-отчетливое одиночество. Потребность в человеке близком, слушающем и понимающем покрывали в изрядной степени любимые женщины — пирамиду увенчала и вершину заняла в конце концов Вера Муромцева. Роль близкого друга, наставника, почти отца выпала на долю Юлия Алексеевича — хорошо иметь такого старшего брата: умного, образованного, по-настоящему близкого, любящего, помогающего. Идеалом, эталоном литературным оставался, пусть далекий физически, всегда самый близкий в душе Толстой. Но хорошо еще иметь со-

товарища, соратника, сподвижника по профессии, по поколению — писатели обычно так и входят в литературу своим кланом, своей когортой. Отчего не сойтись было Бунину ближе с Куприным, Короленко, Андреевым, даже Потапенко? Что произошло с Горьким, казалось бы, наиболее близстоящим, возраставшим в ту же пору, принятым и одобряемым любимым Чеховым? Дружба с самим Чеховым носила все же оттенок отношений учитель — ученик, старший — младший, знаменитый — начинающий, хотя душевно и идейно все складывалось хорошо, а по бытовому, житейскому даже попросту, едва не родственно: можно было пожить и поработать в Белой даче в отсутствие хозяина, как это случилось однажды зимой.

Всегда страстно влюбленный в настоящую литературу коллекционер талантов Горький прямо-таки с ума сходил по Бунину: какие письма писал, какие слова говорил! Отличал его как самого лучшего из современных писателей, восторгался и стихами, и прозой особенно. Почти подобострастно, до самоуничтожения возносил его до небес перед другими. Печатав в своих сборниках «Знание», помогал. Бунин писал: «“Знание” сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в “Сборниках Знания” кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он (Горький) — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил».

А вот в воспоминаниях Владислава Ходасевича о Горьком есть такая забавная страница: «...Дука — домашнее прозвище Горького... В эпоху первой эмиграции, когда Горький жил не в Сорренто, а на Капри, его тогдашняя жена М. Ф. Андреева старалась создать легенду вокруг него. Домашней прислуге, лодочникам, рыбакам, бродячим музыкантам, мелким торговцам и тому подобной публике она рассказала, что она — русская герцогиня, дукесса, которую свирепый царь изгнал из России за то, что она вышла замуж за простого рабочего — Максима Горького. Эта легенда до крайности очаровала романтическое воображение каприйской и неаполитанской улицы, тем более что Андреева разбрасывала чаевые с чисто герцогской щедростью. Таким образом, местная популярность Горького не имела ничего общего с представлением о нем как о писателе, буревестнике, певце пролетариата и т. д. В сущности, она была для него даже компроментантна, потому что им восхищались, как ловким парнем, который сумел устроиться при богачке, да еще герцогине, да еще красавице. Все это рассказывал мне Максим, который терпеть не мог свою мачеху. Думаю, что отсюда же возникло и прозвище Дука, то есть герцог».

Они были слишком разные. Во всем. Бунин всегда эстет, аристократ, дворянин, не скрывавший, а подчеркивавший принадлежность к своему классу, древнему роду. Он чуть свысока и даже почти брезгливо говорил о мнимо-простонародном происхождении и корнях Горького, а тот восхищался его дворянством, повторял, что Бунин — последний представитель дворянской литературы, давшей всех «главных», от Пушкина до Толстого. Горький носил свою рабочую блузу с кожаным ремешком, грубые сапоги, заправленные в штаны, широкую шляпу, пуская слюну в мундштук, гася папиросу, этот наряд переняли у него Скиталец и Андреев, и однажды, в фойе Художественного театра, встретив всех троих, так одинаково одетых, Бунин не удержался пошутить: «Вы что, охотники?»

Бунин любил одеваться наимодно, наикрасиво: всегда твердые воротнички, галстук лучшего качества. Любил носить белое, шляпы, канотье, красивые кепи. При этом Бунин всегда был беден, а под старость просто нищ, еле сводя концы с концами, «пролетарский» же писатель, издававшийся по всему миру, а в советское время имевший необыкновенные тиражи, жил постоянно богато и благополучно. Горький, примыкавший к революционно-демократическому движению, постепенно сошелся с социал-демократами, стал «буревестником» революции, а затем сблизился с Лениным, с большевиками. Бунин всегда сторонился даже народничества, не любил никакой революционности, а революцию просто отринул, а затем и проклял, оставив из-за нее

любимую свою Россию. Горький никогда не знал и не любил мужика, деревню, говорил о них в годы революции тоже горькие и суровые слова. Бунин, выросший в деревне, писавший о единстве, о нерасторжимости мужиков и «бар», плакавший об уходящей, умиравшей на его глазах патриархальной Руси, написал об этом самые пронзительные свои рассказы, свою «Деревню», которой так восхищался Горький. Горький заклеил власть «народных комиссаров» в своих «Несвоевременных мыслях», не раз уезжал, покидал Россию, в конце концов разошелся с Лениным, но — вечный мастер компромисса — вернулся и задружился уже со Сталиным, отдал дань Ленину, написав о нем свою знаменитую и талантливую книгу. Бунин навсегда расстался с Советской Россией в 1920 году, жил, как все эмигранты, тосковал и страдал, но никогда не поддавался на уговоры о возвращении. Горький ревностно оберегал свою славу и положение ведущего, великого, ему невозможно было отказаться от той лести и славословий, которыми окружали его в СССР, — пришлось даже держать близко в доме, своим человеком знаменитого Крючкова, подосланного наркомом Ежовым. Бунин знал себе цену и не очень удивился даже Нобелевской премии.

Они оба преданно любили русскую литературу, были птенцами одного гнезда. И оба ревниво боролись с декадансом, со всеми «измами». Но если Горький, например, следуя воспитанной в самом себе доброте к талантам, сказал свое напутствие и одобрение молодому Маяковскому, то Бунин, как никто другой, обозвал Маяковского чуть не самыми последними словами.

Бунин приезжал к Горькому на Капри, подолгу гостил там, работал, три зимы подряд они провели с Верой Николаевной у Горького. Каждый день и каждый вечер писатели мирно беседовали, выпивали, обсуждали проблемы литературные и, надо полагать, политические тоже.

Уже немало было прожито, пройдено вместе: Чехов и Ялта, Москва, редакции, книги, как правило, посылаемые друг другу с приятными посвящениями, переписка, — они изрядное число писем написали один другому, Японская война, 9 января и первая революция 1905 года, «среды» Телешова, где собирались все ведущие в те годы писатели и где оба читали свои новые сочинения, и стихи, и рассказы. Московские и петербургские гостиницы и рестораны, Московский Художественный театр, общая дружба со всеми известными писателями, актерами, художниками. Горький сделался популярным драматургом, почти вровень с Чеховым, женился на мхатовке Марии Федоровне Желябужской-Андреевой. Бунин театра не любил, даже чеховских пьес не любил.

Гениальная энергия и фанатизм В. Ленина заморочили миллионы мозгов, писателю Горькому в том числе. Писатель Горький был человек восторженный и истово мечтательный: желание видеть людей лучше, чище, богаче помешало ему помнить, что люди не меняются и нельзя придумать того, чего нет. Пока суд да дело, он с мешанской хитроватостью спешил сам пожить хорошо, в чем преуспевал. Но доверчивость — слишком мягкое тесто для большевистского штыка. Был Горький нужен — носили на руках, нимбы рисовали вокруг чела, стал капризничать и мешать — отодвинули, по всей вероятности, просто убили.

Бунина нельзя было обольстить марксизмом, надудеть в уши басен о светлом будущем, о служении народу, человечеству и прочей фальши — он оказался крепче и жестче: веру в себя не переменял на чужую религию.

Они оба были одинаково значительными, необычайными индивидуальностями, крупнейшими талантами, русскими весомо-причудливыми самородками. Упаси Бог возвышать одного за счет другого! Сегодня, в конце нашего века, когда пишутся эти страницы, возникла и существует некая ревизия Горького. Это, к сожалению, в нашей манере: сваливши один гнилой дуб, начать валить огулом чуть не весь лес, все могучие деревья подряд. А то и сжечь, смести с лица земли, будто и не было никогда ничего!

Помнят Горького-буревестника и не вспоминают (не знают!) Горького — автора «Несвоевременных мыслей» в газете «Новая жизнь», закрытой в конце концов большевиками. А стоит помнить и знать!..

Например, «Новая жизнь», № 53, 28 (15) марта 1918 года:

«Все чаще разные люди пишут мне: “Мы не верим в народ”, “Я потерял веру в народ”, “Я не могу верить в народ, не верю партиям и вождям”».

Все это искренние вопли людей, ошеломленных тяжкими ударами фантастической и мрачной русской жизни, это крики сердца людей, которые хотят любить и верить. Но — да простят мне уважаемые корреспонденты! — их голоса не кажутся мне голосами людей, желающих знать и работать. Это выдыхает тот самый русский народ, в способность которого к духовному возрождению, к творческой работе отказываются верить мои корреспонденты. Уважаемые мои корреспонденты должны признать, что они плоть того самого народа, который всегда, а ныне особенно убедительно обнаруживал — и обнаруживает — полное отсутствие веры в самого себя. Это народ, вся жизнь которого строилась на “авось” и на мечтах о помощи откуда-то извне, со стороны — от Бога и Николая Угодника, от “иностраннных королей и государей”, от какого-то “барина”, который откуда-то “приедет” и “нас рассудит”. Даже теперь, когда народ является физическим “хозяйном жизни”, он все-таки продолжает надеяться на “барина”; для одной части его этот барин — “европейский пролетариат”, для другой — немец, устроитель железного порядка; некоторым кажется, что их спасет Япония, и ни у кого нет веры в свои собственные силы.

Вера — это всегда хорошо для удобства души, для спокойствия ее, она несколько ослепляет человека, позволяя ему не замечать мучительных противоречий жизни, естественно, что все мы стремимся поскорее уверовать во что-нибудь, в какого-нибудь “барина”, способного “рассудить” и устроить добрый порядок внутри и вне нас. Мы очень легко веруем: народники расписали нам деревенского мужика, точно пряник, и мы охотно поверили — хорош у нас мужик, настоящий китаец, куда до него европейскому мужику.

Было очень удобно верить в исключительные качества души наших Каратаевых — не просто мужики, всечеловеки! Глеб Успенский “Властью земли” нанес этой вере серьезный удар, но верующие не заметили его. Чехов, столь нежно любимый нами, показал нам “Мужиков” в освещении еще более мрачном — его поругали за неверие в народ. Иван Бунин мужественно сгустил темные краски — Бунину сказали, что он помещик и ослеплен враждой к мужику. И, конечно, не заметили, что писатели-крестьяне — Иван Вольный, Семен Подъячев и др. — изображают мужика мрачнее Чехова, Бунина...

У нас верят не потому, что знают и любят, а именно для спокойствия души, это вера созерцателей, бесплодная и бессильная, она — “мертва есть”. Верой, единственно способной горы двигать, мы не обладаем. Теперь, когда наш народ свободен развернул перед миром все богатства своей психики, воспитанной веками дикой тьмы, отвратительного рабства, звериной жестокости, мы начинаем кричать: “Не верим в народ”.

Уместно спросить неверов:

— А во что же и почему вы раньше верили? Ведь все то, что отталкивает теперь вас от народа, было в нем и при Степане Разине, и Емельяне Пугачеве, в годы картофельных бунтов и холерных, в годы еврейских погромов и во время реакции 1907—1908 годов. Во что верили вы?

Хороший честный мастер, прежде чем сделать ту или иную вещь, изучает, знает материал, с которым он хочет работать.

Наши социальных дел мастера затеяли построение храма новой жизни, имея, может быть, довольно точное представление о материальных условиях бытия народа, но совершенно не обладая знанием духовной среды, духовных свойств материала.

Нам необходимо учиться и особенно нужно выучиться любви к труду, пониманию его спасительности.

Вера — это очень приятно, но необходимо знание. Политика неизбежна, как дурная погода, но, чтобы облагородить политику, необходима культурная работа, и давно пора внести в область злых политических эмоций эмоции доброты и добра. Верить нужно в себя самого, в свою способность к творческой работе, остальное приложится.

“Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться”, чтобы спорить с мерзостями жизни и преодолевать их.

Верить — это удобно, но гораздо лучше иметь хорошо развитое чувство собственного достоинства и не стонать по поводу того, в чем все мы одинаково виноваты».

Умел и Алексей Максимович быть сердит и сказануть!..

Любопытное совпадение вот с какой записью в дневнике Бунина: «22 марта 16 г. Ах, уж эти русские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать. А это идиотское деление народа на две части: в одной хищники, грабители, опричники, холопы, царские слуги, правительство и городовые, люди без всякой чести и совести, а в другой — подлинный народ, мужики, чистые, святые, богоносцы, труженики и молчаливники. Хвостов, Горемыкин, городовой — это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство, и нечего все валить на самодержавие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления для русского народа, недаром же она продержалась триста лет! Ведь вот газеты! До какой степени они изолгались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих плечах то-то и то-то и т. д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: “мирские устои”, “хоровое начало”, “как мир батюшка скажет”, “Русь тем и крепка, что своими устоями” и т. д. Все подлые фразы! Откуда-то создается совершенно неверное представление о организаторских способностях русского народа. А между тем нигде в мире нет такой безорганизации! Такой другой страны нет на земном шаре! Каждый живет только для себя. Если он писатель, то он больше ничего, кроме своих писаний, не знает, ни уха ни рыла ни в чем не понимает. Если он актер, то он только актер, да и ничем, кроме сцены, и не интересуется. Помещик?.. Кому неизвестно, что представляет из себя помещик, какой-нибудь синеглазый, с толстым затылком, совершенно ни к чему не способный, ничего не умеющий. Это уже стало притчей во языцех. С другой же стороны толстобрюхий полицейский поводит сальными глазами — это “правящий класс”...»

Далее в том же дневнике были такие, вычеркнутые потом фразы: «А что они сделали для этого народа, столь забытого, действительно жалкого народа? Ничего. Погоди, погоди, этот доблестный народ, над которым они так умиляются, им покажет!»

Позже судьба еще сведет Бунина и Горького как прямых соперников — это будет уже в бунинской эмиграции, в начале тридцатых, по поводу Нобелевской премии. Конечно, и в памяти, в «раскладке» потомков, будет продолжаться это несоразмерное, неправомерное отдавание слав, пение фанфар всегда в честь одного и официальное, государственное, идеологическое затмение, затушевывание другого. Но русская литература имеет свойство все и всех расставить в конце концов по своим, надлежащим каждому местам.

Сейчас я говорю лишь о дореволюционном периоде, о ранних, еще «нормальных» отношениях двух писателей, о несомненной привязанности Бунина к Горькому.

Осуждают Горького за поездку на лагерный Беломорканал и книгу о нем, о «хороших» чекистах, о «гении» Сталина. А забывают, скольких людей спас Горький после Октября от тех же чекистов и просто от голода. Тычут Горькому в глаза скверно написанной и ложной книжкой «Мать» и забывают его — автора четырехтомного «Клима Самгина», совсем не слабого, мягко говоря, романа. Поминают Горького, сделавшегося пастырем братьев-писателей, согнавшего всех огулом в один Союз советских... и опять забывают, скольким он был подлинно крестным отцом. Выставляют его чуть не мучителем, предателем; напрасно: он по слабости человеческой сам мученик, служил власти, как служивали царям и королям очень серьезные и могучие таланты. Просто, как сказал когда-то Стендаль после Французской революции: «Посмотрим еще, кому лучше служить, герцогу Гизу или своему сапожнику». Советским писателям пришлось служить даже не сапожнику, а сыну сапожника (если на самом деле был таким Сосо Джугашвили!).

Одно из самых низких свойств человеческих — быть Иванами, родства не помнящими, клеветниками своего же прошлого. Я движусь в своем сравнении двух писателей слишком по узенькому краю пропасти: если бы я писал о Горьком, наверное, у меня и Бунин высвечивался по-другому.

Я стараюсь сберечь правду, показать, какую была связь и что она все же была, не могла не быть.

Вот небольшой эпизод из воспоминаний Нины Берберовой о Горьком (Горький живет в Германии, Берберова гостит у него): «...Это было в день присылки ему из русского книжного магазина в Париже только что вышедшей книги последних рассказов Бунина. Все было оставлено: работа, письма, чтение газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку вышел с опозданием и в такой рассеянности, что забыл вставить зубы. Смущаясь, он встал и пошел за ними и там долго сморкался.

— Чего это Дука (так его звали в семье) так расчувствовался нынче? — спросил Максим, но никто не знал. И только к чаю выяснилось:

— Понимаете... замечательная вещь... замечательная... — Больше он ничего не мог сказать, но долго после этого он не притрагивался ни к советским новинкам, ни к присланным неведомыми гениями рукописям.

Бунин был в эти годы его раной: он постоянно помнил о том, что где-то жив Бунин, живет в Париже, ненавидит советскую власть (и Горького вместе с нею), вероятно, бедствует, но пишет прекрасные книги и тоже постоянно помнит о его, Горького, существовании, не может о нем не помнить. Горький до конца жизни, видимо, любопытствовал о Буине. Среди писем Горького к А. Н. Толстому можно найти одно, в котором он — из Сорренто — пишет Толстому, что именно Бунин «говорил на днях». Ему привезла эти новости М. И. Будберг, которая только что была в Париже».

(В письме от начала февраля 1932 года буквально сказано: «Иван Бунин был спрошен одним из поклонников его: “Вот приедет Алексей Толстой и покается перед тобою, гений, в еретичестве своем,— простишь ли ты его?” Закрыв Иоанн Бунин православные очи своя и, подумав немало, ответил со вздохом: “Прощу!” Весьма похоже это на анекдот, сочиненный человеком недоброжелательным Бунину, но рассказано сие как подлинная правда, и я склонен думать, что так оно и есть — правда! Жутко и нелепо настроен Иван Алексеев, злопытательство его все возрастает, и — странное дело! — мне кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, самовнушенная, выдуманна им для самосохранения. Так бывает: В. И. Иксуль однажды любезно предложила себя Дмитрию Мережковскому, но он, испуганный этим, почему-то заявил ей: “У меня — люэс!” Сходство отдаленное, но есть.

Плохо они живут, эмигранты. Старики теряют силы и влияние, вымирают, молодежь не идет их путями и даже не понимает настроения их...»)

Берберова продолжает: «В свете случившегося много позже сейчас ясно, что в этих сплетнях замешан был некто Рошин, член французской компартии, долгие годы живший в доме Буниных как друг и почитатель, о чем до 1946 года никто, конечно, не имел никакого представления.

Читая Бунина, Горький не думал, так ли бывает в действительности или иначе. Правда, сморкаясь и вздыхая у себя над книгой, он не забывал исправлять карандашом (без карандаша в ровных, чистых пальцах я его никогда не видела) опечатки, если таковые были, а на полях против такого, например, словосочетания, как “сапогов новых”, — будь это сам Демьян Бедный — ставил вопросительный знак. Такие словосочетания считались им недопустимыми, это было одно из его правил, пришедших к нему, вероятно, от провинциальных учителей словесности да так в памяти его и застрявших. К аксиомам относились и такие когда-то воспринятые им “истины”, как: смерть есть мерзость, цель науки — продлить человеческую жизнь, все физиологические отправления человека стыдны и отвратительны, всякое проявление человеческого духа способствуют прогрессу. Однажды он вышел из своего кабинета, пританцовывая, выделывая руками какие-то движения, напевая и выражая лицом такой восторг, что все остолбенели. Оказывается, он прочел очередную газетную заметку о том, что скоро ученые откроют причину заболевания раком.

Он был доверчив. Он доверял и любил доверять. Его обманывали многие: от повара-итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина — все обещавшего ему какие-то льготы для писателей, ученых и врачей. Для того чтобы доставить Ленину удовольствие, он когда-то написал “Мать”. Но Ленин в ответ никакого удовольствия ему не доставил...»

Мы сегодня еще недостаточно знаем о внутреннем эмигрантстве Горького, о его инакомыслии и всей той тайной полицейской слежке, что велась за ним и вокруг него. Он оказался, к несчастью, между эмиграцией, где его кляли на все корки, и когортой новых советских писателей, за которых болела его душа. Коварная ласка Сталина и ему сжимала горло, несомненно. Страх и чувство самосохранения калечили и его душу, заставляли прислуживаться, хоть оно и тошно.

Мне не представляется возможным на этих страницах заняться неким принципиально-художественным анализом и сравнением, хотя следовало и было бы интересно: сравнить «Жизнь Арсеньева» и трилогию Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». В этом тоже ярко обозначились бы и сходство, и различие обоих художников. Почему-то в одно время, почти параллельно они создавали свои самые исповедальные творения. Некий знак и символ в том есть.

Позже, в одесском дневнике Веры Николаевны 1918 года, можно найти следующее:

«Вы слышали, — спросил Ян Яблоновского, — говорят, Горький стал товарищем министра народного просвещения?»

— Это хорошо, теперь можно будет его вешать, — с злорадством ответил Яблоновский».

И далее: «Ян говорит, что никогда не простит Горькому, что он теперь в правительстве.

— Придет день, я восстану открыто на него. Да не только как на человека, но и как на писателя. Пора сорвать маску, что он великий художник. У него, правда, был талант, но он потонул в лжи, в фальши...»

Много лет спустя Бунин все продолжает свой спор с Горьким, ревизию его. Вот запись из дневника: «20.1.42... Пробовал читать Горького, “Вареньку Олесову”, которую читал лет 40 назад с отвращением. Теперь осилил только страниц 30 — нестерпимо — так пошло и бездарно, несмотря на все притворство автора быть “художником”. “Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь листву кус-

тов сирени и акаций, пышно разросшихся у перил террасы, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами... Воздух был полон запаха липы, сирени и влажной земли...” (И липы и сирень цветут вместе.)...»

Вера Николаевна продолжает: «Мне грустно, что все так случилось, так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на Капри, после пения, мандолин, тарантеллы и вина, Ян сделал Горькому такую надпись на своей книге: “Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, всегда буду любить вас...” Неужели и тогда Ян чувствовал, что пути их могут разойтись, но под влиянием Капри, тарантеллы, пения, музыки душа его была мягка, и ему хотелось, чтобы и в будущем это было бы так же. Я, как сейчас, вижу кабинет на вилле Спинола, качающиеся цветы за длинным окном, мы с Яном одни в этой комнате, из столовой доносится музыка. Мне было очень хорошо, радостно, а ведь там зрел большевизм. Ведь как раз в ту весну так много разглагольствовал Луначарский о школе пропагандистов, которую они основали в вилле Горького, но которая просуществовала не очень долго, так как все перессорились, да и большинство учеников, кажется, были провокаторами. И мне все-таки и теперь не совсем ясен Алексей Максимович. Неужели, неужели...» Да, конечно, мог ли Бунин и все вообще знать, что именно случится в конце концов, лишившее его напрочь любви к Горькому!..

В 1936 году, узнав в Грассе о смерти Горького, Бунин написал о нем довольно жестко-ироничный, хоть и грустный очерк, совсем не польстив старому товарищу. «Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: “Алексей Максимович хочет поговорить с вами”. Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда оконченными».

И все же они были, эти отношения, и оба писателя никогда не забывали друг о друге, знали, кто что пишет и как живет. А Горький — я уже упоминал — и в советское время пытался печатать Бунина и призывал своих советских питомцев-самоучек учиться у него мастерству.

Но не более того, ибо сам же когда-то давно сказал: «Хорошо пахнут “Антоновские яблоки” — да! — но они пахнут отнюдь не демократично... Ах, Бунин!..» Речь шла о том, включать или нет Бунина в очередной сборник горьковского «Знания».

Есть устойчивая и давняя традиция представлять Ивана Алексеевича Бунина, классика русской литературы, противником всякой политики, революционности, самой революции и наступившей в России новой («самой передовой и демократической в мире») советской власти. Он, мол, наплевал, уехал, все бросил, эмигрант, изгой, автор «Окаянных дней».

И все же их отношения не сравнить, например, с отношением Бунина к другому известному современнику, человеку своего писательского поколения — к Алексею Толстому.

**А. Л. ТОЛСТОЙ.** Бунин сам рассказал об их взаимоотношениях в едких воспоминаниях «Третий Толстой»: «...Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала “первой революции” так трагически декламировал Блок: “Мы — дети страшных лет России — забыть не в силах ничего!” — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале “Северное сияние”, который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот однажды в редакцию этого журнала явился рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне (“граф Алексей Толстой”) и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием “Сорочьи сказки”, ряд коротеньких и очень ловко сделанных “в русском стиле”, бывшем тогда в моде, пустяков.

Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью, которой всегда отличались все писания Толстого.

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный отец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник: был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у знатных людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогло ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение, одет и обут был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь — признак натуры упорной, настоящей, постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражения лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом... ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный...

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня: — Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот, например, как невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с эдаким артистическим раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим, и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит желтую кофту, Андреев и Шаляпин — поддевку, русские рубахи навывпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенники, дорогой мой!..»

(Как знать, возможно, этот совет Толстого был частью и принят Буниным: мы видим его на всех портретах одетым весьма изысканно, — и рубашки такие, и галстуки, разве что длинных волос Иван Алексеевич никогда, кажется, не нашивал.)

Бунин рассказывает далее о совместной жизни в Одессе, о бегстве оттуда, о жизни во Франции, когда еще продолжали дружить, встречаться.

Бунину трудно было пережить возврат Толстого в СССР, служение его Советам, хотя известно, что он послал на имя Толстого открытку, прочтя «Петра Первого»: «Алеша! Хотя ты и ..., но талантливый писатель. Продолжай в том же духе». А накануне Отечественной войны именно Толстому писал о своем желании вернуться. Толстой даже написал о Бунине Сталину. Хотя ранее в одном из интервью, вернувшись как-то из Парижа, сказал, что от «Бунина осталась одна оболочка».

Сюда следует добавить, что после «Хождения по мукам» ближайший друг Бунина Марк Алданов написал книгу-антитезу — роман «Самоубийство» — не о том, как интеллигенция приняла советскую власть и стала служить ей, как у Толстого, а о трагедии и гибели нескольких героев из «бывших» и о большевиках, в том числе о Ленине: о нем Алданов написал очень мощно, серьезно, пока-

зав откровенно, как подлинно исторический писатель, и всю гениальную организаторскую роль Ленина, и все недостатки его, и ожидавшую его в конце концов трагедию несовершенства новой власти и партии, и трагедию, самоубийственную трагедию самого вождя «мирового пролетариата». Такая книга была, несомненно, ближе Бунину, чем книга Толстого, хоть Бунин и похвалил снова его писательский дар.

Бунин дружил с Б. Зайцевым, Марком Алдановым, семьей Цетлиных, много ему помогавших, писал изредка Телешову. Когда Бунины жили в Грассе, у них почти постоянно бывали и даже жили подолгу писатель Л. Зуров, другой литератор Н. Роцин, молодая поэтесса и прозаик Галина Кузнецова.

**МОСКВА.** Хочется особо сказать, как любил Бунин Москву. Русский писатель не может не любить Москвы и не писать о ней — довольно вспомнить пушкинский каскад перечислений московских признаков в «Онегине»:

...Прощай, свидетель нашей славы,  
Петровский замок. Ну не стой!  
Пошел! Уже столпы заставы  
Белеют, вот уж по Тверской  
Возок несется чрез ухабы.  
Мелькают мимо будки, бабы,  
Мальчишки, лавки, фонари,  
Дворцы, сады, монастыри,  
Бухарцы, сани, огороды,  
Купцы, лачужки, мужики,  
Бульвары, башни, казаки,  
Аптеки, магазины моды,  
Балконы, львы на воротах  
И стаи галок на крестах.

Бунинские описания Москвы по-пушкински энергичны, подробны, точны, многопредметны и многолики.

В феврале 1895 года Бунин впервые приехал в Москву, остановился в меблированных комнатах Боргеста у Никитских ворот. Позже написал: «...Старая, огромная, людная Москва» и т. д. Так встретила меня когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение. Через два года после того я опять приехал в Москву — тоже ранней весной и тоже в блеске солнца и оттепели, — но уже не на один день, а на многие, которые были началом *новой* моей жизни, целых десятилетий ее, связанных с Москвой. И отсюда идут уже совсем другие воспоминания мои о Москве, в очень короткий срок ставшей для меня, после моего второго приезда в нее, привычной, будничной, той вообще, которую я знал потом около четверти века».

**«Чистый Понедельник»:** «Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчищи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи — в сумраке уже видно было, как с шипеньем сыпались с проводов зеленые звезды — оживленнее спешили по снежным тротуарам смутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаче мой кучер — от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него, каждый вечер я возил ее в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там к «Яру», в «Стрельну»... В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные...

Я стоял, смотрел в окна... за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы, в другое, левее, была видна часть

Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него... “Странный город!” — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блаженный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...»

Это один из исключительных бунинских шедевров дает нам Москву не только в изощренной бунинской изобразительности, в красоте и оригинальности его образов, но и передает самый дух Москвы, таинственной, древней и современной сразу, волшебной.

**«Благосклонное участие»:** «И целых три недели Москва работает, торгует, веселится, но среди всех своих разнообразных дел, интересов и развлечений втайне живет только одним — ожиданием знаменательного вечера двадцать седьмого декабря. Великое множество афиш всех цветов и размеров пестрит на всех ее улицах и перекрестках: “На дне”, “Синяя птица”, “Три сестры”, Шалапин в “Русалке”, Собинов в “Снегурочке”, Шор, Крейн и Эрлих, опера Зимина, вечер Игоря Северянина... Но теперь всякому бьет в глаза только та маленькая афиша, на которой крупно начертано имя, отчество и фамилия благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников пятой московской гимназии».

Какой тоже московский рассказ! Какой незабываемый образ старой актрисы — московской актрисы!..

**«Митина любовь»:** «...В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта... Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скальвали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синееющим небом. Вдали, с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь...»

**«Казимир Станиславович»:** «Вечерело, воздух был тепел, зеленели черные деревья на бульварах, всюду было много народа. Одиноко человеку, прожившему и погубившему свою жизнь, в весенний вечер в чужом людном городе! Казимир Станиславович пешком прошел весь Тверской бульвар, снова увидел вдали чугунную фигуру задумавшегося Пушкина, золотые и сиреневые главы Страстного монастыря... В кофейне Филиппова он пил шоколад, рассматривал истрепанные юмористические журналы. Выйдя, постоял в нерешительности, глядя на огненную сквозную вывеску кинематографа, сиявшую вдали по Тверской в синееющих сумерках... От прежнего ресторана, известного Казимиру Станиславовичу, осталось одно звание. Теперь это был большой, низкопробный ресторан. Над подъездом горел электрический шар, гелиотроповым, неприятным светом озарявший лихачей второго сорта, наглых и беспощадных к своим запаленным, костлявым рысакам, тяжело ревушим на бегу. В сырых сенях стояли горки с тропическими растениями, из тех, что переезжают с похорон на свадьбы и обратно... В большом зеленоватом зале со множеством широких зеркал и с малиновой лампадкой, теплившейся в углу, было еще пусто и зажжено всего несколько рожков. Чувствовалось, что еще не совсем стемнел за окнами в белых шторах долгий весенний вечер, слышалось с улицы цоканье копыт по мостовой: однообразно плескался среди зала фонтанчик в аквариуме, где ходили облезлые золотые рыбки, откуда-то снизу, сквозь воду, освещенные. Белый половой подал прибор, хлеб, графинчик холодной водки... Потом седой, кудрявый грузин принес ему на железной пике полусырой пахучий шашлык, с каким-то развратным ще-

гольством срезал мясо на тарелку и, для пушей азиатской простоты, собственноручно посыпал луком, солью и ржавым порошком барбариса... Потом подавали Казимиру Станиславовичу рокфор, красное вино, кофе, нарзан, ликеры... Машина давно смолкла. Вместо нее играл на эстраде оркестр немок в белых платьях, освещенный и все наполнявшийся народом зал нагрелся, потускнел от табачного дыма, густо насытился запахом кушаний; половые носились вихрем, пьяные требовали сигар, от которых тошнило; метрдотели расточали крайнюю заботливость, соединенную с напряженным соблюдением собственного достоинства... Казимир Станиславович несколько раз выходил из жаркого зала в прохладные коридоры, в холодную уборную, где странно пахло морем, шел точно по воздуху и, возвращаясь, снова требовал вина. Во втором часу, закрывая глаза и сквозь ноздри втягивая в свою одурманенную голову ночную свежесть, он летел на лихаче, на высокой пролетке с дутыми шинами, за город, в публичный дом, видел вдаль бесконечные цепи поздних огней, убежавших куда-то под гору и снова поднимающихся в гору, но видел так, точно это был не он, а кто-то другой...»

Утром, проснувшись с похмелья, этот несчастный, никому неведомый Казимир Станиславович открыл окно, «оно выходило во двор, и на него запахло свежестью и городом, понеслись изысканно-певучие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск экипажей, музыкальный гул колоколов... Город давно уже жил своей шумной, огромной жизнью в этот яркий весенний день...

...Ровно в шесть он был возле низенькой старинной церковки на Молчановке. За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево, играли дети,— у одной худенькой девочки, прыгавшей через веревочку, все спадал черный чулочек,— и сидели на скамье, перед колясками со спящими младенцами, кормилицы в русских нарядах. Все дерево трещало воробьями, воздух был мягок,— совсем, совсем летний, даже пылью пахло по-летнему,— и нежно золотилось вдаль за домами небо над закатом, и чувствовалось, что в мире есть радость, молодость, счастье...» Далее о церкви (тоже очень московской, типичной): «В церкви уже горела люстра и стоял нагой, пред ним лежал коврик. Казимир Станиславович осторожно, стараясь не испортить прически, снял цилиндр, вступил в церковь несмело,— он не бывал в церквях уже лет тридцать,— и поместился в уголке, но так, чтобы ему было видно венчающихся. Он оглядывал расписные своды, поднимал глаза в купол... Церковь, блестя золотом, выжидательно потрескивала свечами. И вот, крестясь, но свободно, привычно, стали входить священнослужители, певчие, потом старухи, дети, свадебные нарядные гости и озабоченные шафера...»

Невозможно остановиться и не процитировать дальше. Здесь, видимо, весь секрет жизни этого неизвестного, «нерассказанного», без всякой прежней истории Казимира, обретающегося в «странноприимной» (по Цветаевой) Москве: «Когда же послышался шум возле паперти, захрустела колесами подъехавшая карета и все обратились ко входу и грянула встреча: “Гряди, голубица моя!” — Казимир Станиславович покрылся от сердцебиения смертельной бледностью и невольно двинулся вперед. И близко, близко прошла мимо него, даже фатой своей его коснулась и ландышем овеяла та, которая даже не знала о его существовании на свете, прошла, склонив свою прелестную голову, вся в цветах и сквозном газе, вся белоснежная и непорочная, как принцесса, идущая к первому причастию... И за все время венчания только одно было пред его глазами: склоненная, в цветах и фате, голова и маленькая до боли в сердце милая, прелестная рука, с дрожью державшая горящую свечу, перевитую белой лентой с бантом...»

*«Ида».* «... По случаю праздника в Большом московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и

приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу с полукруглым диваном. Пошли туда.

— Господа,— сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем,— я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу.— Раскиньте же нам, служающий, самобраную скатерть, как можно щедрее,— сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками.— Вы мои королевские замашки знаете.

(Это место так и отзывается бунинской любовью к ресторанам, к случавшимся не единожды посиделкам за рюмкой с братьями-писателями, загулам и кутежам хоть с тем же Куприным, с одесскими друзьями. Много, до тяжкого похмелья, И. А. никогда не пил, голову берег, но выпить вообще всегда был большой охотник. Особенно, если красиво, в хорошем месте, с хорошим вином, хорошим столом, и в этом был, несомненно, эстет.)

— Как не знать, пора наизусть выучить,— сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой.— Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся...

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским... Начали с перцовки...»

**«В одной знакомой улице».** «...Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко — и я, студент, какой-то тот я, в существование которого уже не верится...

Там огонек таинственный  
До полночи светил...

И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и светилось вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской...

Ах, что за чудо девушка  
В заветный час ночной  
Меня встречала в доме том  
С распущенной косой...

И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок — и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась — и на нее, ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью... Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде и темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скудно освещенную керосиновой лампочкой...»

Какая тоже знакомая, каждому, думаю, памятная Москва, снежная, окраинная, юно-знакомая, далекая...

А конец? Как всегда у Бунина, после нежного, лирического почти всхлипа, восторга идет сдавленно сдержанное: «...как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню. Ничего больше и не было».

Музыка, музыка, нежная, милая, музыка,— и последний удар, аккорд! Все. Всему конец.

**«Памятный бал».** Здесь совсем другая Москва, и герой, и вся музыка: «...Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах,

но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на нарядной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрустальными люстрами и эти все покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующе гремевшей с хором. Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда, — она накануне сказала мне, что придет в двенадцать, — и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты...»

Совсем другая Москва, какая-то толстовская, «война-и-мировская» (!), и лестница, и героиня, и герой, который «уже давно был болен любовью к ней и как-то волшебным образом боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером!..».

Бунин передает нам всю атмосферу бала, рокового объяснения героев, безумный с горя поступок рассказчика, который мог привести его к дуэли и гибели.

Да и произошла уже, случилась его гибель на этом балу: ее отказ ему и признание — дикое! — что влюблена в своего мужа.

Грустно после таких рассказов, такой Москвы написались однажды вот какие стихи:

### *Москва*

Темень, холод, предрассветный  
Ранний час.  
Храм невзрачный, неприметный,  
В узких окнах точки желтых глаз.  
Опустела, оскудела паперть,  
В храме тоже пустота,  
Черная престол покрыла скатерть,  
За завесой царские врата.

В храме стены побтом плачут,  
Тусклы ризы алтарей.  
Нищие в лохмотьях руки прячут,  
Робко жмутся у дверей.

Темень, холод, буйных галок  
Ранний крик.  
Снежный город древен, мрачен, жалок,  
Нищ и дик.

12.IX.19

Эта дата говорит сама за себя. Прежней, красочной, сочной, богатой на краски и чувства, Москвы более нет.

В советское время эти стихи, разумеется, не печатались.

«...В жаркий майский день ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: “Это, должно быть, туда, где церква с синим куполом”. Шел долго, устал. Но весна, тепло, было очень хорошо. Увидел, наконец, древний собор, с зелеными главами, которые мужик назвал синими, весенний сквозной лес, в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосифа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, — в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нем синих и лазурных облаков...»

Теперь тут казармы имени Баумана. Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы из них выдраны, пол завален мусором,

и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет дырами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи взвились с полу, с мусора, и с иконостаса в дырах, с выступов риз над ликами святых...

А как знаменита когда-то была эта вотчина! Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

“Рощи 115 десятин. Рощи, числом 5, заповедные. Роща цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады, числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льняной двор для мятия льна. Скотный двор, в нем 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца. 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нем 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мельница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нем лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих пород. На мукомольне 7 мельниц. Стекланный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, умощенный дубовыми брусьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...”»

И такую, оказывается, была бунинская Москва!..

Правда, это написано уже в эмиграции, в книге «Между серпом и молотом», в 1930-м. Какое еще могло у него быть отношение к «серпу и молоту», к «казармам имени Баумана», кроме того, которое было?..

**ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО.** Русский писатель — всегда европеец. Просто образованный человек не может не быть европейцем, не втянуть в себя мировой культуры. Если мы только поглядываем и подглядываем в прорубленное Петром окно, то Европа-то влезла через него к нам целиком. Светское общество всегда с детских лет лопотало по-французски, книги читали французские, немецкие, английские, журналы тоже выписывали. Что уж говорить об учителях, гувернерах, гувернантках! Молодые люди ехали учиться в Германию и Францию — Гейдельберг, Кенигсберг и Сорбонна были столь же доступны, как свои университеты, от Петербургского до Казанского. На театре сплошь ставили французов и англичан. Лечиться ездили на воды, путешествовали, где хотели. Художники не обходились без Италии и Парижа. Полтовчанин Гоголь «Мертвые души» писал в Риме, Достоевский не вылезал из Германии, Герцен — из Лондона, его «Колокол» тайно провозили через таможи так же, как сто лет спустя провозили Синявского и «Архипелаг ГУЛАГ». Все знали о Французской революции. Потом о социализме. А Польша? Польское восстание 1831 года нанесло николаевской России не меньший удар, чем потом Гданьская верфь и «Солидарность» режиму советскому. Русский интеллигент не глядел на Монголию или Китай, но о делах европейских всегда был осведомлен, наслышан — от моды на сюртук или коляску до моды на идеи и революции. Пушкина не выпустили за границу, как он ни рвался, но воображением своим он достигал и Испании, и Англии, и даже Соединенных Штатов — и, кстати, первые стихи напечатал не в каком-нибудь журнале, а в «Вестнике Европы». Вечный спор западников и славянофилов всегда кончался не в пользу последних: общество все равно глядело на Европу и у нее училось, а не в Костроме или в Самаре.

Бродяжничество в натуре художника, в крови: о, прелесть этих юношеских скитаний! Беспечно ехать незнамо куда, повинувшись одному своему зову, просто географическому названию или провожая друга, а то, увлекшись мимолетным женским личиком, вскочить в вагон и оказаться наутро уже в Питере, в Риге, еще где. Выпить в буфете вокзальном с офицерами-морьяками и — с ними — уже в Севас-

тополе: Примбуль, Малахов курган, Херсонес, Балаклава. А дальше — Крым: чуть не пешком, на ослике татарском, на волах — как выйдет — Бахчисарай, Яйла, Байдарские ворота и море, море наконец, господа хорошие! Ялта, Мисхор, Ореанда, Массандра, настоящий херес и настоящий брют!.. А куда ваш пароход? На Одессу?.. Когда?.. Уже отходите?.. А что, не махнуть ли в Одессу?.. Одесса, порт, лестница, привет Александру Сергеевичу!.. В трамвае, по дороге на Большой Фонтан, некая милая дамочка, нерусская, ловко складывающая легкие фразы, оказалась женой какого-то писателя... Оставайтесь, можете у нас переночевать... А то еще можно в приморской степи выйти пешком на цыганский костер, зацепиться взглядом за черные веселые девичьи глаза, тоже заночевать прямо на земле, на сене, завернувшись, снизу и сверху в воняющий паленой шерстью старый тулуп... А Киев! Днепр! Целоваться, сидя на Владимирской горке в бурьяне с Лидой Ващук или как уж ее звали!.. А там, далее, Канев, могила Кобзаря, оказывается, какой хороший поэт был Тарас Шевченко! И уж какая судьбина выпала, горькая жизнь-незгода... Мир вокруг огромен, надо поехать к пирамидам или в Палестину, Святую землю, — все увидеть, оглядеть своими глазами.

У Бунина была страсть к путешествиям, бродяжничеству всю жизнь. Должно быть, еще с юношеских прогулок пешком или верхом по окрестным полям, лесам, селам вошла в него тяга к свободному и одинокому движению, возбужденно-обостренному вглядыванию в привычное, наблюдению за всякой мелочью и фиксации ее в себе, обрисовке словом. Путешествия — страсть к новым местам, приключениям, городам, незнакомым еще людям, природе, стихиям — грозе, буре, метели, желание все испытать, быть тем и другим, подобно артисту, в разных ролях быть охотником и дичью, играя порою и самую жизнью, — «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю», покорять пространства, стихии, противников, женщин, целое общество, быть жадным, устремленным, отважным, гореть. В пути, у окошка, особенно хорошо сочиняется, проверяется задуманное, повторяется. Остаешься один на один с собою, с любимой думой, горы, поля, леса, деревни, лошаденки, огни, облака, закаты — все мимо, мимо, но присутствует и действует, точно музыка. Вот так, должно быть, путешествовали Пушкин, Байрон, Лермонтов, молодой Толстой. «А горы! — говорит Оленин в “Казаках”. — А горы!..»

Иван Алексеевич путешествовал в Италии, Турции, на Балканах в Греции, Палестине, Алжире, Тунисе, он добирался до Индии, до Цейлона. Любил пароходы, порты, острова, океан, новые моря и новые земли. Конечно, он видел, как расслоен, разителен контрастами своими современный мир, как по-разному живут в нем разные люди. Принято считать, что никогда не затрагивали его социальные проблемы, политика, общественная борьба. Он и сам откровенно признавался: «Я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности, я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом, а меж тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он из “народа”, был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той “литературной революции”, которая — в большей части из-за подражания Западной Европе — столь шумно поддельвалась в эти годы среди быстро развивающейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей... Я, как сказал Саади, стремился обозреть лицо мира и оставить в нем “чекан души своей”, меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические».

В 1915 году Ивану Алексеевичу Бунину уже сорок пять лет. Он бодр, изыскан, живет напряженной и внешней, и внутренней жизнью. В мире идет война, Россия ее на глазах проигрывает, миллионы людей гибнут, страдают, но никто

из рядовых, простых российских граждан ничего, как у нас водится, поделать не может. Бунин говорит, беседуя с родственником своим Пушешниковым (это их Васильевское, Глотова, Пушешниковых): «Я — писатель, а какое значение имеет мой голос? Совершенно никакого. Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым рабство — суший пустяк». Бунин редактировал свое собрание сочинений, писал стихи и рассказы, весной вышла его новая книга «Чаша жизни». Он бывает в Петербурге, встречается с Горьким, Чуковским, Репиным. Он перечитывает Тургенева — «Дворянское гнездо» — и остается недоволен, хотя любит и чтит Тургенева всю жизнь. И как-то в городской суматохе, в Москве, в витрине книжного магазина случайно видит обложку книги Томаса Манна «Смерть в Венеции» — название дало «затем, уже в Орловщине, толчок ассоциативному движению мысли», он вспомнил о внезапной смерти какого-то американца на Капри и тотчас решил написать «Смерть на Капри», что и сделал в четыре дня.

В дневнике осталась запись:

«14 — 19 августа писал рассказ “Господин из Сан-Франциско”. Плакал, пища конец. ...И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в “Квисисане”) я выдумал».

Выдумывал и сам плакал, пища конец!.. Вот вам и привет опять от Александра Сергеевича, родника нашей литературы: «Над вымыслом слезами обольюсь...»

Впоследствии Бунин множество раз редактировал рассказ, сокращал, чистил, в целом работы выйдет поболее, чем в четыре дня. Но, я уже говорил, он приучил, научил себя писать рассказы, как стихи, вдруг, единым выливом, разом, и даже этот, весьма густой, плотный, а развести, как бульон, кипятком, то и огромным окажется, целой повестью, — все-таки он сжат кулаком и бьет кулаком, этот удивительный, один из самых знаменитых в мире рассказов, переведенный на все человеческие языки и всем известный.

Бунинская мощь, бунинский прием и принцип (уже выверенный, проверенный) писать как бы ни о чем, без пространного сюжета, «разработки» героев и приспособления к какому-нибудь направлению, кроме направления собственной мысли, — все здесь явилось в совершенном, законченном виде.

Все возбуждение от современной жизни, от зрелища всего мира вложено в описание могучего корабля «Атлантиды» (похожего на «Титаник»), идущего из Нового Света в Европу. Ледяная пурга, зима, океан, шторм — ничто не страшно пароходу, «похожему на громадный отель со всеми удобствами — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой», кажется, пароход есть символ всего мира, цивилизации XX века, машинной, высокотехничной, с расслоенным, разъятым человечеством — от кочегаров, обливающихся потом у страшных, адских машин корабля в его утробе, до утопающей в роскоши и удобствах жизни публики первых классов, вплоть до самого 58-летнего господина из Сан-Франциско, богача, который «только что приступил к жизни». «До той поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее».

О, это бунинское будущее! Неведомое время, в которое он никогда не верит, потому что знает о единстве Времени, о поре древности, которая может быть (и есть) столь же наглядна, как сегодня, вчера. Завтра — неведомо, непредсказуемо. Вся роскошь и счастье путешествия сквозь ледяную океанскую бурю на безопасном, роскошном корабле — миниатюрном земном мире, несущемся в ледяной пустоте космоса. Все эти бунинские скупые, сдержанные и емкие описания корабля читаешь с чувством художественного наслаждения и понимаешь, как ему самому все это нравилось, каждая мелочь, каждая фигура — хотя бы до-

чери господина, эти почти религиозные ритуалы завтраков, обедов, ужинов, прогулок, а затем остров Капри, где господин из Сан-Франциско высадился, гостиницы,— конечно же, безусловно, это все личные впечатления, воспоминания самого писателя, так много бывавшего на Капри. «На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъёмов острова».

Зачем-то о римском тиране Тиберии вспоминает автор — зачем? О роскоши и разврате, о рабстве, и патрицианском блаженстве, и духовно нищей старости, приведших великий Рим к падению. Для чего?..

Господин из Сан-Франциско делает, что и как хочет, он достиг своего ожидавшегося им будущего, счастливого плавания на этом пароходе и туда, куда мечтал.

И что же? Что же?.. Подготовка к изысканному обеду в отеле, описание одевания к нему, затем послеобеденная роскошная сигара, уютная, тихая и светлая читальня, газета в глубоком кожаном кресле... И что же?.. И все. «Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаюсь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора,— прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать».

Человека уже, по сути, нет, а ложь, условности и «порядок», чтоб все, как надо, еще обступают его: хозяин, лакеи, гости, обед, сами части его костюма, эти распущенные волосы и корсет дочери.

Смерть, господа, смерть стоит и склонилась над каждым, стиснутыми словами кричит нам писатель, а что ж вы-то? Чем заняты? Ведь все тщета и суета сует перед зраком госпожи Смерти.

Это глобально-символический, мощный рассказ, потрясавший потом много лет тысячи читателей, не мог не быть и глубоко личным: писатель не может не побывать в момент творчества своим персонажем и не испытать прежде описания того, что испытывает персонаж. Бунин уже слишком много сам думал о смерти к этому 15-му году, слишком много понял в жизни и смерти. Это его личное передается нам и так сжимает нам сердце.

Мало того, что он вспоминает тирана Тиберия и тщету всех богатств, власти и соблазнов мира и что в конце рассказа является сам Дьявол, но явлена и Богородица: «... над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, мать божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...»

«В этом злом и прекрасном мире...» О таком, об этом мире и есть рассказ. А что же несчастный и тщеславный покойник, господин из Сан-Франциско?.. «Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовал из одного портового сарая в другой, оно снова попало на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко опустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь».

«У вас есть чувство корабля!» — восклицал Бальмонт, хваля Бунину рассказ.

Можно добавить, что точно так же было у Бунина и чувство поезда, вокзала, телеги, коня, дороги вообще. А чувство океана, неба? Если возможны такие отдельно-особые чувства. Впрочем, возможно, конечно, как и особое чувство, пристрастие к солнцу, отмеченное еще в «скорпионском» гороскопе.

Но далее.

«Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь».

...Опять людный бал, люстры, сияние, ничем не проймешь вас, господи, — будто хочет воскликнуть под конец автор.

«Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, пронесившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменных ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем».

И снова схватывает автор точные и сочные детали корабля, его адского чрева, и настойчиво возвращается опять к царящему на нем празднику, но капает туда всего одну, однако полную печали каплю-деталь, окрашивающую весь розово-искрящийся раствор дегтярно-сумрачным оттенком: «И опять мучительно извивалась и порой судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых возлюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал, ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...»

Опять ложь, господи! Опять детская преступная беспечность, незнание истины, пустые надежды. На что? — позвольте спросить. — На кого?..

Бунин не мог не понимать — видел и понимал, что весь привычный, прежний мир, все, им любимое, свое, его Россия со всем ее укладом, историей, народом, царством, — все движется в пасть к Дьяволу. Он так ощущал, так кожей чувствовал сгущение беды в воздухе, что иначе не мог выразить себя, как в жестких, жестоких рассказах в основном о русской деревне, и самых печальных стихах. Все почти стихи 1916 года — многие Бунин отдал в новый журнал Горького «Летопись» — пронзительно-печальны, горьки, безотрадны.

Хозяин умер, дом забит,  
 Цветет на стеклах купорос,  
 Сарай крапивою зарос,  
 Варок, давно пустой, раскрыт,  
 И по хлевам чадит навоз...  
 Жара, страда... Куда летит  
 Через усадьбу шальный пес?

На голом остове варка  
 Ночуют старые сычи,  
 Днем в тополях орут грачи,  
 Но тишина так глубока,  
 Как будто в мире нет людей...  
 Мелеет теплая река,  
 В степи желтеет море ржей...  
 А он летит — хрипят бока,  
 И пена льется с языка.  
 Летит стрелою через двор,  
 И через сад, и дальше, в степь,  
 Кровав и мутен яркий взор,  
 Оскален клык, на шее цепь...  
 Помилуй бог, спаси Христос,  
 Сорвался пес, взбесился пес!

Вот рожь горит, зерно течет,  
 Да кто же будет жать, вязать?  
 Вот дым валит, набат гудет,  
 Да кто ж решится заливать?  
 Вот встанет бесноватых рать  
 И, как Мамай, всю Русь пройдет...  
 Но пусто в мире — кто спасет?  
 Но бога нет — кому карать?

Это называется *«Канун»*.

А вот *«Дедушка в молодости»*, год тоже 16-й:

Вот этот дом, сто лет тому назад,  
 Был полон предками моими,  
 И было утро, солнце, зелень, сад,  
 Роса, цветы, а он глядел живыми  
 Сплошь темными глазами в зеркала  
 Богатой спальни деревенской  
 На свой камзол, на красоту чела  
 Изысканно, с заботливостью женской  
 Напудрен рисом, надушен,  
 Меж тем как пахло жаркою крапивою  
 Из-под окна открытого, и звон,  
 Торжественный и празднично-счастливый,  
 Напоминал, что в должный срок  
 Пойдет он по аллеям, где струится  
 С полей нагретый солнцем ветерок  
 И золотистый цвет дробится  
 В тени раскидистых берез,  
 Где на куртинах диких роз,  
 В блаженстве ослепительного блеска,  
 Впивают пчелы теплый мед,  
 Где иволга так вскрикивает резко,  
 То окариною поет,  
 А вдалеке, за валом сада,  
 Спешит народ, а краше всех — она,  
 Стройна, нарядна и скромна,  
 С огнем потупленного взгляда.

Все те же знакомые бунинские мотивы, тот же Бунин. Однако не совсем, в других стихах этой поры — о Востоке, Орде, на мотивы фольклора, истории, религии — открытый пессимизм, печаль, предчувствие беды.

### *Святой Прокопий*

Бысть некая зима  
 Всех зим лютейших паче.  
 Бысть нестерпимы мраз и бурный ветр,  
 И снег паде на землю превеликий,  
 И храмины засыпа, и не токмо  
 В путех, но и во грады померзаху  
 Скоты и человецы без числа.  
 И птицы падаху мертвы на кровли.

Бысть в оны дни:  
 Святой своим наготствующим телом  
 От той зимы безмерно пострада.  
 Единожды он нощию прииде  
 Ко храминам убогих и хоте  
 Согреться у них, но ощутивши  
 Приход его, инии затворяху  
 Дверь перед ним, инии же его  
 Бияху и кричаще: — Прочь отсюда  
 Отыде прочь, Юроде! — Он в угле  
 Псов обрете на снеге и соломе,  
 И ляже посреде их, но бегоша  
 Те пси его. И возвратися паки

Святой в притвор церковный и сиде,  
 Согнуся и трясыйся и отчаяв  
 Спасение себе.— Благословенно  
 Господне имя! Пси и человецы —  
 Единое в свирепстве и уме.

Так кончалась эпоха.  
 Так начиналась другая.

Безумная громада мирового парохода, несясь сквозь ночь, вьюгу и вечный океан, двигалась к черту в пасть. «Пси и человецы» единились в свирепстве.

**РУССКАЯ ПРОЗА.** Говоря о Бунине, нельзя не поговорить о русской прозе вообще. Русский писатель — всегда звено могучей цепи: русские писатели слишком плотно, тесно стоят друг с другом, друг за другом, учась один у другого, следуя предшественникам-образцам, по ним выверяя себя, напрягаясь всей жизнью, чтобы быть не только не хуже, но изо всех возможностей стремясь сделать шаг вперед, дальше, смелее великих предшественников.

Мы знаем: одно из первых и лучших произведений в русской прозе — «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина. Пушкинский лаконизм, точность, широта взгляда и вместе с тем всегда лиризм, передача своих душевных движений и мыслей, желание изобразить увиденное как можно ярче, выпуклее, красочнее. Бог русского писателя — правда. (Вспомним тут же Л. Н. Толстого, «Севастополь в мае»: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда».) Эти слова могут быть золотом выбиты на фронтоне всего великого и великолепного здания русской литературы — от Державина с Ломоносовым, от Пушкина до Набокова и Солженицына. «Правда — всегда была, есть и будет прекрасна». Истинно!

Пушкин пишет в «Арзруме»: «...Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промокнул меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подниматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободу, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда поспешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый...

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслью было: не лежу ли я в лихорадке. Но чувствовал, что слава Богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу взлетающих, символы казни и примирения...»

Пушкинские простота, ясность, отсутствие каких-либо украшений или укрощательств, почти документальность — уж вполне современная! — навсегда остались азбукой русской прозы, эталонами ее.

Но каждый шел по-своему, каждый в конце концов находил свой стиль, писатель тем и занимается всю жизнь, что ищет и выражает себя, немало соли приходится съесть, чтобы достичь этого.

Когда иные критики писали о Бунине как о подражателе Тургенева или Чехова, он возмущался: «Да я из Гоголя!.. Из Гоголя!..»

Из Гоголя, Иван Алексеевич?

Возьмем Гоголя. «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскrojивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранными сверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту не виданных землею плеч, — и там она чудо! Но чудеснее всего, когда глянет она очами прямо в очи, водрузивши хлад и замирание в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравнится с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создання, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с ковanej медной вазой на голове, — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямой летит вверх кипарис, и красавица южных дерев, римская пинна, тонеет и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе верхушкою. И все: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — все, кажется, для нее, чтобы ярче показать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой...» (Н. Гоголь. «Рим»).

Из Гоголя? Что же, можно сказать, что и из Гоголя...

Но не забудем еще одного классика, которого особенно любил Бунин, к кому часто обращался и даже собирался писать книгу о нем: это Лермонтов. Лермонтов!.. Любимое дитя русской литературы, мальчик, за свои краткие 27 лет вписавший огромную главу в книгу русской литературы.

Позволю одно личное воспоминание. Когда-то, в молодых своих скитаниях по Руси, по всему СССР, по любимой, душою избранной пензенской земле, проехавши город Белинский (бывш. Чембар, родина неистового Виссариона), очутился я в селе Тарханы, в знаменитом имении бабушки Лермонтова Арсеньевой. Где поэт бывал много еще мальчиком и где провел несколько дней зимой 1841 года, уже перед последним и роковым его отъездом на Кавказ. Дом-музей сохранялся в ту пору еще в пристойном виде, я обошел все комнаты, лестницы, бродил окрестностями, по аллеям, вдоль прудов, по деревне. Напитал Лермонтовым полное сердце. Там же пришлось мне и заночевать. Не забуду, как сильно ощущал я сам себя молодым Лермонтовым, понимал, кажется, про него все. И, конечно, захотел тут же написать об этом — и написал: сначала небольшой рассказ, а потом, вооружась замечательной книгой Эммы Герштейн о судьбе Лермонтова, еще и целую пьесу «После дуэли» о самых последних днях жизни поэта, о всем клубке хитросплетений вокруг него, его личности, его поэзии и прозе, там персонажами были все, начиная от проклятого фанфарона Мартынова до царя и царицы (Николай сильно не любил поэта, а царица была весьма благосклонна, что на пользу поэту тоже не пошло).

Говорю и вспоминаю об этом потому, что полагаю: Бунин наверняка так же близко, родственно, ревниво воспринимал всегда Лермонтова.

Обратимся к замечательному мастеру русской прозы М. Ю. Лермонтову для примера. «...Лизавета Николаевна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные волосы упали на плечи; но я не продолжаю описания: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, художавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначились красные рубцы от узкого платья, всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николаевна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман...» («Княгиня Лиговская»).

Разумеется, времена меняются, в литературе, как и повсюду, бывают свои периоды, когда писатели хочешь не хочешь держатся определенных их временем законов, подвержена литература и моде, подобно архитектуре, одежде, мебели.

Я привел здесь классические отрывки, чтобы подчеркнуть: сколь зорче, стереоскопичнее, новосовременнее взгляд Бунина, выбор и отбор деталей, сколь ярче эти его: «Вошла и обняла его, вся холодная нежно-душистая, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшего личика и ярких зеленых глаз», или портрет Ли, словно оконтуренный вонзенными вокруг фигуры ножами: «Тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете...» («Генрих»).

Более всего связывали Бунина с Чеховым, иные прямо говорили о подражании. Некий резон, конечно, был: Бунин, любя Чехова, впиваясь в каждую его новую вещь, имея содружественный и взаимно-близкий с ним взгляд на вещи, человека, общество, работая рядом в одно и то же время, насыщенное множеством проблем, которые они брали и разрабатывали весьма похоже, конечно, не мог не испытывать влияния на себя Антона Павловича. Вместе с тем писали они по-разному.

В чеховских рассказах мало бывает событий, историй. Чехов не любит фабулы: довольно самого потока жизни, а выводы читателю предлагается делать самому.

Бунин в этом отношении пошел еще дальше Чехова: его рассказы почти бессюжетны и держатся — опять же как стихи — на атмосфере, на слове, на игре словом. И на предельной, еще большей, чем у Чехова, краткости, сжатости.

Принявшись приводить примеры связи Бунина с лучшими мастерами, как миновать Ивана Сергеевича Тургенева, которого Бунин также всю жизнь ощущал родственным себе, близким писателем. Случалось, правда, и раздражался, перечитывая «Дворянское гнездо» или что-нибудь еще из Тургенева.

Возьмем наугад самую классику тургеньевскую — «Первую любовь».

«...Я воспользовался тем, что она не поднимала глаза и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне: так все в нем тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешанному белой сторой: солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые, золотистые волосы, ее невинную шею, покаптые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее — и как дорога и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не знал и не жил до нея... На ней было темненькое, уже поношенное платье с передником: я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам... И вот, я сижу перед ней, — подумал я, — я с ней познакомился... какое счастье, Боже мой! Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами поболтал, немного как ребенок, который лакомится».

Иван Сергеевич Тургенев — опытный беллетрист, автор большой и малой прозы, великий мастер. Но как тонет он в пространных описаниях, приблизительных сравнениях, не очень точных психологических характеристиках, то расплывчатых и велеричивых, то внезапно обрывающихся. Иногда и дерзости ему не хватает, при всей его смелости.

Бунинские определения рядом — точно вонзенные стрелы, вбитые накрепко гвозди. Другая энергетика, другой стиль самой жизни, взгляд иной.

«...В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака, — все время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами, в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милом. И все усмехались — знали, отчего так бежит, так неустанно играет и притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна. Но глядела небрежно брезгливо» («Первая любовь», 1930).

Это, конечно, уже поздний, совершенно бриллиантовой прозы достигший Бунин, но все же...

Вспомним, однако, главного корифея русской прозы, гения прозы, самого упорного искателя и выразителя природы — подлинного гуру, Учителя, Льва Николаевича Толстого. Как раз в ту пору, когда начинал крепнуть молодой писатель Бунин, в 80-е годы, после «Анны Карениной», Толстой переживает свой глубокий душевный кризис, свое недовольство «художественностью» вообще и своей личной в частности. Толстой возвращается к себе, художнику, уже совсем в новых для него произведениях: пишутся «Холстомер», «Хозяин и работник», «Крейцера соната», «Отец Сергей».

Вот «Смерть Ивана Ильича»: «...Доктор, стоя на коленях на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор. Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз.

Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему. Да ведь он не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему — ноги кверху».

И далее, после обеда и сборов жены в театр, на Сарру Бернар: «...Вошла дочь, разодетая, с обнаженным телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой *a la Capoul*, с длинной жилистой шеей, обложенной плотным белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ними вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич. Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнающий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила матери о бинокле, произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно...

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами перед собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это как-нибудь, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть...»

Таков наш великий Лев Николаевич, в простоте своей правды.

Далее в русской прозе явится и сделает шаг на еще более высокую ступень мастерства другой русский классик — Владимир Набоков. С ним уж некому будет посоревноваться, посчитаться по гамбургскому счету.

«...Она тогда приехала к нему на две недели после трехлетней разлуки, и в первое мгновение, когда, до смертельной бледности напудренная, в черных перчатках и черных чулках, в распахнутой старой котиковой шубке, она сошла по железным ступенькам вагона, посматривая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг, с лицом, искаженным мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею, ему показалось, что красота, которой он так гордился, выцвела, но по мере того, как его зрение приспособлялось к сумеркам настоящего, столь сначала отличным от далеко отставшего света памяти, он опять узнавал в ней все, что любил: чистый очерк лица, суживающийся к подбородку, изменчивую игру зеленых, карих, желтых восхитительных глаз под бархатными бровями, легкую, длинную поступь, жадность, с которой она закурила в такси, внимание, с которым вдруг посмотрела — не ослепнув, значит, от волнения встречи, как ослепла бы всякая — на обоими замеченный гротеск: невозмутимый мотоциклист провез в прицепной каретке бюст Вагнера: и уже, когда приблизились к дому, прошлый свет догнал настоящее, пропитал его до насыщения, и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине три года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда» (В. Набоков. «Дар»).

Владимир Набоков, несомненно, занимает самую верхнюю ступеньку на лестнице русской прозы: это он сделал следующий шаг вверх после Бунина, хотя, казалось бы, писать еще гуще, еще виртуознее, свободнее, пронзительнее, чем Бунин, просто нельзя: плотность такая, детализация такая, что читать невозможно, читатель задыхается, плотность прозы достигает почти плотности воды — уже не двойной бульон по слову Чехова, а тройной, четверной, так только уху прежде варили: один сорт рыбы, за ним второй, следом еще один, до желатинной густоты.

Однако, если пойти от Набокова вспять, по ступенькам: Бунин — Чехов — Толстой — даже Достоевский (хотя у Федора Михайловича было совсем другое письмо, хаотическое, многословное, безразмерное), так вот, если пойти вспять, то выйдет путь от микронизации, изыска, сверхметафоры к укрупнению: персонажа, мысли — мысли о жизни, о том, что человек в ней, что есть она, что есть смерть, что Бог, время, пространство и прочее, в таком духе. Со временем извечный вопрос о форме и содержании, что важнее: *что* писать или *как* писать — сам собою вышел на ответ: важно не что или как, а важно, *кто* пишет.

Возможно, еще до Набокова (или рядом, или сразу за ним) следует поставить Мандельштама, Цветаеву и Пастернака, обогативших русскую прозу: один — «Четвертой прозой», вторая — своим «Из дневников», Пастернак — «Охранной грамотой», «Детством Люверс» и «Доктором Живаго».

Это великая проза, нет сомнения. Но все же за нею более сгущены тени Э. М. Рильке и невероятного Пруста. Так мне кажется...

«...его стихи впервые появились на страницах отцовского “Руля”, газеты, которая, считая себя преемницей славной петербургской “Речи”, намеревалась продолжать ее давнюю традицию — поддерживать хорошую литературу. Для первых номеров редакторы ничего не нашли, но уже 27 ноября газета смогла напечатать рассказ самого маститого из эмигрантских писателей, академика Ивана Бунина рядом с молодым поэтом В. Набоковым. (Как было не спутать его с редактором газеты и ее постоянным автором В. Набоковым-старшим?) Конечно, появиться на одной полосе с Буниным — большая честь для начинающего поэта. Бунин для юного Набокова был не просто знаменитый русский писатель. Бунин был его любимый поэт, может быть, лучший современный поэт. Набоков в тогдашних стихах присягал на верность бунинской прозе:

Твой стих роскошный и скупой, холодный  
и жгучий стих один горит, один  
над маревом губительных годин,  
и весь в цветах твой жертвенник свободный...  
Безвестен я и молод в мире новом,  
кощунственном, но светит все ясней  
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом  
не согрешу пред музою твоей.

Вряд ли к кому-нибудь еще обращался Набоков так восторженно, так открыто\*.

Русская литература не жила отдельно от английской, немецкой, французской, а позже от американской или испаноязычной литератур. Отличие лежало в русской жизни, русском характере и герое. Хотя правда жизни, кто-то сказал, не была и не будет правдой искусства.

\* Борис Носик. Мир и дар Набокова (первая русская биография писателя).

Чехов очень умен, глубок, у него — особенно в поздних рассказах и пьесах, где переплетаются, переходят один в другой похожие мотивы, герои, — одна и та же постоянная печаль о жизни и человеке.

Можно предположить, что Чехов пришел к драматургии как к более компактной, свободной форме, возможно, в самом деле, высшей литературной форме. Чехов как бы устал от описательности, от необходимости волей-неволей быть беллетристом. Постоянная мечта написать роман привела его также сначала к поздним повестям, каждая из которых если не маленький по сути роман, то, несомненно, конспект романа. «Моя жизнь», «Записки неизвестного человека», «В овраге», «Скучная история», «Бабы», «Дуэль», «Мужики» — разве все это не маленькие компактные романы? А пьесы? Каждая пьеса стоит романа. Начиная с «Чайки», которая легко представима просто небольшим рассказом и вместе с тем вполне обладает материалом, «мясом» на целый роман, да еще с параллельными линиями судеб ее героев, как в настоящем романе.

Вот «Моя жизнь» — какая умница! Какой огромный роман в малой повести! И мысль, прежде всего мысль, господствует надо всем. Ни капли беллетристики, болтовни, глупости: все выверено, точно, глубоко, благородно. А написано — с ума сойти! И что сказано о мужике, о народе — внутри полемика с Л. Н. Толстым, с идеей опрощения, необходимости труда для каждого. Не в этом дело, говорит суровый и жесткий доктор Чехов, естественник и реалист. Жизнь, говорит он, жизнь, смерть, ничего более нет. А Маша — какой образ, а сестра, отец!.. «Маленькая польза». Гений! То же самое — в «Мужиках», «В овраге».

Шедевры русской прозы.

**РЕВОЛЮЦИЯ 17-го. ИСХОД.** Но вернемся к Бунину, к его судьбе.

У русского писателя конец жизни — всегда трагедия. Убивают на дуэли, ссылают, отлучают от церкви, вынуждают уйти из дома, устраивают публичную казнь, подвергают остракизму, лишают родины...

У Владислава Ходасевича есть статья «Кровавая пища», где говорится, что «в известном смысле историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей».

“Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды, в какой-то праздник, потребовал оду у придворного пииты, Василия Тредьяковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростью оплошного стихотворца”.

Так, с холодной живописностью историка, хотя, впрочем, не совсем точно, рассказывает Пушкин... За Тредьяковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрьмы, ссылка, изгнание, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на кого он поднимает руку, эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, венчающих “чело” русского писателя... И вот: вслед за Тредьяковским — Радищев; вслед Радищеву — Капнист, Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Одоевский, Полежаев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев (особый, ни с чем не сравнимый вид издевательства), Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский, Короленко... В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семенов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей и расстрелянный Гумилев.

Я называю имена лишь по одному разу. Но ведь на долю скольких пришлось по две, по три “казни” — одна за другой! Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде чем был убит, не узнал солдатчины и не побывал тоже в ссылке? Разве Достоевского не возили на позорной тележке и не возводили на эшафот, прежде чем милостиво послали на каторгу? Еще ужаснее: разве Рылеев не дважды умер?..»

Далее автор пишет, что все это были «бичи и железы», а сколько было тайных казней, когда надо всеми измывались цензоры, любимые творения коверкали, сжигали, за писателями следили, ловили, позорили.

Далее: «Снова идет черед: голодный Костров, “благополучный” Державин, преданный Екатерине и преданный Екатериной; измученный завистниками Озеров, Дельвиг, сведенный в могилу развратной женой и вежливым Бенкендорфом; обезумевший от “свинных рыл” и сам себя уморивший Гоголь; дальше — Кольцов, Никитин, Гончаров; заеденный друзьями и бежавший от них, от семьи, куда глаза глядят, в ночь, в смерть Лев Толстой; замученный Блок, загнанный большевиками Гершензон; доведенный до петли Есенин. В русской литературе трудно найти счастливых, несчастных — вот кого слишком довольно. Недаром Фет, образчик “счастливого” русского писателя, кончил все-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться, и в эту минуту умер от разрыва сердца».

Ходасевич писал свою статью по смерти Есенина — не знал еще о Маяковском, Цветаевой, Мандельштаме, Пильняке, Бабеле, сотнях других русских писателей, сгинувших в самом ГУЛАГе или в эпоху ГУЛАГа.

И здесь закономерность судьбы русского писателя не обошла Бунина.

Бунину выпало оказаться в общей катастрофе, выпала революция. Катастрофа общая — катастрофа личная. Впрочем, скорпион и тут выстоял, сжался до предела. Еще пожил на свете.

Необычайно суровой, говорит история, была зима 1916 — 1917 годов: в Петрограде доходило до минус 27, в Москве — за 30. Железнодорожные пути позамело сугробами, локомотивы стояли, подвоз продуктов в города иссяк, не было дров, угля, электричества, газа. К хлебным лавкам ночами вытягивались длинные очереди. Шла война. Тяжкая, кровавая, уже, по сути, проигранная. 21 февраля царь уехал в Ставку в Могилев, и в этот же день встал Путиловский завод. 23 (8) марта социалисты организовали шествие в честь Международного женского дня: толпы двигались к Думе с лозунгами о женском равноправии, но более с криком: хлеба! Погода отмякла, засверкало солнышко, и, как опять же говорят историки, перемена погоды способствовала народному возмущению и возбуждению. Полиция разгоняла толпы, по мостовым понеслись — зацокали казаки. Мосты блокировали войска, чтобы не дать народу с окраин переть в город, но народ шел по невскому льду, минуя кордоны.

Этот год, еще не самый страшный среди подступающих, Бунины провели частью в деревне, частью в Москве, бывал Иван Алексеевич и в Петрограде. Как ни странно, тогда и потом, под коростой голода-холода, тифа, перестрелок на улице, декретов-запретов, чекистских облав, обысков и арестов, русская либеральная и особенно художественная интеллигенция еще продолжала — за кремовыми булгаковскими занавесками спорить, посиживать за самоварами, ужинами, читать стихи и рассказы, как-то жить и сохранять ту атмосферу, которая возникла в последние годы старого века и первые годы нового, XX, заявившего себя так круто, что круче некуда. Художник Нилус и другие одесские друзья звали к ним: на юге все же тепло, легче с продуктами, но только проблемой стало — добратся куда-нибудь, не рискуя жизнью. К тому же на юге уже разгоралась гражданская война, тот самый русский бунт, о котором предупреждал, ярость которого предвидел Бунин.

Они вели совместный дневник (слава Богу, сохранившийся до нас, потомков). Бунин по лени, по небрежности, недостатку времени оставил в нем не так много записей — больше записывала мужнина верная жена Вера Николаевна: понимала, что муж умнее, опытнее, старалась передать его впечатления и слова, когда не хватало своих.

Бунинский необыкновенный мозг отбирал, оставлял в памяти сам, что ему было надо. Писатель все равно всегда работает, всегда пишет: глядит ли в окно,

смотрит ли кино, кого-то встречая, кого-то провожая. Из Глотова, из деревни, в 17-м году Бунин пишет Нилусу: «Жить в деревне и теперь уже противно. Мужики вполне дети, и преме́рзкие. “Анархия” у нас в уезде полная, своеволие, бестолочь, и чисто идиотское непонимание не то что “лозунгов”, но и простых человеческих слов — изумительное. Ох, вспомнит еще наша интеллигенция это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся насчет совершенно неведомого ему народа,— вспомнит мою “Деревню” и пр.!»

В других письмах есть признания: «Употребляю чуть не половину жизни на газеты, не написал пока еще ни единой строки!», «Все лето с утра до вечера читаю газеты».

Зима 1917—1918 годов прошла в Москве. Все дневниковые записи Ивана Алексеевича об этой зиме вошли потом в его уже в эмиграции написанную книгу «Окаянные дни». Из записей Веры Николаевны можно привести совсем малую: «Мы с Яном были у заутрени в церкви “Никола на курьих ножках”. Родители не рискнули пробираться в темноте... Маленькая, уютная старинная церковка была полна народом. Когда мы вошли, пели “Волною морскою”, и слова “гонители” и “мучители” отзывались в сердце совершенно по-иному. Настроение было не пасхальное — многие плакали. И первый раз за всю жизнь “Христос Воскресе” не вызвало праздничной радости. И тут, может быть, мы впервые по-настоящему поняли, что дышать с большевиками одним воздухом невозможно...» И далее: «...устаешь от впечатлений шумных улиц, приобретавших все более хамский вид, от бульваров с зелеными газонами, где в прежнее время желтели и мохнатились одуванчики, а теперь парами лежит освобожденный народ и засыпает шелухой подсолнечной свежую траву — вот и свернешь незаметно для себя в переулок от одного особняка до другого и думаешь о былых временах, смутно ощущая уже, что старый мир, полный несказанной красоты и прелести, уходит в Лету...»

Старый мир, будто свирепым кавалерийским ударом шашкой, уже был развален наискось от ключицы до задницы.

Настроение, чтобы сесть и писать, конечно, не могло прийти. Если он жил, чтобы писать, то теперь это стало невозможно. Ни жить, ни писать.

Как же все это случилось? Вот свидетельство и размышления Нины Берберовой из ее книги «Курсив мой»: «Мне и сейчас кажется еще какой-то фантазмагорией та стремительность, с которой развалилась Россия, и то гигантское усилие, с которым она поднималась сорок лет. Тогда на верхах люди просто бросали все и уходили, сначала царь и его министры, потом кадеты, потом социалисты. Оставались самые неспособные и неумные, пока не провалились в тартарары и они. От святых (вроде кн. Львова) и до бесов, имена которых всем известны, все были тут налицо, вся гамма российских бездарностей, слабоумцев, истериков и разбойников. А главный виновник всего тот, который дал России опоздать к парламентскому строю на сто лет, тот, который не дал возможности кадетам и социалистам выучиться ответственному ремеслу государственной власти или хотя бы ремеслу оппозиции государственной власти, тот, кто вел страну от позора к позору двадцать три года, кто считал, что, прочитав в день коронации молитву “помазанника”, он, принимая символ за реальность, стал действительно этим “помазанником”, никакой так называемой мученической смертью не заплатил за свои ошибки: они остались при нем. То, что можно платить смертью за жизнь, есть предрассудок, апеллирующий к чувственности чувствительных людей. Она сама есть часть жизни... во всех российских несчастьях прежде всего и больше всего повинен царь... Николай Второй жил в убеждении, что Бог реально мазал его и строго запретил делить власть с кем бы то ни было...»

Счастливая толпа, гневная толпа, колеблющаяся толпа, свет, блеснувший на мгновение (особенно среди интеллигенции и рабочих), и кровавый развал всего, и искусственно продлеваемая война, преступно и бессмысленно подогревае-

мый патриотизм, дешевый и вредный, и слова, слова, и неумение сделать то, что нужно, все было в ту весну и в то лето, кроме быстрых, верных и необходимых мер. Не было гения, и когда пришел Октябрь, то мы все оказались не с ним (даже Горький в своих “Несвоевременных мыслях”), потому что мы не могли принять ни “немецких денег”, ни постепенного уничтожения целых классов населения, ни грозящей гибели двух поколений интеллигенции, ни “все позволено” ленинской идеологии, ни снижения культуры, ни ставки на мировую революцию... рушилось то, что не только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд, стыд за подлость и глупость старого режима, стыд за гниение его на глазах всего мира: Цусима, “Потемкин”, Восточная Пруссия, Распутин, царица, виселицы, и сам он, тот, кому нет и не может быть прощения, пока на земле останется хотя бы один русский. Он думал, что он второй царь Алексей Михайлович и что Россия — та самая донетровская Русь, которой нужны помазанники, синоды и жандармы, когда России нужны были быстрые шаги сквозь парламентский строй и капитализм к планированию, новым налогам, свободному слову и технологии двадцатого века, к цивилизации для всех, к грамотности для всех, к человеческому достоинству для каждого. А те шутники, которые пришли ему на смену, думали, что их пригласили на праздник: не понравилось — уйдем, а понравилось — останемся и будем веселиться, это наш день. Но это был день России, и они этого не учли. Не учли, что их оглядка на демократических министров Франции и либеральных послов Англии не только смешна и недостойна, но и преступна и что сермяжный демос шел в историю, сметая все, и прежде всего их самих, на своем пути».

И далее (большое искушение продолжить цитату.— М. Р.): «Ничего не неизбежно, кроме смерти. И революция не была неизбежна. Двадцатый век научил нас, что нищету и неравенство, эксплуатацию и безработицу преодолевают иначе. В Швеции сто лет тому назад было три короля подряд, вносящих в парламент законопроекты слишком радикальные, и парламент их проваливал, пока парламент не стал столь же радикален, как и сам шведский король, и законопроекты наконец прошли (пенсии на старость). Не “даровать” сверху конституцию надо было, а совместно с оппозицией разработать ее и повернуть туда, где страна могла бы дышать и развиваться; не дворцовый переворот был нужен, а спокойный отказ от всех вообще дворцов и фонтанов, чтобы провести линию между мифом и действительностью. А если несчастные войны были России не по силам, то надо было оставить мысль о великой России раз и навсегда. Только недоразвитые страны делают революции — этот урок был нам преподан двадцатым веком, развитые страны меняются иначе».

Зиму 1917—1918 годов Бунины прожили в Москве, весной с немалым трудом перебрались в Одессу, ради безопасности, ради тепла, ради продуктов, которые все дорожали в Москве или исчезали совсем. Однако здесь тоже не медом и сахаром текла жизнь, шла просто война.

Любимые Буниным усадьбы, барские дома, наполненные духами и вещами старины, культуры, истории, красоты, — стоит ли много говорить об этом?..

В воспоминаниях замечательного художника Юрия Анненкова, в первые годы революции вполне лояльного к советской власти, писавшего портреты и Ленина, и Троцкого, есть одна необычайная страница. Кажется, она вмещает все!..

«...Мой куоккальский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи, постигла несколько позже (после смерти Есенина) та же участь. В 1918 году, после бегства Красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куоккалу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до

потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись отметки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш. в высоту.

Вырванная из потолка с мясом висячая лампа втоптана в кучу испражнений. Возле лампы — записка: “Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила”.

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда — кастрюли, сковородки, чайники — доверху наполнена испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: на всех этажах, на полу, на лестницах, сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: “Понюхай нашава гавна ладно ваняит”.

В третьем этаже — единственная уцелевшая комната. На двери записка: “Тов. командир”. На столе — ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой.

...Руины моего дома и полуторадесятинный парк с лужайками, где седобородый Короленко засветил однажды в Рождественскую ночь окутанную снегом елку; где, гимназистом, я носился в горелки с Максимом Горьким и моей ручной галкой “Матрешкой”; где я играл в крокет с Маяковским; где грызся о судьбах искусства с фантастическим военным доктором и живописцем Николаем Кульбиным; где русская литература творила и отдыхала,— исчезли для меня навсегда, как слизанные коровьим языком...»

О революция!.. О, целый век звеневшее в воздухе: «К топору зовите Русь!» О, наивная, прекраснодушная вера в мирный, добрый наш народ, богоизбранный и боголюбивый!..

Разумеется, революция, катастрофа, изгнание — все, с этим связанное, оставалось в людях, продолжало в них клокотать, как могло быть иначе? Вот из «Грасского дневника» Г. Кузнецовой:

«21 октября. 1928 г. ...В сумерки И. А. вошел ко мне и дал свои “Окаянные дни”. Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это, — я же была во время всего этого девчонкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью».

И далее:

«12 мая. Вчера за обедом Илья Исидорович (Фондаминский.— М. Р.) рассказывал о том, что, читая два года об Империи, он только в последние дни почувствовал ее, стал представлять ее себе:

— Каждую вещь представляешь себе как-то издали. Империю я представляю себе, как какой-то ассирийский храм, величественный и мрачный. Люди сгибались от тяжести этого храма. Они любили царя, поклонялись ему, видели в нем отца, но на устах у них даже в праздники не было улыбки.

И. А.— Это зависит от свойства русского человека. Никто так тяжело не переносит праздник, как русский человек. Я много писал об этом. И все остальное проистекает отсюда. В русском человеке все еще живет Азия, китайщина... Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему еще подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом под стать ему и в конечном счете великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой, радостной религии... ложь, ничто так не темно, страшно, мрачно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги... А стояние по восемь часов, а ночные службы... Нет, не говорите мне о “светлой”, милосердной нашей религии... Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же наш

Карташев (проф. богословия академии в Париже.— **М. Р.**), будь он иереем,— жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным... Нет, уж какая тут милосердность. Самая лютая Азия...

**28 июня.** ...Я читала о Николае I и о телесных наказаниях, о шпицрутенах. Дойдя до описания экзекуций, кончавшихся, как известно, по большей части смертью, и затем об ответе Николая одному из министров: “Я не могу его казнить. Разве вы не знаете, что в России нет смертной казни? Дать ему двести шпицрутенов” (что равносильно смерти),— я не могла удержаться от слез и, выйдя затем в коридор, говорила об этом с негодованием В. Н. и Илье Исидоровичу. И. А., услышав мои слова, позвал меня к себе в спальню, запер двери и, понизив голос, стал говорить, что понимает мои чувства, что они прекрасны, что он сам так же болел этим, как я, но что я не должна никому выказывать их...

— Все это так, все это так,— говорил он,— я сорок лет болел этим до революции и теперь десять лет болею зверствами революции. Я всю жизнь страдал сначала одним, потом другим... Но не надо говорить о том... не надо...

Так как у меня все еще текли слезы, он гладил меня по голове, продолжая говорить почти шепотом:

— Я сам страдал этим... Но не время...»

У Бунина словно бы остается страх перед подслушивающими, подозревающими, как перед красными, так и перед белыми.

Запись, между прочим, относится к 29-му году...

Летом 1918 года Буниным со всякими дорожными мытарствами удалось все же уехать в Одессу.

Вот небольшая выборка из «Дневников» о тех днях: «Слухи, что сегодня в ночь восстание большевиков и австрийцы уходят... Цетлин сидел часа два. Велось разговоры на политические темы (Михаил Осипович Цетлин, критик, литератор, эсер, и его жена Мария Самойловна были большими и самыми верными друзьями Буниных, всегда помогали, до самого последнего часа и Ивана Алексеича, и Веры Николаевны, когда Бунина уже не стало.— **М. Р.**) ...У нас в городе стрельба... Сегодня австрийские солдаты ходили по городу с красным флагом... Ян сказал: “Как это сочетать, революционеры всегда за свободы, а как только власть в их руках, то мгновенно, разрешив свободу слова, они закрывают все газеты, кроме своей.

Революция производится во имя борьбы против насилия, а как только власть захвачена, так сейчас же и казни. Вот Петлюра уже расстреливает офицеров Добровольческой армии... Гроссман просит у Яна два тома, один — рассказов, другой — стихов, издание должно быть в пять тысяч экземпляров... Дома вчера у нас был пир, который затянулся до трех часов вечера... Вчера убито много в стычке между немцами и легионерами... Петлюровцы приблизились к Одессе... Петлюровские войска в касках, вероятно, взятых от немцев... Опять началась жизнь московская. Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение, выходят из дома можно до девяти часов вечера. Вчера выпустили пятьсот уголовных... Ян был подавлен. Он говорил, что прошлую ночь три часа сидел на постели, охватив руками колени, и не мог заснуть.

— Что я за эти часы передумал. И какое у меня презрение ко всему!..

На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски... Вчера весь день шел бой. Наша улица попала в зону сражения: трескотня ружей, пулемет, изредка орудийные выстрелы... Ян недавно перечитал “Семейное счастье” и опять в восторге. Он говорит, что мы даже и представить себе не можем, какой переворот в литературе сделал Лев Николаевич. Ян перечитывает старые журналы, а потому ему очень ярко бросается в глаза разница между Толстым и его современниками.

— По дороге неслись телеги, и дрожали ноги, — прочел он. — Ведь это модерн для того времени, а между тем как это хорошо! Ясно вижу картину.

Ян много читает по-русски, по-французски. Политика чуть-чуть менее занимает его. Слухи: французы уходят из Одессы... Сейчас я долго сидела с Яном. Он возбужден, немного выпил и стал откровеннее. Он все говорил, что была русская история, было русское государство, а теперь его нет. Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь нет и истории никакой... Мои предки Казань брали, русское государство создавали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловцы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен быть писателем, а должен принимать участие в правительстве... Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка, ты и представить не можешь, как я страдаю... Радио: Клемансо пал. В 24 часа отзываются войска. Через 3 дня большевики в Одессе!..

...Я позвонила Цетлиным. Они уезжают, звали и нас. Мы пошли проститься. У них полный разгром. Им назначили грузиться через 2 часа, на пароход. Фондаминский хорош с французским командованием, он устраивает им паспорта... Цетлина опять уговаривает нас ехать. Сообщает, что Толстые эвакуируются. Предлагает денег, паспорт устроит Фондаминский. От денег Ян не отказывается, а ехать не решаемся. Она дает нам десять тысяч рублей...»

Запись Бунина: «В городе говорят, что на слободке Романовке почти не оталось “жидов”!»

Эдвардс говорит, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым попавшимся...»

Но пройдет еще почти целый год — опять тяжелая зима, очень голодная, унижительная, лишенная какого-либо высокого смысла жизнь, — прежде чем Бунины решатся наконец на отъезд.

«...Никодим Павлович сказал: — Вот, Иван Алексеевич, вы опять правы оказались в своем суждении о русском народе: и бестолочь, и слабоволие, разрозненность, недоведение дела до конца, вечная вражда партий, подставление друг дружке ножики, азиатское интриганство.

— Да, — ответил Ян, — Троцкий правит Россией, и что же? Не желают или не могут свергнуть это иго. Двести лет под татарами сидели, теперь советской власти подчиняются...»

«Ян сказал: — А царя, вероятно, причислят к лику мучеников и будут считать святым. Как он мог не бежать, ну сначала он, может быть, не хотел, а потом — как он мог сам оставаться среди таких негодяев, да еще с дочерьми...»

26 января 1920 года на пароходе «Спарта» Бунины покинули Одессу, двинулись на Константинополь.

В одном из первых рассказов, написанных уже за границей («Конец», 1921), Бунин пишет, каков был отъезд, путешествие в шторм и ночь на «Патрасе», старом, ненадежном корыте, мало похожем на роскошную «Атлантиду» «Господина из Сан-Франциско». Пассажиры парохода — словно общий портрет всей будущей парижской эмиграции: «Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет плохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые, еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием, как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и, наконец, добежавшие до последней русской черты».

Цетлины сдержали свое слово о помощи: в Белграде — уже в Белграде! после Константинополя — Буниных ожидали деньги и французские паспорта. В Париже они поместили приезжих на первое время в своей квартире.

Но вернемся к прекрасному, мрачно-возвышенному, горько-выстраданному «Господину из Сан-Франциско». Этот шедевр обрел свою долгую и великую — великую для автора, о том еще и не ведавшего, — историю. Как говорят бильярдысты, хороший удар не пропадает.

В 1921 году, уже в эмиграции, в Париже вышел сборник рассказов Бунина «Господин из Сан-Франциско». Это издание будто взорвало общество — и читавших, и не читавших Бунина прежде. Французскую прессу заполнило множество откликов: «...настоящий русский талант, кровотокаций, неровный и вместе с тем мужественный и большой», «...он рисует перед нами картину всего человечества в целом, и русского народа в частности, в пессимистической манере...», «господин Бунин прибавил еще одно имя, мало известное во Франции, к самым большим русским писателям».

Бунина читают Ромен Роллан, Томас Манн, Андре Жид, Эрих Мария Рильке — корифеи европейской литературы. В 1922 году Р. Роллан выставил кандидатуру Бунина на Нобелевскую премию.

Бунины снимают квартиру на улице Оффенбах, весьма скромную. Надо ведь работать. Легко представить себе, сколько передумано, пересмотрено вновь, сколько новых навалилось впечатлений.

Русский писатель всегда в долгу перед тем, чего еще не написал, что годами держит под спудом, обкатывает, обдумывает, готовит к тому, чтобы перевести на бумагу. В Париже нелегко сосредоточиться. Вокруг брожение и кипение эмиграции.

Подобно разношерстному обозу в гражданскую, эмиграция тянулась за остатками Белой армии, а поскольку армия распалась после галлиполийских лагерей на пол-Европы, полки и дивизии стояли во Франции, Чехии, Болгарии, Польше, — генералы и члены царской семьи во главе с Великим князем Николаем Николаевичем старались сохранить войско, — беженцы соответственно оседали в Париже, Праге, Белграде, Берлине: на востоке — в Шанхае и Харбине. Начиная с Врангеля во главе «Русского совета» (готового якобы правительства) и кончая Савинковым, засылавшим через границу диверсантов в красную Москву и Питер, все надеялись на одно: новое вторжение для разгрома большевиков. Хотя мир эмиграции, жизнь, быт, люди были столь же пестры, как описанные Буниным пассажиры «Спарты», многие уже перестали надеяться, хотя тема у всех оставалась одна: Россия и что делать?.. Наиболее популярная парижская газета Н. П. Милюкова «Последние новости» все более выступала за отказ свержения Ленина оружием: надеялись на крестьянина, опять на русского мужика и русский бунт — уже против новой власти.

Жила эмиграция почти автономно, по-своему, по-русски. Продолжали махать после драки кулаками монархисты, эсеры, кадеты. Опять были бедные и богатые, знатные и безвестные, высокоблагородные и низкопородные. Выходили газеты и книги, десятками создавались издательства. Художественная интеллигенция собиралась в отдельные группы-салоны, с той или иной партийной ориентацией. Писатели и артисты жили более за счет благотворительно-любительских собраний, вечеров, с продажей билетов. Тем зарабатывали на хлеб Куприн, Зайцев, А. Толстой, Мережковский, Шаляпин, Рахманинов, многие другие.

Бунин, как всегда, сторонился политики, однако «Окаянные дни» напечатал в монархическом «Возрождении», выходившем под редакцией П. Б. Струве, там же печатал рассказы, очерки о Французской революции. Литературная борьба все равно продолжалась, и не без политической окраски, так или иначе приходилось влезать в драку, выставлять скорпионское жало против врагов.

Например, в журнале «Воля России» ведущий критик М. Слоним мог написать: «Париж остается не столицей, а уездом русской литературы. Старшее поколение русских писателей не существует».

Внешне мирные, с посиделками по кафе и вечеринкам, межпартийные и межгрупповые связи и отторжения взрывались иногда скандалами и обгащались кровью. Не обходились наверняка и без вмешательства разведок — русской, советской, французской, немецкой.

29 марта 1922 года в Берлине русские монархисты совершили покушение на П. Милюкова в момент его лекции. Милюков остался жив благодаря тому, что его заслонил собою В. Д. Набоков (Набоков-старший), отец писателя Вл. Набокова-Сирина, известный либерал, редактор «Руля», член Государственной думы, кадет, борец против антисемитизма, «черной сотни» и «Союза русского народа». Тремя пулями Набоков был сражен наповал (об этом трагическом дне осталась пространная запись в дневнике В. Набокова). Убийцами были некий Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий, бывшие офицеры, монархисты и черносотенцы.

Бунин в своем соболезновании написал: «Даже если Господь пошлет в будущем “новой” России самые щедрые блага, когда еще снова увидит она Набокова?..»

Эмигрантский раскол в эту пору был уже так силен, что некому было поначалу и отпевать покойного: РПЦ разделилась, образовалась так называемая Карловацкая церковь, которая все борется с жидомасонством, словами первоиерея владыки Виталия, сказавшего, что «масонство страшнее, чем Гитлер».

Эта трагедия была одной из самых заметных во всю пору эмиграции. Так что стычки литературные бледнели рядом с подобным. Но все же...

Отличало эмиграцию и еще одно чувство, которое выразил в своих известных стихах Георгий Адамович и которое наверняка было близко Бунину:

...За все, за все спасибо. За войну,  
За революцию и за изгнание,  
За равнодушно-светлую страну,  
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет силы сладостней — все потерять,  
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,  
И никогда ты не был к Богу ближе,  
Чем здесь, устав скучать, устав дышать,  
Без сил, без денег, без любви,  
В Париже...

16 февраля 1924 года в Париже проходил вечер, посвященный миссии русской эмиграции, выступали Шмелев, Д. Мережковский, И. Манухин, К. Кульман, другие либеральные деятели, вместе с ними — Бунин. Среди прочего Бунин говорил: «...Да, колеблются устои всего мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще небывалой жадной корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону. Содому и Гоморре. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгают, Содом и Гоморра ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобрести власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гоморру, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодиничеством ей... В свое время непременно падет на все это Божий гнев — так всегда бывало. “Се Аз встану на тя Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря...” И на Со-

дом, и Гоморру, на все эти Ленинграды надет огонь и сера, а Сион, Божий Град Мира, пребудет вовеки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?..»

Многие эмигрантские издания быстро отреагировали на это собрание: «Вечер страшных слов», «Голоса из гроба», «Бессильные потуги» и т. п. Отозвалась и Москва: 16 марта 1924 года статья в «Правде»: «Парад мертвецов».

Москва вообще не церемонилась со своими «бывшими»: могли написать, что Мережковский умер, а Бунин утонул где-то в Швейцарии. Знаменитый критик А. Воронский в статье о Бунине, Мережковском, Куприне, разбирая «Розу Иерихона», писал: «Бунин хороший писатель, хотя для меня мертвый, потому что не двигающийся, застывший и принадлежащий к завершённой главе в истории русской литературы. Она давно уже дописана, а Бунин к ней только приписывается».

Между словом, так вот начиналась советская практика клеймения, отставки талантливых и настоящих писателей от литературы, чтобы потом административно освободить места «передовым», «выдающимся», «лучшим» советским.

За тридцать три года жизни в эмиграции Бунин не только много написал, но еще много выступал, читал на литературно-благотворительных вечерах, элементарно зарабатывал тем деньги на жизнь, выпустил несколько книг и собрание сочинений в берлинском «Петрополисе». Его критиковали, его многие не любили, не принимали — он мало обращал на это внимания. Зинаида Гиппиус написала разносную статью на «Митину любовь»; Бунин, однако, пришел в дом Мережковских, когда она умерла, проститься и плакал над нею, уйдя в соседнюю комнату.

Особенно клевали его (те же Мережковские), когда было объявлено о его Нобелевской. Бунин, конечно, не мог знать, но Москва не только не поздравила его — русское посольство в Париже и особенно знаменитая Александра Коллонтай, советский посол в Швеции, делали все возможное, чтобы повлиять на Шведскую академию, на общественность, чтобы помешать Бунину получить премию. Чекисты тоже не спускали с него глаз.

Даже сегодняшнее отношение к Бунину показывает, как мало он оценен, по существу, в нашей «новой» России: до сих пор у нас нет полного собрания сочинений писателя, нет музея, нет памятника. Что ж, и так бывает с русскими писателями, хотя, как правило, «любить они умеют только мертвых», — сказано Пушкиным. Слава Богу, у Бунина есть читатель — он ширится, углубляется, вчитывается в Бунина. Тем самым Иван Алексеевич остается жив, остается на Родине, стоит гордо и почетно в плотном ряду великих русских писателей.

Политические дела Бунина, как и прежде, интересовали мало. Он мог победать с Керенским, попить чайку с Милюковым или Шульгиным, познакомиться с Савинковым, постоять вместе со всеми на панихиде по Корнилову или Великому князю Николаю Николаевичу, но... не более.

Когда собираются, сходятся в гости — у Буниных «Четверги», — Бунины продолжают дружить с Цетлиными, Алдановым, Толстыми; разговоры, конечно, возвращаются к политике, к России неизбежно, но Иван Алексеевич чаще всего сдержан, немногословен, может подняться, сходить за книгой, отыскать закладку и процитировать, например: «Полудикие народы... их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость». «Капитанская дочка», господа!.. Это чудесное определение очень подходит ко всему русскому народу... И вот здесь же. «Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердные, которым и своя шейка — копейка и чужая головушка — полушка...» Оттуда же!..

Или вспоминается Чехов, его отношение к народу, к мужику: «Бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ни-

ми было страшно: они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живут не согласнo, постоянно ссорятся, потому что не уважают и подозревают друг друга. Кто держит кабаки и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Мужик. Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет, и неоткуда ждать ее. Те, кто богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, не честны, не трезвы, и сами бранятся так же отвратительно: самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками, как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит “ты”, и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?» («Мужики»).

А в «Дневнике» остается такая запись: «Читаю Соловьева т. VI... “Беспорывная крамола, притязание на власть бояр и еще неконченных удельных князей, обманное “целование креста”, бегство в Литву, в Крым, чтобы поднять врагов на Москву, ненасытное честолюбие, притворное раскаяние (“бьют тебе челом, холоп твой”) и опять обман, взаимные укоры (хотя слова все-таки были не нынешние: “Хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество...”), походы друг на друга, непрерывное сожжение городов, разорение их, опустошение дотла” — вечные слова русской истории! — и пожары, пожары...»

Но чаще происходило то, что и прежде испытывал он, путешествуя по чужим краям, покидая Россию хотя бы на месяц-два-три: являлась подспудная, постоянная тоска по оставленному, возникали сами собой в памяти картины: деревенской дороги с колеями, налитыми золотыми полосами воды на закате, то какой-то знакомый лес, московский Арбат с рестораном «Прага», питерская Мойка, базар в Орле, какая-нибудь оградка церкви перед папертью с сидящими на земле нищими. Москва: Поварская, Смоленский бульвар, набережная, где когда-то гуляли с Верой. Хотелось все вернуть, все написать — хоть подряд, без завязей и концов, без «образов», — просто картинка за картинкой, как пойдет, а там пусть сложится само во что надо. Он все более уговаривал себя, приготовлял к тому, что писать надо сразу про всю жизнь, хоть про свою, своих близких. Что он мог? Только создать свое царство в руке своей.

Казалось бы, так хорошо зная свой народ, его историю, его трагедию, писатель мог бы направить свой талант, все помыслы свои на отображение случившегося, выйти на битву с бесами — нет, Бунин оставался Буниным.

А. И. Солженицын в недавней своей книге (1998) «Угодило зернышко меж двух жерновов» написал такие слова: «Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы — необыкновенным, ни на кого не похожим... Сетовал я еще в СССР: зачем он не пошел по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, — отчего ж он, — как и Бунин, как и Бунин! — не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, недоступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и межвременные».

Этот поздний упрек, надо думать, и ранее бросали Бунину его сотоварищи по эмиграции, и они удивлялись и сетовали: зачем движется он, как прежде, своей «частной» дорогой?..

Вопрос существенный и достаточно принципиальный. Кажется, Бунин и Набоков всем своим творчеством отвечают на него. Упрекать их в том, чего не сделано ими, все равно что упрекнуть Пушкина: зачем он не написал о декабристах, а написал «всего-то» «Орион» и «Дубровского»? Они сказали о революции и катастрофе России по-своему, и несомненна художественная ценность, пронзительность впечатления от маленьких рассказов «В Париже», «Холодная осень» или «Других берегов» и «Дара», чтобы вывести их из-под определения частного, локального, тем более межвременного. Нет, в них так преломилось время — это не «Чапаев», «Как закалялась сталь» или даже неплохая книга «Разгром». В том и суть Бунина, его оригинальность, что и о более глобальном, о смысле жизни и смерти, гибели цивилизаций он умел говорить конкретно, фрагментарно, но бриллиантово-точно. Просто он лишен был политической запальчивости отвечать на пропаганду контрпропагандой.

Между тем где-то происходила борьба, ристалище вокруг Нобелевской. Марк Александрович Алданов, верный товарищ, хлопотал, вел переписку, пересказывал новости. Оказывается, Роллан, друживший с Горьким, готов был поддержать Горького, если того выдвинут тоже. Томас Манн сообщил, что должен будет поддержать немецкого кандидата, ежели таков явится. Шведский комитет склонялся к русскому автору, но русских теперь явилось сразу трое: Бунин, Мережковский, Куприн — не считая Горького.

Комитет подтвердил, что возможна премия и на трех номинантов — просто сумма так на трех и разделится, примерно по 200 тысяч франков. Как-то заехала Зинаида Николаевна Гиппиус, нервная, нарядная, очень приглашала в гости, долго говорила с Верой, даже читала ей стихи, очаровывала. Затем появился однажды и Мережковский: «Давайте договоримся: кто получит премию, отдаст другому двести тысяч — и делу конец». Бунину не понравилось: ни разговор, ни дележка неубитого медведя. Отказался. Подумал про себя: «Я сам ее получу».

И забыл. Нобелевскую 1923 года получил ирландский поэт У. Б. Йейтс.

Мережковские, однако, продолжали входить в доверие, в друзья. Именно от них пришла мысль жить на юге, в Провансе, где сами они много лет снимали виллу. Так возникла идея «Бельведера», а затем и сама вилла «Бельведер». Близ Грасса, в горах над Ниццей, среди самого благодатного климата во всей Европе, в месте красоты и гармонии, у подножия гор, вблизи сказочного моря. Пришлось искать, выбирать то, что было бы Бунину по душе, где смог бы он спокойно жить и работать. Первый его настоящий, свой дом оказался не в родном краю, на Орловщине или в Тульской, Воронежской губерниях, Псковской или Новгородской; нет, и здесь русскому писателю судьба уготовила еще одно испытание. Но во благо, слава Богу, во благо.

Не писалось. Казалось бы, он так переполнен впечатлениями, уж сколько намелькало лиц, городов, вагонов, станций, пейзажей, сколько мыслей пронзило и осталось, только открой кран — и потечет. Нет, ничего не открывалось, не текло, не хотелось.

Он знал такие периоды, у каждого писателя бывает. Чаще случалось даже среди работы: вдруг надоест или наберется усталость, недомогание. Или просится что-то другое. В таких случаях хорошо приняться за чтение, за чужое: подтолкнуть, возбудить себя. Либо увлечься чем-то, уйти совсем в сторону. Нельзя же часами бездумно, бездельно раскладывать пасьянсы.

Но известен был и другой способ: сесть и все равно писать. Просто бумагу марасть, водить пером, рисовать человечков или чертиков. Писать хоть о том, что вот не пишется и как именно не пишется.

В «Освобождении Толстого», рассказывая о своей встрече с Толстым, Бунин приводит его слова: «Как же это нечего? (писать) — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумай-

те, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, — сказал он твердо».

Это, конечно, обман, пустое, но случалось, что-то возникало, грезилось, являлась строка, другая... Какие-то фантазии приходили: вдруг писать о Цейлоне, о древностях, которые видел когда-то и перед которыми тоже остался в долгу — отчего не написал до сих пор...

Надо было, между прочим, что-то давать в печать, деньги зарабатывать, денег, как всегда, оставалось кот наплакал.

Спасибо, благодаря сохранившимся связям можно было издавать кое-что из старого. Но это обычно не очень красиво — только старое. Надо хоть один-два новых рассказа. И все же вся эта тяжесть, безделье означали — он-то знал! — что-то зреет, просится. По-прежнему постоянно обдумывалась идея: все мелочи, малые рассказы, случайные и вроде никчемные зарисовки — сливать, спрессовывать в единое повествование, протяжное, подробное, свободное, без завязок-развязок.

Вышли, уже после «Господина из Сан-Франциско», постепенно другие книги: в Берлине в 1924 году «Роза Иерихона», в 1925-м в Париже — «Митина любовь», еще через год — «Солнечный удар». Велись переговоры с берлинским «Петрополисом» об издании собрания сочинений.

Все эти книги вызвали новый интерес к Бунину среди литераторов Европы, и в 1926 году снова начались переговоры о выдвижении его на Нобелевскую премию. Поддерживали Бунина и почти все русские писатели-эмигранты.

А Бунин работал — наконец пошла-поехала «Жизнь Арсеньева».

Вера Николаевна пишет Вере Зайцевой, старинной подруге: «Ян в периоде (не сглазить) запойной работы: ничего не видит, ничего не слышит, целый день, не отрываясь, пишет... Как всегда в эти периоды, он очень кроток, нежен со мной в особенности, иногда мне одной читает написанное — это у него “большая честь”. И очень часто повторяет, что он меня никогда в жизни не мог сравнить, что я — единственная, и т. д.».

Бедная женщина, ей так хочется, чтобы все так было. Но только, к сожалению для нее, уже совсем другая вдохновляла Ивана Алексеевича в эту пору, и читал он более другой, и рассказывал, и советовался, и нежные говорил слова...

*(Окончание следует.)*



Анатолий НАЙМАН

---

## Песочные часы

### *Антифон*

— Сквозь хрусталик, к полудню сухой,  
лишь кой-где в облачках еще мыльных,  
видишь, мальчик, нам машут рукой  
белой, там, из берез надмогильных?

— Да ты что! Просто это апрель  
плющит олово мартовских кузниц  
в брошку бабочки, в мертвую трель  
самой дряхлой из ранних капустниц.

— Но мне слышится голос: не пульс,  
не часы, а звенящая чисто  
нота, отзвук бессмысленных буйств,  
жизнь зато не дробящий на числа.

— Ну и что? Соловьи на суку,  
для которых вселенная — роза,  
извлекают формально ку-ку  
из мембран, как из рельсов колеса,  
как из клевера — взмахи косца...

— Нет, дитя, не механика ветер.  
И у плюсов выраженья лица,  
и у листьев есть — ты не заметил?  
Жизнь — в природе души, не дутья  
и душой помывает, как младшей...

— Младший, дядя, не значит дитя.  
Я — дитя, но природы. И падшей.  
Жить, по мне, значит только вперед,  
не заведомо знать, а на ощупь.  
Что есть жизнь — знает то, что живет,  
а не мороком время полощет.

— Что есть жизнь? Мотылек и ладонь,  
шум и речь — пусть мираж сновиденья,  
если б нервы мне жгущий огонь  
не пронизывал в миг пробужденья.  
Цель тоски и восторга — любой  
может быть, но не свойство и сила:

что ни утро, меняется боль,  
боль и мера того, что красиво.

— Боль терпима, старик, не скажи.

— Ну, смотря от чего — не от детской  
или юной обиды и лжи,  
или подлости власти советской.  
И еще: что красиво, в том боль,  
ибо то лишь красиво, что любишь.  
Все терпимо, когда б не любовь,  
то есть то, что никак не уступишь.  
Мальчик, как я любил!..

— Вот те на!

Он любил. Нет любви, если в прошлом.  
Я люблю вот сейчас, старина,  
и любовь угощаю пирожным.  
Ты забыл, красота — это зов,  
та капуста — зов. Когда любишь,  
красотой, а не меньшим из зол  
и влечешь, и влеком, где ни ступишь.  
Так-то, батя.

— О, если б, малыш!

В полдень дачный под корочкой лачной  
ты сперва-ка увидь и услышь,  
как нам машут и кличут из брачной  
стайки яблонь. Здесь главное — пыль,  
тот, рассветный, а правда — бог с нею.  
Я люблю, потому что любил:  
тем, что было, стал знать, что имею.

— Брось, отец, жить — легко.

— Жить легко —

тяжело. Жить легко не носящим  
знанья жизни — да может ли кто?  
Разве счастье — не знать?

— Я несчастен,

потому лишь, что знаю, что ты —  
это я, но твердящий про тяжесть  
милой жизни,— и копит черты  
то, что нам не изжить, не уважить.

\* \* \*

Бог красоты зной выбирает и стужу:  
бронзовый торс, накалившийся на солнцепеке,  
в проруби топит, тем охлаждая душу,—  
и открывает Северу лик эпохи.

Разве зима не прекрасней красного лета  
хоть бы уж тем, что взамен копошащихся линий  
и пропастей — геометрия, как ни нелепа,  
из ничего хвост распускает павлиний?

Солью пурги ровно ложится осыпь  
жертвенных роц на сухожилия в груди,  
и из избы сор мертвеца не выносят,  
льдом его всласть, не при боге, любуясь, люди.

Плавя опять птицам навстречу время,  
снова в тоске по горам и по солнцепеку,  
бог поручает весь уместить в рефрене  
эпос... кому? Да любому. Хотя бы Блоку.

В царстве смертных любому. В подземной клетке  
торса, чью красоту до костей ощерив,  
бог из скелетов видит в одном скелете,  
милым зовя, нежно гниющий череп.

Разницы нет — тленье не умирает,  
крошево скал — то же, что скованность ветра,  
бог не из бани в сугроб на сезон ныряет,  
холод и жар — минимум по полвека.

Так беспощадно юн, так он весел, сцепщик  
тесной зоны живых с просторами мертвых,  
что, упуская смысл, восхищенно шепчет  
наш еще гибкий язык — у губ, уже твердых.

\* \* \*

Чем меньше остается знать,  
тем глубже в узнаванье ярость  
вонзает шпоры — тем загнать  
необходимей насмерть старость.

Вихрь свежего песка в струю  
часов, идущих без починки,  
врываясь, сносит на краю  
дыры висающие песчинки.

И в знанье — жалкое число  
их, и во времени, но малость  
обоих не внушает жалость:  
их — горсть, но в этой горсти всё.

\* \* \*

Вообще песочные часы —  
точь-в-точь пшеничные усы,  
когда б усач щекой привален  
к подушке был — и к низу ус

торчащий припухал, как флюс,  
а тот, что кверху,— был сбриваем.

Но если так, то все равно,  
что сыпят, пыль или зерно;  
и смотрит жалко или гордо  
лицо; и недосып — пшена  
нехватку значит или сна,  
а важен лишь диаметр горла.

Нам, время, не сдавить твой хрящ  
дыхательный, ни в парус впрячь  
твой выдох вечный — в дамском вкусе  
губу щекочущий, как нить;  
но и тебе не соблазнить  
нас, как под нас ни маскируйся.

Был день, когда из кулака  
в песок струилась нить песка,  
струился кислород и кремний,  
текли часы, и среди куш  
бродил шелковолос, влекущ  
твой, время, образ, детский, древний.

Теперь ты туша. Есть и спать  
умеешь только. Ну хоть сядь,  
очнись. Ты было треск и шепот  
стрекоз, а не косы шу-шу  
с травой. Опомнись. И прошу:  
не прихорашивайся, робот.

\* \* \*

С половины холма я глядел на речку  
и видел ее вертикально, как свечку,  
и пять мостов над ее стволом  
накидывали на воск по колечку.

Еще я видел город из рва,  
остовы улиц, как острова,  
и на мозаики и на фрески  
налегала блещущая трава.

Был бог потока бегл и реален,  
как столбик ртути, а боги спален  
и кухонь сгнули. Живую тень  
зато отбрасывал бог развалин.

Ни история вод и жилья,  
ни фантазия не зажглась моя:  
ничего здесь не было прежде — только  
то, что пришел и увидел я.

\* \* \*

Скинув ветошь и роскошь  
 платьев, шитых взаимы,  
 на нейтральную плоскость  
 вырываемся мы  
 по замочной канавке,  
 не задумавшись, чья,  
 между левым и правым  
 поворотом ключа —

на тележных колесах,  
 не считая за труд  
 раздвиганье колосьев,  
 как сияющих струн  
 между правым и левым  
 перебором пространств,  
 между светом и хлебом,  
 изнурившими страсть.

В тех же гранях, что сотам  
 придал ангельский чин,  
 мы живем по расчетам,  
 не задумавшись, чьим,  
 с той же целью, зачем я  
 мог бы выдернуть швы  
 золотого сечения  
 из инстинкта пчелы.

Между черным и белым  
 зазеркалием глаз,  
 между жизнью — и телом,  
 отменяющим нас,  
 есть подобие рамки  
 золотой — и над ним  
 очертание ранки,  
 серповидной, как нимб.

### *Софье пять с половиной*

Из всех историй мы с той начнем,  
 которой единственно ты историк,  
 поскольку знаешь, с кем и о чем  
 на въезде в деревню дерево спорит —  
 когда свое отраженье в пруду,  
 с мольбы перебрасываясь на ругань,  
 не слыша доводов, как в бреду,  
 по-вдови зовет королем-супругом.

Ты также чуешь, чтоб на ушко  
 сказать, а что, не стесняясь, в голос,  
 чтоб чувство пылкое не ушло,  
 держава сердца не надкололась —

как брачный кубок, и рог венца,  
и царского подлокотник трона.  
Ты веришь, что, даже шутя, нельзя  
поверить в то, будто жить — мудрёно.

Ты знаешь: столь хрупок язык любви  
что, кроме как счастьем, знать его нечем —  
что, то есть, челюсть и рык — не львы,  
а летний гром и в траве кузнечик.  
Ты знаешь, что жизнь не богаче дня.  
Но ты не ведаешь, что одна лишь  
на всех на нас, на мир, на меня  
есть ты — которая это знаешь.

\* \* \*

Снова ночи в полвторого  
от порханья желтых сов  
ищешь легкого покрова,  
газишь свет — и был таков.

И почти сейчас же птица  
наступающего дня  
начинает петь и сниться  
в перьях сизого огня.

Снова, снова, снова, снова —  
да и как без новизны  
стаи завтрашней, без слова  
«снова» снова видеть сны?



# Люби и ошибайся

ПОВЕСТЬ

## ДЕДУШКИН ДОЖДЬ

(ПРИЧАСТНОСТЬ)

*Ирине Ермаковой*

1

...И раз восемь отрекся от своего полного имени. А как было хорошо до школы, пока не появились эти двенадцатистрочные тетради с пришедшими из-за трех морей именем и короткой фамилией, тут же превратившейся в кличку, впрочем, не самую обидную в классе. Да, до школы!.. Тогда все его звали сокращенно и спину не выравнивал черный лакированный ранец из кожзаменителя.

Старушка — русская, коренная бакинка — чуть приподнялась на кровати. (Стихающий звон сетки еще несколько секунд продлевает движение руки.) Откинула на подушку маленькую, точно высушенную головку, а потом тихонечко так, будто саму себя боясь, с улыбкой синегубой: «Ну никак так никак. А чайку? А конфетку шоколадную? А? Никак?»

Убедительно отказался.

Свел брови в одну линию.

Взглянул на бабушку (мамину маму); кажется, время пошло чуть быстрее. Она лежала какая-то совсем на себя не похожая — на ту смешливую, добросердечную, совсем еще не старую женщину с длинной, выкрашенной хной косой (также мазала хной и ладони), в остроносых, злых туфельках и сильно декольтированном платье под черной многоскладочной чадрой — какой запомнилась ему в последнюю их встречу, когда они вместе ходили в мечеть за Парком офицеров.

Лежала бабушка через тумбочку от той синей старухи и тоже улыбалась. Только по-другому уже: как будто прощалась этой улыбкой с ним, уходила куда-то далеко и надолго за чем-то очень важным для нее, лишь для нее одной (не потому ли казалась смущенной, как бы извиняющейся?), всю жизнь свою прожившей ради других, ради мамы, дяди, а потом уж него, Афика...

Тусклый свет. Белые стены. Белые кровати. Бело-желтые тумбочки через две кровати. Все липко-потно. Все горизонтально, и все со всем вяжется туго-крепко, тянется и течет... И время — без накала, без стрелок, без цифр — тоже тянется и тянется, тоже течет мимо города, улиц, людей без имен, звонкой мухи под тусклой лампочкой... Все со всем вяжется, корежится, разрастаясь: большое на всю стену окно с глубоким вечером за ним, удушающий запах лекарств, запах цвета бычьей крови с рубиновыми сгустками, как если бы Кто-то — от кого все зависит — смешал без надобности все краски гуаши — и шлепком, шлепком на влажный александрыйский лист, густо-густо замазывая белое поле; а еще эти градусники в граненых стаканах, домашние щербатые чашки с поблеклым цветочным орнаментом, тапочки — супружеская чета жуков-скарабеев, высокая дверь в коридор — для кого-то Начало Начал, а для кого-то Эндшпиль (четыре

квадрата матового стекла слева и четыре справа); за квадратами стекол проходит жизнеутверждающе ханум-медсестра...

Если бы этот ее проход можно было остановить, задержать на четыре такта до сегодняшнего дня в четырех левых квадратах или четырех правых, она бы получилась как на полотнах Сера. У бабушки глаза тоже словно подернуты пленкой. Синьяк. Сера. Синьяк. Сера... И медсестра зачем-то идет обратно, намного быстрее, уже без «ханум», уже просто медсестра, но все равно в ритме густого, медленно текущего времени.

Дядя опять вышел покурить.

Афик остался сидеть на табурете возле бабушки.

Она взяла его руку в свою и долго держала; а он не знал, что ему говорить и куда лучше смотреть.

Решил, что будет по возможности молчать и смотреть на тапочки-жуки. Бабушкины тапочки. Она держала его руку в своей и шептала: «Машалла, машалла...» А потом бабушка сказала дяде, когда тот опять зашел в палату, что ему уже давно пора жениться, что, когда ее отсюда выпишут, она приготовит плов, настоящий плов с каштанами и зеленью. Он ведь так любит с каштанами и зеленью.

Афику показалось — дядя после этих бабушкиных слов весь внутренне сжался и уже опять был готов выйти покурить; это, наверное, из-за той девушки, светленькой, узколицей, с кошачьим разрезом зеленых глаз, которую дядя с первого курса фотографировал, а потом... «Не влезайте в мою личную жизнь! — кричал он и бабушке, и маме, и отцу (для отца окончания слов на октаву выше). — Я же в вашу не лезу!» Честно говоря, Афик тоже был против этой модницы-позерши: раньше, когда ее не было, когда она еще не сидела на скамейке приморского бульвара с толстой книгой в руках, издали похожей на телефонный справочник, основным мотивом дядиных фото был он, Афик, ну еще, быть может, город («Бакинские дома, бакинские балконы так фотогеничны!» — дядины слова), все же остальное как-то само собой списывалось на неразумную всеядность объектива. Он помнит, как дядя быстро собирался, ни на кого не глядя, посовал вещи в чемодан, как уходил не попрощавшись, как потом мама, вся в слезах, просила его, Афика, догнать дядю, сказать ему, чтобы тот вернулся. Тогда Афик выбежал во двор, но дядю почему-то догнать не стал. Просто стоял во дворе — и все. И все.

Синей старушке, которая раз восемь спрашивала у Афика, как его зовут, вдруг стало плохо.

Кто-то громко попросил укол для нее.

Позвали медсестру.

Медсестра была очень смуглая, черноволосая и слишком конкретная на фоне белых стен, тумбочек, кроватей. Афику казалось, эта женщина, быть может, единственный человек здесь, который все знает, верит исключительно в диагноз и ждет только утра, потому что вся уже приготовилась к своему незатейливому, полному щебетания городских птиц будущему. Вон как таблеточку старухе в горло морщинистое пропихнула, пальчиками в открытый рот, беззубый рот... И у старухи в дряблых щеках почувствовалась горечь таблетки.

Бабушка попросила дядю, чтобы он немедленно увел Афика. В фойе больницы дядя посмотрел на черный рогатый телефон, приросший к стене у входа в корпус, — обозвал его «фронтovým орудием». «У него гудки без сердца», — сказал еще он.

На трамвайной остановке дядя опять закурил. «Ты какой-то дикий растешь. — И почему-то обвел пальцем вокруг своего, а не Афика лица, получилось, как в пантоmime. — Сидел там, будто музейный экспонат. Не мог два-три слова бабушке сказать? Ты что, не понимаешь, что происходит?...»

После этих слов Афик хотел убежать от дяди, от пьяно качнувшегося на черном жирном повороте (начинался дождь) трамвая; он хотел, но, как тогда, во дворе, когда мама просила его догнать дядю, не сделал этого.

Всю дорогу, от больницы Семашко до улицы Джабара Джабарлы, дядя смотрел в окно и молчал. Когда надо было уже сойти, подошел к дверям, спустился на ступеньку вниз и, не поворачиваясь к нему, сказал: «Теперь у меня такое чувство, будто за моей спиной пустота и ни одной выемки в прошлом. А с другой стороны, так даже лучше. Так легче. Соскальзывать надо одному. Одному страшнее, но легче. Понимаешь?» И он хотел сказать ему, что да, конечно же, понимает, но вместо этого сказал: «А я умею прыгивать на ходу с трамвая. У нас все мальчишки в классе прыгивают на ходу. Это совсем нестрашно, ну, может быть, только чуть-чуть, только на Третьей Параллельной. Там спуск крутой». Тогда дядя ответил: «Внешне ты, конечно, похож на Белку, и характер тоже материнский, но что из тебя получится? Заторможенный растешь. Надо тебе со спортом определиться».

Почему вдруг именно об этом вспомнил сейчас? А это, наверное, из-за бензиновой зажигалки Рауфа. Закуривая, он щелкнул крышкой. Так щелкают зажигалки «Зиппо». У дяди точно такая же зажигалка была — зипповская, только с верблюдом. Он все время держал ее в руке, и все время щелкал и щелкал крышкой, и на трамвайной остановке тоже щелкал; подушечки больших пальцев у него были желтые от никотина, и всегда от него пахло бензином, всегда, и в автобусе сейчас тоже пахнет бензином... Но, может быть, не из-за этого вспомнил, а из-за Юльки: Юлька так похожа на ту дядину девушку. Светленькую, плоскогрудую, с кошачьим разрезом зеленых глаз... У Юльки глаза как пленкой подернуты, будто в тумане. У всех шлюх глаза как будто в тумане, словно все они чуть близорукие. Почему? Почему женщины в длинных платьях затмевают женщин в коротких юбочках или джинсах? Почему маленькие женщины сильнее стучат каблуками? Почему за плавным вкрадчивым покачиванием бедер всегда угадываешь богатого «спонсора»? Почему Юлька решила не ехать с ними на автобусе?.. Может, она и с начальником?.. Когда Аббас (язык не поворачивается муаллимом\* назвать) на площади в крепости закинул документы и Юлькин паспорт в свой «дипломат» и щелкнул замками, показалось, будто у них все уже произошло, все решено и согласовано... Как он выпячивал грудь самодовольно, по спине ее сытенько поглаживал, баритоном мягоньким угощал... Ах, Аббас, Аббас, двадцатикопеечный Аббас!\*\* Из всей студии именно его и Рауфа отправил на первом автобусе, а Юльку, небось, на своей «Волге» повезет, отдельно от ребят. И она пойдет на это. Уже пошла. Почему? Ну и водила же нам попался! С таким вот полдня дороги?! Полное затмение.

Водитель автобуса носил фамилию более чем странную, с каким-то дважды ректальным намеком: его звали Дрискал (кочевавшее от степени знакомства с ним ударение от намека этого не освобождало), правда, в сочетании с именем — Олежка, Олежек, почему-то никогда не Олег (типичное восточное «сюсю»: все бы уменьшить, все бы обласкасть, сделать своим, карманным), эта редкая даже для Баку фамилия каким-то странным образом облаговзвучивалась, начинала казаться отчасти нормальной, естественной: мол, дружок, ну что подедаешь, с кем не бывает?.. И, может быть, потому Олежка Дрискал вел образ жизни безответственный, но как бы с разрешения окружающих: по чуть-чуть тянул талоны на бензин, потихонечку женился и шумно, с треском разводился, понемножечку спекулировал пластинками, и только халтурил он по-черному.

Еще в крепости, Ичери-Шехер, когда грузились, маленький автобус Олежки Дрискала своим неблагополучным видом словно предупреждал, что есть на самом деле дорога, единица времени, скорость и сопротивление материалов: покрышки лысые, один стоп-сигнал наполовину крестообразно залеплен скотчем (из памяти выскочили литографии блокадного Ленинграда), передний бампер

\* Учитель (*азерб.*). Уважительное обращение к старшему.

\*\* Когда-то монета династии Аббасидов, затем мелкая монета достоинством в двадцать копеек, которой обычно расплачивались с чернью. Кроме того, имя Аббас, как арабский перевод слова «лев», означает еще и «Иуда».

отсутствовал; в довершение ко всему Олежка предостерегающе сообщил, что «слегка скривлена» рулевая тяга и машину произвольно «слегка уводит» влево; зато какая длинная японская антенна уходила дугой от водительского окна — аж до самой половины крыши!

А тут еще встала проблема выбора: дороги было две, и Олежка почему-то решил ехать по старой — Шемахинской: «Если поедем по новой, на Байлова влипнем в пробку»; не было и речи о том, чтобы засветло добраться до Шемахи. Выходит, спускаться по Агсуинскому перевалу с этим адским водителем, на машине, которую произвольно уводит влево, придется ночью. Но Рауф обрадовался: «Ребята, может, тогда заедем ко мне? Месяц назад у сестры день рождения был, даже телеграмму не успел послать».

На автодорожные вопросы студийцев Олежек Дрискал отвечал, выдержав многозначительную паузу, с мудростью, которой его научили дороги: «А что делать...» И художники-оформители со всем мирились, устраивались поудобней, целиком и полностью доверяясь дороге.

«Уазик» был забит до отказа ящиками с инструментами, трехлитровыми банками с клеем ПВА-М, рулонами кожанителя разных цветов, компактным точильным станком-«болгаркой» — он же электропила-рубанок, диорамой города Казаха, графическими листами в тубусах, макетом музея Моллы-Панаха Вагифа\* (с таким трудом пробивали на худсовете), тканями, картинами, сумками...

Ноги затекли; вытянуть их Афик не мог: мешал ящик, набитый металлическим шрифтом, впереди под сиденьем. Пейзаж был больно уж унылый: совсем низенькие горы — бородавки охристого цвета, редко — чахлые, скрученные ветром деревья, две-три традиционные нефтекачалки с утиными головами, монотонно клевавшие землю в кракелюрах, как на полотнах старых мастеров (скудно, скушно), и он решил повернуться спиной к окну (по новой дороге, в сопровождении моря, растрепанного у берегов, все ж таки повеселее было бы), вытянуться вдоль сиденья; вот так вот, вот так, и ноги крестом поверх ящика, так очень удобно, пусть тело отдыхает.

Рауф подмигнул Агамалиеву, мол, старина, все правильно, ехать-то еще сколько, и тут же, видимо, гордясь своей природной приспособляемостью, с какой-то уютной, домашней модуляцией, пообещавшей и кресло, и торшер:

— Греческая богиня. Крылатое чудовище. Птица с девичьей головой, в переносном смысле — злая женщина. Шесть букв. А?..

— Геба.

— Шесть букв, говорю...

— Отцепись!

Странное дело, подумал он, кажется, этот шемахинец меня стесняется. А я его? Во всяком случае, чувствую себя достаточно зажатым из-за него. Он, как фотограф за кустом с длинным объективом; ты его не видишь, а он уже успел тебя поймать в круг мишени. Без задуманной позы и жеста ты стоишь перед ним словно нагишом, ты выхвачен из времени без акцента и лица, ты пустой. Интересно, сколько таких, как я и он, у нее было? А вдруг мы все для нее без лица, без жеста и все пустые?.. Или же сливаемся в одно лицо, в один жест? В крепости она срежиссировала наше рукопожатие, потом самодовольно улыбнулась, провожая, подчистила рукою воздух за нашими спинами, как бы уже обозначая границу между нами, ею и другим... Но, кроме лица, кроме позы и жеста, еще есть — звук.

— Гарпия.

— Раз. Два. Три.— Задумался на мгновение, затем кривенько ухмыльнулся, карандашом легонько в квадратиках поводил, опять задумался, опять поводил.— Шесть. Кажется, попал. Село.

В машине постепенно начинала царить та особого рода расслабленность, какая случается, например, на пляжах ближе ко второй половине дня, когда солнце сильнее припекает, стягивает покрасневшую кожу, навевая полыхаю-

\* Молла-Панах Вагиф (1717—1797) — азербайджанский поэт-лирик, видный политический деятель, после трагической смерти многие его рукописи оказались сожжены.

щую дремоту, и... вот уже твое присутствие кажется не вполне настоящим, поскольку о твоём присутствии в ТЕПЕРЬ даёт знать только время, а время перестаёт быть сделанным тобой, и ты перестаёшь быть сделанным временем, и, кажется, в этом просвете между явью и сном ты вот-вот ухватишь догадку: иное указание времени, иное именование места...

Агамалиев, не носивший после армии часов, позвал Рауфа, отправил тому жест — начертил пальцем круг на запястье. Вопрос отразился в зеркале салона. Олечка всплеснул руками. Показалось, машину действительно увело влево.

— Без пяти шесть! — произвел короткую дробь по рулю. — Врубаю «Монте-Карло». У меня антенна — от Зейнаб до Барбары Стрейзанд!

Рауф пересел на переднее сиденье к Дрискалу. Он переключал, щелкал, гонял стрелку на шкале радиоприемника.

— Оставь...

— Подчищу...

— Потеряешь!

Потерял. Влез в глушилку, но потом опять нашел.

Он не сразу узнал «Маниакальную депрессию» Хендрикса. Сбил с толку размер легкого вальса. Восемь тактов унисонных бендов... Нарастающее напряжение ля-минора... Настоящее одиночество! Беспросветное. На тысячу и тысячу лет. Сначала Афик пробовал вслушиваться в каждый звук, не пропуская рождение нового (как капля от капли), но, как это бывает в самой жизни, что-то выхватывалось, складывалось, а что-то терялось, оставалось нераспознанным; он устал, он сдался, в какой-то момент начал просто слушать; как только это случилось, композиция захватила его целиком. Теперь и он был по-настоящему одинок. Так же беспросветно и так же на тысячи и тысячи лет. А потом Афик, сам же этого одиночества вдруг испугавшись, забарабанил пальцами невпопад по коробке с металлическим шрифтом.

Вот остановить бы сейчас машину, никому ничего не объясняя, вернуться в Баку. Или нет, спрыгнуть на ходу, как спрыгивал раньше с трамвая, застучать ее с Аббасом, а потом, сказав самому себе, что просто вышла ошибка, начать все сначала, начать уже без нее. А что? Разве весна не располагает к такому вот прыжку?!

А мотор взревел на подъеме.

И мимо в желтках противотуманных фар пронесся рефрижератор «Совтрансавто», немедленно сорвав своим воем широкий бендовый интервал Джими Хендрикса.

«Нет, автобус я не остановлю и в Баку не вернусь. Потом, в Казахе, разберемся. А если совсем уж прижмет — уйду из ХПМ\*, чтобы с ней не видеться. У меня из-за нее одни долги. Ужин в новом «Интуристе», кофе в старом, ночь в баре «Карабах». Вся жизнь у нее через презерватив. Эта сука сведет меня на нет. Холодная, себялюбивая дрянь. Все у нее сплошное совпадение».

Совпадение управляет случаем, по крайней мере для человека. Случайное совпадение — бросок костей-зар... Пенч-гоша, шеш-гоша, еганы\*\*... «А в это время...» — всегда уже колеблющаяся мыслеформа, почти комбинация, фигура как минимум из трех жирных точек. Я — здесь и он — тоже; «А в это время эта сука...» — формула случайностей?! Таких вот совпадений в одном только Баку!.. Из этих совпадений и начало, и конец, и ...ошибка. МОЯ. Неизвестность — пространство, в котором еще не поселилось время, пространство, не окультуренное светом и тенью, без взгляда извне. Взгляда твоего, из твоего будущего.

Рауф тонул в радиоволнах.

Теперь уже белая певичка пела, как черная, и Афик подумал: лучше бы она пела, как белая, — мешала сытая звонкость в голосе, неоднократно повторяемое «мей би» звучало чересчур оптимистично, будто она уже обо всем договорилась со Всевышним...

\* Художественно-производственные мастерские.

\*\* Дубль-пять, дубль-шесть, дубль-единица (фарс.).

— Автор сочинения, письма, скрывший свое имя? Опять шесть букв.

Дались ему эти кроссворды! Почему он всем своим видом старается скрыть, что родом из глухомани? Зачем ему Юлька с ее, мягко говоря, эмансипированностью, приходами домой на ночь глядя, импортными презервативами в сумочке, и зачем он ей в этом красном галстуке на зеленую рубашку? Все-таки как же быстро эти люди из местечек, порою даже не обозначенных на географических картах (обязательно где-то рядом должна течь похожая на хвост сперматозоида речка), перенимают все столичное, как торопятся они принести себя в жертву большим городам, обменивая бесконечные дали и широкие ветры на залатанное кусками небо, кислотные дожди и подземные лабиринты метро. Как они торопятся продаться, предать — это с их-то приверженностью к традициям! Ну зачем вот ему было нужно перебивать мне заказ, хвататься за мою тему, работать, как я, сухой пастелью по тонированной масляной бумаге? Все у меня слямзил — и резкую штриховку сеточкой, и жирные блики белилом, и гуашь на водоэмульсионке... Но как же здорово у него вышла Гызханум\*, какие глаза он ей сделал! Юлькины глаза — наглые, раскосые, длинные, подернутые пленкой, с тенью влажной под ресницами. И Аббас, конечно же, запал на его Гызханум. Аббас давно уже за Юлькой трусит, как кобель за течной сукой. И Юлька тоже, конечно, в Гызханум себя увидела, себя — азербайджанкой, о! — это ее вторая мечта после первой, главной — быть заполненной с трех мест, это ее заветное... Шемахинец все правильно рассчитал, и, конечно, Аббас отдал заказ ему.

Автобус точно подрубили.

Скрежет — и кинуло вправо.

Дрискал на тормоз... еще раз. Выправил машину, когда забил по днищу, зашуршал гравий на обочине, выругался, выскочил, злобно дверью хлопнул.

Рауф нагнулся. Поднял журнал и почему-то улыбаясь:

— Хорошо, что на встречную не выбросило.

«А если бы выбросило?!» — И Афик Агамалиев представил, избегая неприятных подробностей столкновения, начиная прямо с того места, как Юлька проезжает мимо — и вдруг... (это «вдруг» показалось ему очень важным сейчас — неподготовленность персонажа как залог достоверности воображаемого); как просит она разгоряченного приставаниями Аббаса остановиться (пусть он не сразу услышит ее: он размягчен, внимание его ослаблено); они проедут, потом вернуться (еще одна деталь в пользу градуса достоверности); как торопится, как бежит она угловато (каблуки мешают), как кидается!.. К кому первому? Эх, знать бы! И тут же вспомнил, что Юлька провожала их в кроссовках и, следовательно, на высоких каблуках никак не могла быть. Картинка распалась, и сразу же стало легче.

— Сколько до Шемахи? — спросил он у Рауфа, пробираясь между электропилой и диорамой.

— До Шемахи,— злился Олежка, вытаскивая домкрат,— километров пятнадцать — двадцать. Вывешу колесо, вскрою ступицу, гайку заверну, может быть, за час-полтора и доберемся.

В темноте возле дороги пели цикады. Откуда-то потянуло сиренью. Сочной. Влажной. Врубелевской. Этот запах взволновал его. Вызвал в нем глубокое чувство тоски и смирения. «Смиреньевый запах», — пошутил Агамалиев про себя и вернул в пачку сигарету.

Мимо, высветивая путь фарами, пронесся автомобиль, и он подумал, что вот еще один течет в пустоту, мимо сирени, мимо весны, и часы его никогда не покажут семь вместо двенадцати. А у Врубеля демон вообще без часов, он у него в кристаллах, он у него подземный, украшенный многознаньем, правдивостью и на данный момент добродетелью.

Олежка искал ключи по номерам в ящике с инструментами.

Афик, сидя на корточках, светил ему фонариком и хлопал на себе комаров.

---

\* Жена Моллы-Панаха Вагифа.

Потом подседа батарейка. Рауф пошел искать свою зажигалку (оставил в салоне). Нашел. Вернулся. Передал Афику. Когда Афик откинул крышку зажигалки, опять этот металлический звук напомнил ему щелчки замков аббасовского «дипломата».

«Что имел в виду дядя, когда говорил: “Одному легче. Страшнее, но легче”? Нет, дядя ошибся: мы не скользим, не соскальзываем, мы течем и всегда по одному, и пустота — она не только за спиной, она и спереди, и сбоку, она всюду и везде, и не стоит ее бояться: все со временем сгладится, как вот эти камешки под ногами, все превратится в тень, а тени не рожают ни звука, ни жеста, пока не придет тому Пора... Кто знает, быть может, врубелевский демон как раз и думает об этой Поре?...»

Рауф ходил взад-вперед вдоль автобуса, закинув руки за спину, как Каренин, только пальцами не хрустел — сжимал свернутый в трубку журнал с кроссвордами...

— Э... часовой, в ваших лях-лю-лях знаешь, где автостанция есть? — спросил Олежка.

— Лю-лях-ли?.. Шемаха когда-то столицей ханства была. — Рауф сходил за дерево в лесопосадку, потом вернулся, сказал: — Тетин муж завгаром работает. Мы с Афиком сейчас проголосуем до Шемахи. Когда доберемся, я все устрою. Домой заеду, соображу еду тебе...

## 1-А

Они идут вдоль дороги. По самому ее краю. Между асфальтом и гравием. Он — по асфальту (в темноте все хочется делать тише, в темноте понимаешь: мир соткан из звука, одного, — в котором ты уже есть); Рауф хрустит по гравию, скрипит мокасинами, как по снегу. Они идут вдоль дороги. Он немного замедляет шаг, чтобы взглянуть на Рауфа ее глазами, вообще глазами женщины, а потом этими же глазами посмотреть на себя, сравнить. Да, конечно, Рауф выше, суше, костистее; какой плоский, крепкий затылок у него, и волосы, как шерсть у молодой собаки, да, такие нравятся женщинам, и потом, самое главное, в нем нет надуманной проблемности, вернее, он никогда не создаст женщине проблем, которых у нее и так без него хватает. У этого шемахинца все по циферблату, все по стрелкам. Да. Точно. Но какие глаза он сделал Гызханум!..

Молочный свет выхватил из темноты кусты, деревья, серебряный щит — указатель дороги далеко впереди. Рауф повернулся и...

...оба смутились.

И Рауф намного раньше, чем следовало, выступил вперед, помахал рукой с журналом.

Афик, глядя на Рауфа, подумал: «Жесты бывают приобретенные, а бывают прямо из детства, как бы предшествующие рождению, — жесты наших родителей; редко замечаемые и мелкие по значимости, они тем не менее формируют наш характер, лепят наше лицо и творят судьбу. Иногда жест приобретенный, добытый не отличить от кровно доставшегося, а иногда, вот как сейчас, сразу видно, что этот патрицианский взмах руки заимствован Рауфом совсем недавно (он еще не отрепетирован, еще скрипит) на центральных бакинских улицах, которые, в свою очередь, приобрели его на американских и европейских — с экранных полотен кинотеатров. Более того, этот жест чужд ему так же, как чужды мне, например, восточная страсть к золоту, показушность, похотливое отношение к женщине, как чужда мне лирика Вагифа, все эти «ахи» и «охи», в чьих бы переводах они не были, хоть Марии Петровых. Нет, мне никогда не понять, как Вагиф — агыллы, хебердер\* — всю свою жизнь молился исключительно ЖЕНЩИНЕ, женщине, из-за которой его потом (нет, не слепа судьба) столкнул в пропасть. Хотя что знаем мы о Гызханум? Для нас она лишь поэтический канон, многовековое уложение, сочетание звуков».

\* Умный, сведущий (азерб.).

Весна в тот год пришла неожиданно рано.

Рано распустились почки на деревьях вдоль кротких улочек маленького городишки; и через неделю одни деревья стояли уже белые, какие-то воздушные, существующие сами по себе, готовые вот-вот плавно тронуться с места-Мира, другие — жиденько-зеленые, наши — слепые, безмолвные, рождающие безотчетный страх своей привязанностью к Земле...

Домашние кошки (не просто кошки, а, конечно же, кошки плюс что-то еще) осваивали подоконники пришедшими из древности движениями, свысока поглядывая на весь остальной мир.

Люди даже не успели толком понадевать плащи, куртки, костюмы, они стремительно вывалились из пальто, дубленок, свитеров и с непривычки сами себе казались такими маловесными, лишенными всякой напряженности, с единственным вертикальным направлением, что, того гляди, забыв все тяготы земной жизни, взлетели бы над родными плоскими крышами, где тоже сейчас местами пробивались вьюнки, пригретые не в меру щедрым солнцем.

(А интересно, как бы улыбались кошки над освободившимися от земного притяжения шемахинцами? Понимающе?)

Ей недавно исполнилось пятнадцать.

В день рождения мать испекла большой торт, пропитанный коньяком, с поздравлением и пожеланием прямого пути нежно-розовым кремом; зажгла на нем пятнадцать маленьких шам-байрамы\*.

Арзу задувала свечи, а гости аплодировали ее пассатам и громко смеялись. Так громко смеялись они и так неестественно, с таким оттенком поощрительности, что она даже смутилась. Хотя, может быть, не из-за этого смутилась, просто, когда последние четыре свечи задувала, некрасиво слюной брызнула. Прямо на торт. На прямую нежно-розовую дорогу.

Пришла Миная-ханум, известная в шемахинском районе сваха, подарила французские духи, сказала: они «Сиким»\*\* называются (за столом все смутились), в Баку самые модные сейчас, несмотря на название. Дядя Салим тут же осторожно, как бы между прочим, заметил, что как раз поэтому они и модные и что дарят их исключительно совершеннолетним. Жена дяди Салима, мамина сестра, толкнула мужа локтем и посоветовала ему в дальнейшем рот чистым держать, потому что он не у себя в гараже с шоферами в нарды играет. Их сын, Самед, как-то странно в тот вечер посматривал на двоюродную сестру. Арзу сначала удивилась этому, а потом, так и не поняв отчего, опустила вдруг голову и даже покраснела. Мать тоже заметила эти недвусмысленные взгляды повзрослевшего племянника, но не удивилась, успела кое о чем подумать, кое-что прикинуть и потом, уже в кухне, когда Арзу вызвалась ей помочь, провела рукой по волосам дочери, откинула черную прядь со лба, заметила россыпь мелких прыщей (сама отроковицею страдала от них и чертями называла), улыбнулась про себя, прижала крепко девочку к своей мягкой надушенной груди, что колыхалась под синим с блестками платьем...

— Выросла. Скоро замуж пора...

— С тобой останусь.

— И я тоже так говорила.— Мать отодвинула дочь от себя и неожиданно расплакалась.

Арзу смотрела на мать и не понимала, почему та плачет, почему именно сейчас. Почему при этом еще и странно так поглядывает в зеркало то на себя, то на нее? И уж совсем она ничего не поняла, когда мать, широко раскрыв глаза и часто-часто моргая, сказала:

— Что-то мы с тобой, дочь, вконец раскисли. А ну давай-ка умойся — и к гостям! — Будто это у Арзу тушь потекла и глаза пощипывало.

\* Праздничные свечи (азерб.).

\*\* Игра слов. На сниженном азербайджанском означает «совокупление».

В прошлом году на ее день рождения мать тоже «раскисла». Тогда она отца вспомнила. Сетовала, что не дожил он до этого дня. В прошлом году она «раскисла» в спальне. Там зеркало стоит во весь рост, но почему-то ей в голову не пришло в него глядеть.

Арзу, конечно, подошла к раковине и даже приоткрыла легонько кран, чтобы платье не замочить, но, честно говоря, разозлилась на мать. Раньше с нею такое всего один раз было — через год после смерти отца, когда к ним заглянула Миная-ханум и ее, Арзу, мать попросила выйти из комнаты. Арзу, конечно, все поняла. Она вышла на веранду. Долго ходила из одного конца в другой и сочиняла про себя письмо в Баку, к Рауфу.

Женщина чувствовала несогласие дочери, ее растущее напряжение, но была не в силах хотя бы на пару минут отойти от нее чуть дальше. Улыбнуться. Помолчать. Сменить тему. Она стояла за спиной Арзу и всю нахваливала Самеда.

— Во всяком случае, недалеко от меня будешь,— закончила она и вздохнула так громко, так глубоко, будто ее врач об этом попросил.

И тут Арзу, представив себе то, что не могла представить многоопытная мать в силу, видимо, уже чисто возрастных причин, не выдержала, топнула ногой...

— Ну хорошо, хорошо, успокойся! — Удивилась, примирительно протянула дочери полотенце. И только сейчас отошла от нее.

Потом за большим старым столом, который дедушкин отец смастерил сам еще до рождения бабушки, все желали Арзу большого счастья, поступления в бакинский институт, все равно в какой, дальнейшей безоблачной жизни и т. д., и т. п. Только бабушка один молчал. Он накладывал себе в любимую щербатую пиалу (из которой всегда ел и первое, и второе) большие куски баранины, подолгу размазывал их беззубым ртом, не дожидаясь тостов, прихлебывал темное вино от той лозы, что опутывала весь задний двор, и время от времени покачивал головой, поросшей снежно-седым ежиком. (В Шемахе его звали Чалсач.) Корявым пальцем он выловил мушку из стакана и вдруг громко объявил:

— Пусть она здесь живет. Пусть детей рожает. Так лучше...

— Ну что вы, папа?! — досадливо поморщилась мать. — Она же сама еще ребенок. Даже неудобно... — переглянулась с сестрой.

— Чего так всполошилась? — не унимался дед. — «Удобно-неудобно». Лукавый народ — женщины. — Дядя Салим — весь внимание — с наслаждением откинулся на спинку стула. — А если не родить, род кончится. — В расшатанной спинке стула скрипнул дядин смешок.

Переставили два кресла и журнальный столик с цветами и подарками поближе к окну. Раскладной диван тоже отодвинули. (Картины Рауфа, до того висевшие над диваном, вдвое прибавили голос. Они теперь словно спрашивали «да» или «нет».) Включили стереопроектор. На образовавшемся пятячке, под запыленной пластинку Зейнаб Ханларовой известная сваха Миная-ханум и дядя Салим станцевали первый танец.

Сначала Миная-ханум, выбираясь из-за стола и поправляя ржаво-рыжие волосы, достаточно достоверно проиллюстрировала несвойственное ни ее возрасту, ни тем более характеру смущение, которому научилась, по всей видимости, у своих клиенток на выданье, затем, уже по ходу танца, разгоряченное плосконосое лицо ее внезапно посуровело, на межбровном промежутке образовалась глубокая вертикальная складка, почти всегда обозначающая несогласие или крайнюю степень решительности, массивные золотые сережки на больших, заостренных кверху ушах метались, как обезумевшие зверьки, Зейнаб Ханларова уже явно не успевала за ней. Дядя Салим в самом центре пятячка мучительно выработывал философию жертвы — делал вид, что жертва вовсе не он: гордо задирал выбритый еще утром подбородок, выпячивал впалую грудь, отчаянно перебирал мимо музыки худыми ногами и в конце даже как-то странно засуетился, задвигал тазобедренной частью, что очень-очень не понравилось тете.

Потом молодые заменили слишком уж свою Зейнаб на получужую, не совсем понятную чувственными томлениями Аллу Пугачеву. И под «я не хочу еще

быть старой» так разошлись, что кто-то даже задел плечом картину Рауфа в рамке под стеклом. Картина упала, стекло разбилось. Но ни Алла Пугачева, ни Рена из параллельного 8-го «А» класса, ни Сamed, ни Земфирка с непристойно подвижными губами даже внимания не обратили. Так, всего лишь небольшая заминка, ойкнули пару раз ради приличия — и давай по новой... Мать с венником и совком в руках попробовала протиснуться между ними, но куда там: у этих молодых сейчас столько тела, столько энергии...

Арзу танцевать совсем не хотелось. Она сидела рядом с дедушкой, следила за манерами танцующих, через силу улыбалась Минае-ханум, которая из чисто профессионального интереса поглядывала на нее, щуя глаза, передавала на другой конец стола блюдо с долмой и мацони в молочнике, потом принимала назад, а сама все думала: «Если муж, дети, свой дом, своя семья — это хорошо, нормально, так надо, почему мама плакала, почему тетя только и делает, что пилит дядю и бесконечно твердит о разводе?» Она хмурила брови, задумчиво крутила пальцами фужер с водой, будто пробовала завести какой-то механизм, потом передвигала его, точно «слона» на шахматной доске... «Ну разве нельзя быть счастливой, не имея мужа, просто так счастливой, — еще один ход фужером-«слоном», — просто от самой себя?» И тут она заметила, что Земфирка побрила ноги. Лодыжки теперь тоньше казались и такие аккуратные, совсем другое дело. Нет, она непременно завтра же спросит у мамы разрешения и тоже побреет, а может, даже и не будет спрашивать — зачем, если многие девчонки в классе уже давно ноги бреют?

Потом молодежь натацевалась и стали пить чай.

— И все же надо кончать десятилетку и поступать в институт, — сказала тетя, лицом похожая на мать, но какая-то вся избыточная, холмисто-округлая, со слоеным подбородком и рыхлыми, с ямочками на локтях руками.

Муж ее, дядя Салим, закивал.

Мама посмотрела в сторону дедушки и тихо сказала:

— А вот у Натальи-ханум дочь училась в Баку, училась, а на четвертом курсе — нате вам...

— Ну и что? Где она училась? — громко спросила тетя, чем привлекла внимание дедушки, занятого чисткой мундштука.

— Опять вы этим за столом занимаетесь, я же вас просила, папа! В медицинском. Спыхватились, а делать что-нибудь уже поздно, у него семья, оказывается. Двое детей.

— Значит, плохо училась! — Тетя поймала наконец вилкой ускользящую дольку маринованного баклажана и добавила: — У этих, у русских, всегда все...

— Через...

— Салим!! — одернула тетя мужа.

Потом заговорили о международном положении и милитаризации космоса. Дядя Салим сказал про Рейгана: «Что от артиста ждать!» Дядя любил выступать на собраниях, он встал, переставил перед собой стакан, но тетя посмотрела на него, и он закашлялся, сел.

Может, маме стало жалко его, и она сказала:

— Что-то с этими ракетами, которые в Европе, я никак не разберусь...

— А это средней дальности, — покосился на жену дядя Салим. — Они всего на пять тысяч километров летят, они...

Но его перебил дедушка:

— Весна рано пришла. — Сломал сигарету, половину вставил в мундштук.

Все переглянулись и захихикали. Дядя Салим обиделся. А дедушка снова закурил, налил себе еще чаю (почти одну заварку), на трех пальцах держал, двумя откладывал, отщелкивал стертые кое-где от повторяемых многочисленных движений зерна четок.

— Когда весна такая беспокойная, петухи, бывает, до смерти дерутся. Воевать хотят. Все воевать хотят. Значит, солнце такое. Лето жаркое, сухое будет. Урожай сгореть может.

— Ну и что ж нам теперь делать, муллу в сахарную головку закатать? — Дядя Салим старательно слепил точную копию той первой улыбки (с ямочками на

лиловых щеках), которая в свое время обольстила классную руководительницу, ставшую впоследствии женой. Теперь этот образец добродушия и наивности предназначался исключительно дедушке: ведь не вечны же люди, люди уходят и после себя всегда что-нибудь да оставляют, было бы хорошо, если бы Чалсач, вот как сигареты свои «Аврора» ломает на две равные половины, поделил это «что-нибудь» между двумя дочерьми.

— Раньше на гору к Белому камню ходили.— Дедушка стряхнул со скатерти никотиновые катыши, оставшиеся после чистки мундштука.

— Это за виноградниками, где человечки нацарапаны? — спросила мама.— Нас туда когда-то учительница по русскому и литературе водила.

Дедушка кивнул ей, перевел взгляд на картины.

— Просили, чтобы ОНО уступило, чтоб подобра дождем все кончилось, миром. Если дождь будет, земля напьется, тогда каждая яблонька сок возьмет, урожай родит.— На картинах внука он не нашел ни виноградников, ни Белого камня, ни человечков, ничего, что бы тронуло его, разве только...

— Что «ОНО»? — не поняла Арзу, отвлеченная шептаниями матери и тети.

...ничего. Ничего такого, что бы тронуло, задело, вот только одна картина, на которой стройный серебряный подсвечник отражался в голубом тумане зеркала. И подсвечник этот, и зеркало (он был уверен, что отражения никуда не деваются, а хранятся, как в фотоальбоме) дедушка знал с детства. Затуманенный голубой овал, вставленный в ореховую раму, младшая дочь хотела выбросить. Насилу убедил оставить.

— Ничего-ничего! — Дедушка наклонился к Арзу.— Все у тебя еще будет.— И по плечу погладил, осторожно, как если бы это был чужой, малознакомый человек.

Старик погладил девочку по плечу, сам же, будучи не в силах оторваться от крепкого сцепления мыслей, в тот момент занимавших его, решил про себя, что было бы хорошо прямо сегодня вечером, разумеется, когда гости уйдут, когда домашние перемоют всю посуду и наконец улягутся спать, пробраться тихонечко на кухню с подсвечником в руке к старому зеркалу, к старому своему лицу, к своей неприкрытой, прозрачной сущности, освещенной теплым, трепещущим огоньком свечи; он будет там стоять столько, сколько потребуется для перелистывания всех отражений старого зеркала, потом выберет свои, только свои, от первого лица (узнает ли он себя?!) до последнего (как много всего между ними, как уже устал!), сбросит в темную пропасть зеркала прошлое и неизвестное, оставив только длящееся в СЕЙЧАС мгновение, а затем... затем он сделает главное — положит предел, и тогда, возможно (а такое уже раз было: Севастополь у немцев отбивали и перед самой атакой крымских татар!..), он опять увидит, как разлагается и составляется целое, он увидит отдельно себя, отдельно свое отражение, и это будет все равно, как последний узелок на память завязать, последнее зернышко на четках отложить...

Дедушка встал из-за стола, припадая на одну ногу, ушел, и все думали, что он совсем ушел, спать, а он вернулся, принес, подарил Арзу бабушкин пояс с тяжелой чеканной пряжкой и серебряными рублями.

Неужели бабушка когда-то могла застегнуть на себе пояс? Вот как Арзу — надела свободно, и все, и еще место осталось...

Мама, глядя на талию дочери, вздохнула. И дядя Салим тоже вздохнул, но совсем по другой причине — теперь этот пояс не поделишь на две равные части и монетки не срежешь.

Миная-ханум ушла первой: весна всегда много свободного времени отбирает, а в этом году не успела начаться!, а уже столько предложений!.. Половину тетради исписала.

В прихожей, стоя на одной ноге, рукой держась за ручку двери, на которой висела, покачиваясь, ее белая лакированная сумочка, она сменила туфли. Парадные, на высоких каблуках, сунула в пакет, взбила, подправила у висков ржаво-рыжие волосы, сказала маме:

— К вечеру ноги отекают... Скоро узкие на каблуках носить не смогу. В Баку одна семья есть... Трехкомнатная квартира недалеко от памятника этой шлю-

хе, которая чадру сбрасывает... Паркет — люкс! Как в музее. От хрусталя все горит. Ковры, машина, дача... Короче, все, как у людей, даже лучше...

— Рауфу?

— Рауф не девочка, подождет. А вот дочь твоя... Разве сама не заметила, в глазах у нее уже щейтанчики пляшут?

Гости вскоре разошлись, но Арзу еще долго не могла уснуть в тот вечер. И с тех пор так и пошло: она рано ложилась и поздно вставала. Лежала в своей маленькой комнате, которая раньше была отцовской, а потом брата, с окном во двор, бугристым потолком и стенами, облепленными темперой и гуашью Рауфа, лежала в полной темноте, в тишине и о чем только не думала.

Вот раньше Земфирка от Рены-пончика из 8-го «А» класса не отлипала просто. На переменах вместе в туалет бегали и торчали там до самого звонка. А теперь — от Арзу ни на шаг. То в дом культуры предложит сходить на такое красивое арабское кино (билеты почему-то оказались у Самеда с ребятами), то позовет печенье по рецепту испечь, а сама у нее о таких вещах спрашивает, когда они одни остаются, что Арзу просто стыдно становится; а то попросит русским заняться, мол, боится очень, что в четверти двойка выйдет (можно подумать, у нее по другим предметам двоек мало). Недавно ночевать попросилась. Полночи шлепала по комнате босая, спрашивала: «Ну что, они у меня правда повзрослели? — Двумя руками приподнимала груди (соски такие темные, круглые, как испуганные глаза прямо). — Сейчас в Баку всем худые нравятся. — А потом: — А ты ничего. Интересная штучка! Ноги только побрить надо. И мама у тебя в ателье работает. Хорошо! Пусть платье нам сошьет, как у той... ну из фильма «Цена чести», помнишь?.. Одинаковые. Только у тебя черный пояс будет, а у меня — красный». Арзу согласилась, но чутьем девичьим еще раз поняла: это она из-за Самеда с ней крутится. Как увидит его в школе, не знает, куда ноги свои деть: то забросит одну на другую, то далеко вперед выставит, крестом сложив, чтобы верхняя икра прибавила в объеме, поаппетитней казалась, знает она, конечно, что ноги у нее красивые. А у Самеда сразу, как увидит ее, ноздри раздуваются, задом своим, будто хвостом, играет и такую чушь несет, такие глупости говорит!.. Над отцом смеется, над дедом... Такое впечатление: всех предаст, всех родственников к ногам ее длинным бросит. Может быть, Арзу свою мать тоже не совсем понимает, однако же не смеется над ней, над тем, например, что она то расхвалит Самеда, то вдруг ни с того ни с сего заявит: «Баку — город большой, там всего хватает, а вот невест хороших в районах почему-то находят. И если Аллах тебя в семью хорошую пошлет, мы с бабушкой спокойны будем». А бабушка кричит сразу на нее: «Дочери судьбу, как платье, шьешь!»

Потом Арзу задумывалась о старшем брате, который оканчивал институт в Баку. И каждый раз с брата мысль перескакивала на кого-то другого, неопределенного. Иногда он виделся ей похожим на Самеда, только с другим характером, иногда на Рауфа, а если ей хотелось сделать его старше (а ей почему-то всегда этого хотелось), она прибавляла этому неопределенному побольше мяса в грудь и плечи, снисходительности во взгляде, залысин над шишковатым лбом и тонкие-тонкие, сверху подбритые усы, как у того адвоката из фильма «Цена чести», который сам пошел в тюрьму из-за племянника, что испортил ту самую девушку, на которой было то самое платье, сшить которое предлагала Земфирка. Иногда она старалась представить его портрет более подробно, в незнакомой обстановке (сначала богатые дома, потом попроще, ближе к действительности), чтобы испугаться так, как только может испугаться женщина мужчины, которого давно ждет; но у нее ничего не получалось: подводила какая-нибудь деталь (иногда связанная с такой ерундой, как время года), волной смывавшая весь образ; тогда она закрывала лицо руками, стыдясь саму себя, не зная за что, и, чувствуя, какой горячей становится, как тянет снизу живот, с головой накрывалась одеялом, будто освобождаясь от неподвластного ей уже в эти минуты тела, стискивала колени до судорог, до одной пульсирующей точки, до придавленного вздоха, а потом... потом, отрекаясь от себя, от своего имени, проваливалась в

сладостный сон. Утром трудно просышалась, подолгу расчесывала волосы, требовательно и придирчиво вглядываясь в зеркало, пока к ней вновь не возвращалось ее имя и все, что с ним связано, скреплено.

## 2-А

Темно.

В лучшем случае горит только каждый третий фонарь.

Тихо.

Только собаки передают их от забора к забору. Неудобно. Как будто кого-то потревожили. Как будто этот самый потревоженный ведет их взглядом до самого конца улицы.

Конец улицы в нескольких шагах. Сейчас они свернут направо.

Свернули...

...Сверкнули глаза кошки. Кошки в темноте всегда не просто кошки. Кошки в темноте, на тихих чужих улицах всегда смотрят так, будто посланы в дозор из будущего и им наперед известно каждое твое следующее движение. Кошки в темноте смотрят на тебя с еще большим безучастием, чем в любое другое время дня.

Дома в основном каменные, двухэтажные, однотипные. Даже ворота, крыши и веранды, даже телевизионные и радиоантенны... Даже сирень.

А вот и первый деревянный дом. Деревянный в кругу деревьев. Старый. Су-тулый. Дом — как символ оседлости. Он здесь точно сам по себе. Как дерево. Как растение... Как дом! Сколько поскрипывает в нем добрых духов? Дух дверей. Дух окон. Дух огня...

Вдруг Агамалиев остро почувствовал: что для него целый город, то для здешнего человека, наверно, вот этот дом, вот эта пядь земли, другой дом, но так же судьбоносно растущий из почвы, такое же продолжение ландшафта без четырех, шести, восьми... углов.

— Давай сюда! — Рауф просунул руку за калитку, отодвинул щеколду.

## 3

Вдруг среди ночи Арзу проснулась от шума, от звуков голосов в гостиной. (Померещился материнский всхлип.)

Девочка сначала испугалась, но тут же, узнав голос брата, кинулась туда как была — заспанная, растрепанная, в старой длинной ночной рубашке со следом от утюга.

Подскочила. Повисла на брате. В черную щетинистую щеку чмокнула.

Вспомнила, как мама говорила, если долго не было писем от него: «Рауф не вернется к нам. Он же архитектор будет. Он захочет в большом городе здания строить». Арзу прижалась к нему. Услышав родной семейный запах, как маленький зверек, шумно втянула его носом, крепко обхватила брата руками, но тут... Арзу отстранилась. Поправила ночную рубашку, как если бы на ней было платье, то самое, что сшила мама. За спиной Рауфа она увидела...

Афих стоял за спиной у Рауфа, как стоят люди, впервые пришедшие в дом и из тактичности не позволяющие себе отступать далеко от человека, взявшего на себя ответственность ввести их в этот дом, ожидающие первого знака внимания от хозяев, знака, от которого зависело направление следующих движений гостя и вообще его дальнейшее поведение.

А пока он застыл в позе того самого юного предводителя древних евреев (беломраморность которого всегда казалась Арзу безвкусной выдумкой музейных работников) из альбома-путеводителя, доставшегося ей от Рауфа вместе с другими альбомами и репродукциями.

«Точно так же голову повернул, — сравнивала она, — нахмурил брови, серьезный такой, и строгий, как у старика, взгляд, одну ногу отвел, совсем расслабил, согнул в колене. Он даже руку точно так же поднял, только вместо этой штуки, ну которую камнем заряжают, он перекинутый пиджак на пальце держит...»

Казалось, уже где-то видела его. Может быть, он приезжал в Шемаху раньше?

И, когда после: «Здравствуйте, здравствуйте. Что же вы не проходите?.. (На двух языках — признак доброжелательности и тактичности.) Проходите. Проходите...» — он прошел, шагнул в смягчающую тень, она все поняла, она узнала его. Теперь ей уже не нужно было прибавлять побольше тела в грудь и плечи. Правда, лоб у него был совсем не круглый, не шишковатый и еще без залысин, да и усами, чуть подбритыми сверху, он тоже до сих пор не обзавелся. И к этому необходимо было привыкнуть прямо сейчас. Немедленно.

Арзу заставила себя взглянуть ему в глаза и, когда не выдержала его встречного взгляда, шумно втянула воздух ноздрями (точно так же, как сделала это несколькими минутами раньше, когда зверьком маленьким обнюхивала брата), почти тут же выпустила его и убежала к себе в комнатку.

Она стояла, прижавшись к прохладной стене, соображала: что же ей теперь делать?

Афик сидел и инспектировал каждый угол гостиной. Удивлялся: вот точно такой же дом он видел на Западной Украине. Как Советы всех подравняли, ничего своего, национального, кроме второго языка и климата. От окна, от трехстворчатого с зеркалом платяного шкафа, двух швейных машинок («Зингер» и электрическая, какие в ателье стоят), рахитичного стула, еще одного окна добрался до картин (как вошел, хотел прямо с них и начать, но это было бы верхом бестактности по отношению к Рауфу), подумал: «Почему все, что висит над диваном, все равно в каком сочетании, всегда немножко кажется уступкой мещанскому тщеславию? Лучше бы они повесили картины над креслами и журнальным столиком. А еще лучше, чтобы картинам тесно не было и тут, и там».

Четыре работы почти одинакового формата. Где-то шестьдесят на тридцать. Три из них (горизонтальные) — так себе: случайная регистрация случайных связей и импульсов, правда, не без местечкового обаяния, но и оно, обаяние это, немедленно исчезло, как только сам автор, уже по-столичному не акцентируя промежуточные движения, шумно уселся на диван, причем на самую его серединку, на самое что ни на есть насиженное местечко, развалившись по-домашнему, — кощачья жалоба; а вот последняя, четвертая картина (почему не под стеклом?), картон, темпера, масло тонким слоем, изображавшая серебряный подсвечник (если бы он его смелее стилизовал: еще чуточку выгнул в первой четверти, дал общий наклон, уменьшил огарок), отражающийся в холодной мути старинного зеркала (одна лишь теплая точка — от задудой только что свечи), напомнила ему Шагала, не хватало только маленького человечка на самом краю стола и чтобы за головой его дугой восходила большая спинка стула (при определенной доле воображения и подготовленности зрителя принимаемая за нимб); но ведь это уже было, это уже есть в частной коллекции. Даже если Рауф и разглядит в своем же подсвечнике стройный ствол ионической колонны с заворотами на капители по обеим сторонам, а он может, какой он сделал портрет Гызханум\* с Юлькиными глазами, но он не разглядит, он не прозреет, не захочет: по-провинциальному слишком значителен, серьезен и по-столичному удобен, мягок, как то теплое место, на котором он развалился по-домашнему. Он еще не знает, что самое долговечное — улыбка. Простая, человечья. Его Гызханум начала стареть уже в автобусе. Когда мы приедем и повесим картину в центральном зале, она будет двухсотлетней старухой с глазами шлюхи, и даже имя ее не спасет. Но ни Аббас, ни Рауф этого не заметят.

А это что еще за ковыляющий старик времен отделения тверди от воды?

Рауф вскочил с дивана...

Старик и Рауф обнялись, похлопывая друг друга по спинам.

Решив, что для начала хорошо было бы просто сосредоточиться все равно на чем, она отошла от стены. Двинулась к шифоньеру, потом метнулась к письменному столу, затем села на кровать.

---

\* Гызханум — госпожа-девушка (азерб.).

«Как называлась та штука, которая мечет камни? Как можно маленьким камнем убить чудовище?! Что-то похожее на то, как зовут соседского кота. Проща... Ну, конечно, проща она называется. Лапы пушистые... мягкий такой, потрется и запрыгнет. Если с колен сбросишь, обижается... Снять ночную рубашку, быстро переодеться... Утюг... След... Неужели он увидел? Нет, он не мог увидеть, он же голову повернул... И Рауф меня загораживал... Сейчас-сейчас, встану и переоденусь...»

Она надела недавно сшитое матерью платье, комбинированное, из трех цветов, с небольшим вырезом сзади (спина видна, вот здесь ямочка! И с другой стороны точно такая же... Надо только не сутулиться... Мама все время говорит: «Сутулишься»); очень красивое платье, точно как у той девушки из арабского фильма «Цена чести». Она влезла в туфельки на каблуках и... никуда не пошла, не вышла.

— Она у нас стеснительная,— услышала Арзу голос матери.

— Я сейчас пойду приведу ее, дикушку,— сказал брат.

Арзу вздрогнула. Прижала ладони к полыхающим щекам.

— Ты что? — спросил Рауф, входя в бывшую его, а теперь ее комнату.— Идем, идем!

Девочка замотала головой.

— Смешная...— Брат пожал плечами, вышел.

— Не суется, мама. Мы ненадолго. Проездом,— говорил Рауф в гостиной.— Просто давно вас всех не видел. У нас дела в Казахе. Оформляем музей Моллы-Панаха Вагифа. Машина забарахлила. Я нашего шофера на автобазе у дяди Салима оставил.

В гостиной молчали.

Арзу насторожило это молчание и придало решительности.

— Как же так, сынок?! Не успел приехать и... Дедушка, вы слышали, что он говорит?

«Выходит, смешные мы у него!» — И, на брата разозлившись, она наконец вышла из своей комнатенки.

— Мама, это работа, понимаешь?

«А в этом доме умеют держать паузу»,— подумал Афик.

— Так что ты нам приготовь быстренько поесть. И в дорогу тоже придумай чего-нибудь.

В гостиную она все же не вошла. Встала в дверном проеме. Прислонилась к косяку с давнишними отметинами ее и Рауфа роста чернильным карандашом. Скрестила руки на груди. Уже смело смотрела на...

А он, ну на таком плохом азербайджанском, так смешно у него вышло, спросил у дедушки разрешения закурить, достал пачку сигарет, раздавленный коробок спичек, посмотрел на одни часы, на другие. Зачем так торопиться?

«Я этому хромоногому Иезекиилю определенно не понравился,— заметил про себя Афик,— иначе старик не ответил бы мне на русском, только на русском, да еще на «вы», точнее на «ви». Ну, что поделаешь, видимо, в свитке с пророчествами сегодняшнего дня,— снова посмотрел на часы с боем, потом почему-то на девчонку в дверном проеме,— да, пожалуй, уже не сегодняшнего дня, в свитке с пророчествами меня не было».

За дедушкиным столом он быстро поел, быстро выпил чаю (а ведь такой горячий был), закурил и, вместо того чтобы хоть раз посмотреть на нее, как Самед на дне рождения, все почему-то поглядывал на часы в комнате.

Но, как это часто бывает, если один смотрит на другого, то и тот, другой, нет-нет да и посмотрит в ответ, сначала мутным, несобирательным взглядом, а потом уже, удивляясь резкости взгляда другого, фокусирует свой, так и Афик на Арзу посмотрел, подумал: «Надо же, какая молоденькая, даже родинки на плечах еще толком не пропечатаны, а уже такая решительная, вон как руки на гру-

ди скрестила! Прямо захватчица. Нет, правда, красиво стоит! Готовый портрет. Есть даже название — «Шемахинская царица». Свет на нее мягко падает. И фон не чернит, обещает лампочку в коридоре... Дядя сейчас бы непременно кинулся ее фотографировать, и я бы...»

И он вспомнил бульвар в Баку, старый, еще до реставрации, еще когда на сваях не стояла передняя его часть и за оградой полоска берега была. Вспомнил широкую и длинную скамейку напротив причала с пассажирскими корабликами. В тот день они вышли с дядей на съемки. Была пасмурная погода, но именно такую дядя и ждал давно. Он немного поработал с Афиком, потом несколько раз щелкнул беззаботных восточных стариков (они, как казалось дяде, очень шли к этой погоде, «Грустный мотив», — сказал он), потом твякающий, вертлявый выводок щенят с матерью, похожей на capitoлийскую волчицу, в пробитой лодке на берегу, а потом... Потом дядя увидел ее, ту самую девушку, узколицую, с кошачьим разрезом зеленых глаз. Она сидела на скамейке одна и читала книгу. Толстую, большую, как телефонный справочник. Дядя предложил провести операцию, которую они между собой называли «Внимание, фотограф!». Это означало, что Афик должен встать между дядей и его «жертвой», а в нужный момент по сигналу отойти. Так и сделали. И все вроде бы получилось. Но кто мог подумать, что на этот раз жертвой окажется сам дядя и Афик будет, по-своему, конечно, причастен к этой затянувшейся (для всех троих?) истории! Он по наущению дяди спросил, что она читает, и это длинноногое коварное создание (как заискрились в этот момент ее зеленые глаза!) ответило, что не читает, а перечитывает Пушкина. Афик предложил составить им компанию, пройтись вместе по бульвару. Девушка, не повернув головы, а просто скосив глаза, спросила, сколько же ему лет. Он хотел сказать — тысяча, но не ответил из-за ее скошенного сверху вниз взгляда. Тогда девушка повернулась к нему, потрепала по волосам и согласилась. А еще через семь-восемь скамеек академический Пушкин (такие тяжелые книги только дома читать, на пюпитре) перекочевал из ее рук в чуткие, взволнованные дядины руки. Только теперь Афик понял, почему тогда, когда мама попросила его догнать дядю, просто постоял во дворе — и все. Почему в тот вечер, когда Юлька не открывала ему дверь, пряча у себя Рауфа (ведь слышал же встревоженную беготню по квартире, слышал гулкое шлепанье босых ног, оскорбительное для него шушуканье), опять-таки просто постоял и ушел, а потом изо всех сил старался сделать вид, что ничего не знает? Истории с участием троих и больше — не для него. И если жизнь принять за скольжение, тогда да, дядя прав, скользят только по одному и все выемки в прошлом только за твоей спиной. Но есть же точка, с которой начинается любое скольжение? Может он ну хотя бы на недомогание сослаться после этого скошенного сверху вниз взгляда поклонницы Пушкина (есть подозрение, что величина и тяжесть книги служили лишь приманкой) и увести дядю, тем самым спасая его, и себя. Разве мало места на бакинском бульваре?..

«Не торопись! — просила его Арзу. — Ты же ничего не знаешь. Я ведь даже не вошла в комнату, не повернулась к тебе лицом, чуть прищутив глаза, как Земфирка, когда себя показать хочет, не подняла прядь со лба округлым движением до плеча голой руки, как та девушка из кинофильма «Цена чести». Когда я войду, а я войду плавно, я словно бы проплыву перед тобой, — ты обязательно должен встать со стула, непременно должен быстро подняться и поправить галстук (почему ты без галстука?! в фильме же был галстук), ты должен... ты сам еще не знаешь, сколько ты мне должен!»

С улицы просигналили. Потом еще раз.

Рауф хлопнул товарища по плечу.

— Ну нам пора, дед, это наш автобус.

Мать протянула сыну пакет с едой.

И тогда Арзу бросилась в гостиную.

— Что ты, маленькая? Чего ты боишься? Что с тобой?! Ну не плачь, не плачь, я скоро приеду. На обратном пути обязательно к вам заеду.

Уже стукнула калитка.

Мать плеснула полную кружку воды вслед.

Арзу стояла посреди комнаты, уронив пустые, какие-то лишние и чего-то лишённые теперь руки.

Старый дом, разбуженный было приездом гостей, снова затих. Поскрипывал. Покряхтывал. Готовился вновь отойти к глубокому сну.

Дедушка сидел за столом и листал забытый Рауфом журнал.

Последний кроссворд был почти не заполнен.

На самом краю кроссворда, в шести клетках по горизонтали, будто неосторожная, будто слишком явная подсказка ко всей задаче, тем самым как бы разом определившая всю недалекость подсказчика, — женское имя, дважды повторенное: «Юля Юля». Дедушка сломал сигарету, задумался: «За первой Юлей — мужчина, за второй Юлей — мужчина, но ни у одного из них Юли нет, потому что они еще не стали мужчинами, а когда станут, она им не нужна будет». — Дедушка снисходительно улыбнулся составителю кроссворда, вставил половинку сигареты в мундштук и... не закурил. Мир вдруг увиделся ему в виде бесконечного, огромного, многоклеточного пространства, где в каждой клетке жила своей жизнью, пульсировала еще одна клетка, а в ней еще и еще. Все же вместе составляло единое целое — пульсирующий узор. Целое из бесконечного множества имен, где одно имя оплетает другое, другое — следующее, следующее другое — другое следующее... В чем-то они все похожи, в чем-то разнятся, но каждое из них знает природу Целого, потому что Целое знает и помнит бесконечное множество имен, каждую вещь, каждую крупинку — песчинку, даже если она пока еще не названа, даже если ее пока еще нет. Целое помнит. Целое рассчитывает и доверяет. И ему, дедушке, Оно доверило дважды: первый раз — когда он без имени еще был, а второй — когда забыл его после боя под Севастополем, напшигованный металлом. Вот теперь дедушка закурил. Сделал две глубокие затяжки, как бы ублажая и себя первого — до боя, и себя после него — хромоногого Чалсача. Он и сигареты на две равные половинки ломал, чтобы и тому, и другому. Не обмолвившись ни с кем словом, старик поднялся, предварительно зачем-то решительно хлопнув себя по колену, как это делают обычно люди, собирающиеся в дальнюю дорогу, и, сильно прихрамывая, пошел к себе.

Помыла посуду мать. Вошла в гостиную и... вдруг... за окном — как днем светло! Треск... На небе желтая ветка, словно от невидимого ствола отломилась она.

А потом опять слились в темноте дома на улице.

Загремело. Раскатилось. Прямо над крышей. Низко. Страшно...

И снова полыхнуло.

И опять задрожали стекла. Затрепетала, зашумела, наклонилась листва.

Журнал на столе забил страницами, как крыльями. Мать кинулась закрывать хлопнувшее окно.

Обсыпанный пеплом журнал упал сначала на стул, потом на пол.

По стеклам уже стучал дождь.

Арзу стояла в платье, сшитом матерью. Она стояла у окна съезжившись (спина и руки в мурашках), хотя ей совсем не было холодно, и смотрела в сад. А дождь все лил и лил... Щедрый. Проливной. И ей так хотелось под дождь. Промокнуть. Продрогнуть. Насквозь... как та дедушкина яблоня под окном. Как виноград. Как все кругом. Чтобы стучал он и бил по ней, как по стеклу, как по дороге за стеклом...

### 3-А

Гулко шлепнулась на ступени выплеснутая из чашки вода. Сырой этот звук немедленно собрал вокруг себя все запахи, пропитав их фиолетовой влагой. Один из них Афик распознал — пронзительно грустный сиреневый мотив. Посмотрел по сторонам. Слишком было темно. Сирень оставалась только запахом, только шлягерным мотивом, звуком шлепнувшейся на ступени воды. Он поспешил вернуть этот запах темному целому.

Рауф обернулся, на ходу очень легко переложил тяжелый пакет с едой из одной руки в другую, небрежно помахал матери: то ли решил таким образом защититься от наплыва чувств, то ли верил, что такая вот небрежность сократит разлуку, поспособствует повторению жеста.

Мать верно истолковала грубоватую сухость сына, ответила ему всепонижающей и всепрощающей улыбкой, оставаясь в узкой полосе света с пустой чашкой в руке.

Только открыли калитку (Афик отскочил) — темным, смазанным пятном юркнул кот-подросток.

— Прошка-Прошка-Прошка, давай беги домой! Это соседский, с той стороны дома,— объяснил Рауф, переноса всю свою нежность к матери на прощмыгнувшего между ног кота с той легкостью, с какой минутой раньше переложил пакет из одной руки в другую.— Когда последний раз приезжал, у меня молоко пил с ладони. Язык — наждачная бумага.— Хлопнул калиткой, просунул руку, задвинул щеколду.

Из автобуса доносился белый джаз.

Олежка Дрискал в темпе «аллегро» протирал лобовое стекло, будто метрономом служил на репетиции у невидимого музыканта.

— Эй, художнички, шли бы вы скорее! — крикнул он с джазовой хрипотцой, продолжая водить тряпкой по стеклу.— Сначала спустимся, после перекусим. Есть за рулем — последнее дело.

## 4

Только остались позади небольшое, трудно различимое в темноте мозаичное панно (кажется, две женщины набирают воду в кувшины), водонапорная башня (хозяйка пейзажа на несколько секунд), синие пологие холмы, истыканные короткими бетонными столбами, вокруг которых плелись, змеились виноградные лозы, только-только повернули на Агсуинский перевал и открылась взору бездонная темная пропасть,— как затрещит все кругом металлическим треском, точно небо по швам пошло, как ударит, как гроыхнет раскатисто, и оттого, наверное, что всполохи не наверху, а где-то в бездне о камни бьются, и автобус несется туда же, вниз; Афик уперся ногами в коробку с металлическим шрифтом и пожалел, что педаль тормоза не под его ногой...

Прямо перед лобовым стеклом высверк дядиной фотовспышки и... В ярком, слепящем свете оказываются девочка в дверном проеме, бабушка на больничной кровати, за восемью квадратами матового стекла остановилась ханум-медсестра, многоточечная, решительно-однозначная, а вот и сам дядя — ловец Случая и Столкновения, он замер, чем-то недовольный, держит палец у своего лица, за ним на черном жирном повороте показался трамвай; когда все кругом смеркнется, соответствуя часу и времени, когда пространство осторожно зарастет светом и у всего появится своя тень, когда вернется движение и звук,— дядя завершит, наконец, свой монолог, доведет палец от подбородка до другой, пока еще не видимой стороны лица; трамвай, пьяно качнувшись, наконец подъедет к остановке, скрежеща колесами, бабушка выпустит из своей руки его руку, а мама вновь (ну скорей же, скорей!) попросит его догнать дядю,— вот тогда он выбежит во двор, потом на улицу, потом увидит дядю, скользящего вниз с чемоданом в руке, он окликнет его: «Тимур, Тимур, Тима!..», и, если дядя не услышит или же сделает вид, что не слышит, он кинется за ним, он побежит, спотыкаясь и падая, побежит через годы и ошибки. Он кинется жить, он кинется в жизнь, как кинулась в комнату та девочка-царица, перестав быть лишь фотографическим образом, воспоминанием в раме дверного проема, он кинется в жизнь, и ему совсем не будет страшно, ведь спрыгивал же он на ходу с трамвая; самое главное — помнить: если решил спрыгивать, спрыгивай немедленно и только лицом по ходу движения и чуть назад, в прошлое...

— Олежка, тормози! Если что — на середине спуска нам уже не остановиться. Тормози, кому говорю! — И сам же удивился собственному голосу и резкому, волевому тону, а еще тому, что сказал он это сразу же после вспышки молнии, когда все вокруг показалось одинаково белым.

Олежка попробовал было возразить, но Рауф поддержал Афика. Тогда Олежка послушно съехал на обочину, прижал автобус к невысокому каменному бордюру и заглушил мотор под раскидистой высокой чинарой; судя по массивности ствола, его кряжистости, толстой коре, дерево, должно быть, помнило еще времена Моллы-Панаха Вагифа.

Олежка сразу же принялся доставать из пакета еду и раскладывать ее на стопке экспонатных ковров.

Кипела листва. Ветви чинары мотались из стороны в сторону, бились друг о друга и царапали крышу автобуса, словно хотели привлечь к себе внимание.

Афик перебрался на сиденье в противоположном ряду, поближе к дереву. Заглянул через стекло в его густую сине-зеленую крону. «Кто знает, — пришло вдруг ему в голову, — может быть, первый визир Карабахского ханства, возвращаясь из Грузии, от царя Ираклия Второго... Нет-нет, зачем Вагифу нужно было возвращаться через Шемахинское ханство? А вот Гызханум могла проезжать по этой дороге. Могла остановиться под сенью вот этой чинары и долго смотреть вниз: после смерти мужа, сброшенного в пропасть, ее влекли и манили все пропасти на свете. Эта пропасть, наполненная гулкой многовековой тишиной, могла влечь ее сильнее других. Кто-то из всадников, подтягивая ремни на седле пыльного верблюда и любуясь исподтишка своей госпожой, мог вспомнить слова Вагифа: «Кааба моя и Кебела, ты Мекка и Медина моя!» А молодая госпожа, лоя на себе этот пылкий, вождедеющий ее взгляд, думала о том, что теперь за ее спиной стеклянная пустота и на ней ни одной вмятинки, ни одной выпучинки, что соскальзывать вниз, подобно капле дождя по стеклу, всегда предпочтительнее не одной, а с каплями-всадниками и с каплями-служанками. Если бы в этой части земли женщины прятали свои лица под чадрой, как волоокие женщины южных ханств на берегах Хазарского моря, тогда бы хан Джаваншир никогда бы не увидел ее красоты, не возжелал бы ее страстно, не приговорил бы Вагифа и его сына к бесконечно долгому падению, и слагались бы дальше газели, мухаммасы, мустезады... Да. Эта старая чинара могла помнить Гызханум такой, какой она была, — в движениях и поступках, а значит, никак не двухсотлетней старухой, ведь дереву все равно, ему незачем останавливать время: оно ничего не боится потерять, мимо него столько всего спускалось и столько поднималось».

Агамалиев оглянулся на звук сигнала.

Это была «Волга» Аббаса. Она пронеслась на бешеной скорости, едва не вылетев на повороте.

Он подумал: «Вдруг показалось?» — но по тому, как все отреагировали (никто не сказал: «Взгляни!», «Посмотри-ка!», «Кажется, Аббас!..»), увидев промчавшийся автомобиль, он понял, что не ошибся.

Ему почудилось, что высоко-высоко над горами кто-то из крылатых Сотрудников взвел затвор фотоаппарата и направил объектив вслед пронесшемуся автомобилю.

Раздался щелчок...

Нет, это не зерна четок столкнулись на перебресе, и уж, конечно, никто не закрывал портфель-«дипломат», и на спуск фотоаппарата никто не нажимал — зачем бесконечно воспроизводить то, что имело место свершиться лишь раз и утекло в пустоту?! Это щелкнули пальцы мага, бесстрастного улыбающегося факира, бесконечно множащего дороги-пути, чтобы запутывать в своих текстах людей.

Хотя какой из Рауфа маг и факир?! Он просто прикуривает от своей зипповской зажигалки. Трепещущий лепесток сине-желтого пламени украшает его горбоносое небритое лицо светом и тенью. Светом и тенью.

#### 4-А

Сначала — будто вмятинки на стекле со светлыми и темными ободками внизу, а потом потекли то медленно, то быстро, то совсем замирая. Раз. Два. Сильный.

Дождь!

Дождь за стеклом — больше глагол, чем существительное, глагол для живых и мертвых, примета места. Дождь за стеклом — всегда палец у губ. Дождь за стеклом рождает те же чувства, что и запах сирени: смирение, и грусть, и еще какое-то странное ощущение полной собственной наготы.

Он запомнил, повел первые четыре капли. У каждой светлый блик, как на радужной оболочке глаза. Кажется, это он вытягивает каплю. Придает ей форму и зрячесть. Афик решил посчитать, за какое время эти четыре капли соскользнут вниз. Но часов у него не было. Считать пришлось в уме. Конечно, сбился сразу же. Да и при чем тут часы? Как можно отличить десятки, тысячи капель на твоём стекле? А десятки и тысячи на чужих?!

И только теперь он в полной мере почувствовал дождь за стеклом. Проливной. Настоящий. Можно, конечно, дать ему имя, но сколько было уже дождей и сколько имен они посмывали! Пусть этот дождь будет просто дождь. Просто дождь — и все.

## ВСЕ РАВНО ШЕСТЬ

(НЕГОДОВАНИЕ КАК ФОРМА НЕДОМОГАНИЯ)

*Отцу моему Исааку Милькину*

1/3 Джина

2/3 Швепс Индиан Тоник

Немного льда и долька лимона

*Рецепт с бутылки*

## МУЖЧИНА

Кофе убегает по утрам в понедельник, когда за окном едва брезжится, но сегодня было утро субботы, позднее, подогретое переменчивым московским солнцем, стоявшим в самом верху зашторенного окна.

Кофе залил половину плиты.

Затрещал и потух огонь.

Неприятно пахло горелым.

Агамалиев подбирал эти дымящиеся островки на белой плите (какой из них остров Бёклина?!) мыльной губкой, затем коротко споласкивал под краном, на малых оборотах трагически содрогавшимся и певшим пронзительно высоко, вознося мольбы свои по трубам аж до самого потолка, а на больших — свирепо рычавшим и хрипевшим, как взбесившийся азиатский волкодав.

В час похмелья такой легкой кажется душа, такой капризной, своенравной, забудь о ней на одно лишь мгновение и... А голова гудит, а голова раскалывается, и клубок путаных мыслей несешь, точно расплавленный металл в ковше, самая главная, ослепительно яркая — «дожить бы до вечера» — бежит прочь, бежит, курчавясь по узенькому желобку, снопы искр разбрасывая, и вдруг... переливается! «Дожить бы до... вечера, а там... посмотрим», и сердце, мучимое угрызениями совести, тут же гулко отзывается, и то вниз сорвется надолго и спляшет, то заберется так высоко, что глаза жжет и горло сдавливается, будто петлей. После перепоя всегда хочется начать все сначала, коренным образом изменить свою жизнь, но при этом, правда, остаться под тем же именем. Под старым своим именем встать под душ — Афик Агамалиев, мужчина тридцати с чем-то лет, остужает голову теплой, почти холодной водой. А вот он же, Афик, уже тщательно бреется, хоть в этом нет такой уж большой необходимости. Долго водит жилетовским станком против волосков. Потом, после бритья с припарками, со всей придирчивостью, непоколебимой суровостью смотрит на себя в самое холодное и безжалостное из всех имеющихся в доме зеркал — разумеется, новое, и старому своему лицу, и старому имени выносит решительно приговор. (Сударри и сударыни, прячьте новые зеркала, берегите старые: отражения бабушек и дедушек заступятся за вас в судный день!)

На следующее утро после перепоя, после ванны, бритья, последнего взгляда в зеркало и установления причин случившегося накануне тебя словно пророки куют.

Зазвенел ростер. «...нет в тебе Бога, когда нет свободного времени. Когда ты не можешь подойти к окну, раздвинуть дома, загораживающие горизонт, и взглянуть на ослепительное солнце в Его руке».

Он достал хлеб с ветчиной и сыром. «Нет Бога, когда птицы залетают в метро и поют весну в переходах для торгашей, бомжей и нищих, а затем, так и не сложив свою короткую птичью песню и больно ударившись о бетонное небо, уносятся в глубокие черные дыры вслед за поездами».

Вылил в чашку остатки кофе. «Большие города отбирают Его у тебя. Он умирает на улицах, под фонарными столбами, Он умирает в ослепших окнах, на рекламных щитах, вдоль шумных автострад, на грязных вокзалах и в дорогих супермаркетах, Он гибнет в словах: «принято полагать», «а вот мне так не кажется» и, брошенных про себя, «все-таки, я был прав», но чаще всего в подземных лабиринтах метрополитена, в которых исчезают люди и птицы».

Очень хотелось курить.

Долго отговаривал себя: сердце... во рту горечь... Закурил и даже не заметил как.

«Кошке Заболоцкого уже нет места на подоконнике. Все, что остается у меня от Бога,— это мазурка Шопена, пушкинский Онегин, импрессионисты на Кропоткинской, кунцевский лесопарк, зеленый жетон подземки в кармане, ржавые скрипучие поезда, неприкрытый зевок пучеглазой хозяйки четырех долгих эскалаторов в будке внизу, последние автобусы и трамваи, норовящие соскользнуть с маршрута, забытые телефонные звонки, другая женщина, вышколенная попутница моих снов, силою «здорового смысла» отложенная до лучших времен, пустой разговор с женой, оборванный хлопнувшей дверью, постоянные боли в позвоночнике и мои с мясом вырванные девять лет назад бакинские крылья на согнутом гвозде в генеральской кухне на Соколе... Все, что хочу я,— это найти утром то, что потерял ночью, и ночью — то, что никогда уже не найду ни в одно из утр!»

Со всем, терзавшим его *этим* утром, Агамалиев вроде бы согласился, а вот было ли его последнее решение ошибкой?.. Тут пророки почему-то хором замолчали.

«Что опять не так я сделал? — спрашивал он себя, бросая два кругляша в стакан с водой.— Не могу я жить в таком загоне (вода в стакане закипела, Агамалиев походил сейчас на средневекового алхимика), в лихорадке такой. Мне ведь ничего чужого не нужно. Да, все кончилось, кончилось много раньше, чем ты думаешь. К чему вся эта ложь, Лена? Да, я ушел с работы. Я еще не то делаю, если посчитаю необходимым».

Пошла не в то горло шипевшая от аспирина вода.

Наехали углы кухни.

До предела сдавился мир.

В глазах потемнело, и вознеслось высоко сердце.

Вчера его мать уехала в Баку.

Бела-ханум уехала не одна — с внуком. Перед отъездом волновалась. Все бегала, перекладывала авиабилеты из одного места в другое, потом спохватывалась, искала документы, деньги, подарки родственникам... Впервые она ехала отдыхать не в Сочи, Гагры, Пятигорск и не в подмосковный пансионат «Березки», а в город, в котором родилась и прожила без малого пятьдесят два года и из которого ни за что бы не уехала, если бы... То, что для одних голоса избирателей, для других — свой собственный голос, вдруг ставший чужим, бестактно задержавшимся в этих старых стенах, в этой гулкой, пустой квартире, такой свободной, такой большой, какой она была лишь однажды, когда в нее въезжали (хотя Бела-ханум в дом невестой пришла, в шумную хлебосольную семью, и вот теперь, уходя последней, делила резонансы квартиры, отзвуки прошлого с огне-

бородым домовым, добрым хранителем очага беков Агамалиевых); то, что для одних — защита диссертаций, для других — последний погром, последний паром, расстрелянный из «Калашникова» город (город уже с маленькой — еще меньше, чем принято писать в черновиках — буквы), крики, дребезжание стекол, бессилие азербайджанских и могучих русских слов, комок раздирающей горло немоты и полная пустота внутри.

Что касается Бела-ханум...

Вот уже больше шести лет прошло, как она решилась и продала квартиру на Второй Параллельной.

Как ни хвали родное гнездышко, а квартира все ж таки была полукоммунальная, то есть туалет общий, и потому продавать ее пришлось долго. Мучительно долго. Бела-ханум продала ее за совершенно мизерную сумму, прекрасно понимая, на что может рассчитывать с такими деньгами в Москве, но оставаться здесь она больше не могла, и совсем не потому, что Баку-Азербайджан хуже Москвы-России, просто она поняла, что живет уже в другой стране, в которую сын не только не вернется, но вряд ли сможет приехать и, если она не уедет отсюда, сына и внука больше уже не увидит.

В Москве она сначала остановилась у своего брата на Красной Пресне. Через несколько месяцев сняла комнату в коммуналке. Потом снимала другую, третью, затем жила в семье у подруги, потом опять снимала.

Сын помогал ей тайком от жены.

Часто приходил не один, когда Бела-ханум бывала на работе.

Мать не задавала ему лишних вопросов.

Один раз только возмутилась, сказала: «Ну что, нельзя было простынь холодной водой застирать?! Хотя бы замочили».

Год назад она почувствовала, что устала уже от переездов, меняющихся пейзажей за окном («как будто я в поезде и никак приехать не могу»), посоветовалась с сыном, решила влезть в долги, купить себе хотя бы комнатку. Она продала неполный бриллиантовый гарнитур свекрови (последнее, что оставалось), подзаяла еще денег.

Тем временем Афик встречался с маклерами. Искал комнаты и квартиры на первых этажах. Даже нанял для консультаций юриста, хамоватую пробивную девчонку с сильным южнорусским акцентом.

Перед очередным скачком цен ему повезло. Совершенно случайно, как у нас водится, через-через, нашел однокомнатную квартиру за баснословно дешевой ценой недалеко (две трамвайные остановки) от станции метро «Сходненская».

Прежде всего Афика расположило само название станции. «Давно пора было сходить, сходить — значит прощаться с прошлым, значит ставить точку, ведь от Баку до Москвы так далеко стало, а от Москвы до Баку и того дальше». Он говорил матери в начале мая: «Очень хорошая квартирка, не так далеко от центра, до меня на шестом трамвае без пересадок, телефон... Знаешь, во дворе бельё на веревках висит и, если ветер сильный, закручивается, как в Баку».

Бела-ханум согласилась. «Алахимагурбанолум», — сказала Бела-ханум и на следующий день пошла в церковь Иоанна Предтечи.

Взойдя на паперть, она раздала нищим деньги (нищие — два краснопресненских алкаша), купила большие, мягкие, как только что выпеченный хлеб, свечи. Почему-то испугавшись храмовой иконы, все три поставила Богородице. «Такие глаза у нее удивленные, грустные, сожалеющие... хорошие глаза, — решила Бела-ханум, — и вообще, если уж доверять кому-то самое сокровенное, то, безусловно, женщине с ребенком». Она благодарила Бога на двух языках, и ей казалось, младенец слышит ее.

— Ты что, специально радио включил? — раздраженно спросила женщина, надевая на себя его голубую джинсовую рубашку.

— Я думал, тебе не слышно будет.— Он даже не обернулся. Если бы он это сделал, женщина увидела бы темные от злости глаза, крепко сжатый рот с белым аспириновым уголком, две напряженные выпучины над переносьем.

Женщина подошла к магнитоле. Она поискала и нашла другую волну, более мягкую, более легкую.

— Я всю ночь скатывалась с дивана. Он весь разбитый.

— Надо было поменяться местами.

Он давно уже не хотел на нее смотреть, когда она одевалась или раздевалась или же ходила полуголая по комнатам, гулко шлепая босыми ногами.

Елена Викторовна это чувствовала, потому обошла мужа, встала у окна и потянулась. Она потянулась, занеся руки за голову (хрустнуло в спине) и сплетя пальцы, словно позируя фотографу для мужского журнала (эта ее поза с налетом романтики: «Здравствуй, Ярило!»),— так не шла женщине увядающей, женщине хваткой и хищной во всех отношениях, что Агамалиев не мог не скривиться), затем подняла руки над головой, чтобы высоко задралась рубашка, опустила одну руку (поза как раз для журнала «Здоровье» времен застоя) и пальцем отодвинула край занавески (скатился картофельный шарик с борной кислотой: Бела-ханум выводила тараканов), посмотрела вроде как на улицу, на другую сторону, а на самом деле через отражение в стекле следила за мужем, заметила, как он пристально смотрит на нее, разглядывает ноги. Под медоточивый голос Джорджа Майкла она стала на цыпочки: в таком положении напрягаются икры и подтягиваются бедра (он, конечно же, это отметит, и потом вечером, а может быть, даже днем!..). После всей этой предоконной гимнастики она почувствовала в себе силы для борьбы, повернулась к нему, сказала:

— Нет, спать надо у себя дома, в своей кровати.

Он попробовал улыбнуться, но улыбка не вышла.

— Спать? Да. Спать лучше дома.

Она перестала покачивать головой в такт легко зарабатывающему на хлеб саксофону, опустила руки и застегнула пуговицу на рубашке. Одну. Посередине. Сделала тише радио.

— Что за намеки, Агамалиев?! Я что, давала тебе повод для ревности?

Он хотел сказать: «А что, я похож на того, кто ревнует?», но предпочел не ввязываться сейчас в перепалку и предложил ей на выбор: омлет, или поджаренный хлеб с ветчиной и сыром, или и то, и другое.

— Сначала лучше кофе,— сказала Елена Викторовна и, все ж таки доверившись отражению в стекле, минутой раньше показавшему ей, что еще не все потеряно и она все еще близка мужу, хотя бы как женщина (а разве этого мало?!), добавила: — Я видела сон... Говорят, сны надо записывать, чтобы ничего не пропустить, если есть соевый соус, капни в кофе, или пересказать близкому человеку.

Последние слова она произнесла с нажимом. Хотела еще раз проверить его. Его и себя.

Он заметил глубокие морщины на ее лице. Заметил их лучи у глаз, две глубокие — у самых излучин губ; те самые две морщинки, которые так ему нравились ранней юностью у зрелых женщин и которые он почему-то относил к их глубокой осведомленности и многоопытности в вопросах определенного свойства.

— Кофе, сначала кофе! — еще раз сказала Лена, когда пенка в турке начала подниматься, и, во второй раз поверив отражению в окне, а не своей интуиции, поведала ему сон.

### *То, что знает она, но не знает он*

*Он не знал, что прошлым летом жена ездила отдыхать в Испанию с очередным своим возлюбленным, бывшим комсомольским вожаком, а ныне преуспевающим торговцем надувными фигурными шарами и мягкой детской игрушкой. А ведь*

*мог бы по телефонным звонкам (отбой в ухо или же вкрадчиво, на пиано: «Лену, будьте добры»), по бесчисленному количеству этих самых шаров и игрушек у Мишки в спальне хотя бы призадуматься.*

*Не знал он самого главного, что за два года партнерства с турком, партнерства, вроде бы во всех отношениях такого выгодного, благополучного, она задолжала господину Анверу большую сумму денег, не считая товара на складе и в магазинах. Тут, правда, и сама Елена Викторовна никак не могла предположить, что после чудесно проведенной недели в Стамбуле с господином Анвером на его «конспиративной» квартире недалеко от Бейоглы, после двух лет такого тесного сотрудничества (сколько водки и раки было выпито, сколько бозы, шербета и айрана, как ныла поясница, как болел кончик от турецких ласк!) доброжелательный возлюбленный вдруг влепит ей двенадцатитысячный долг еще до утреннего азана в моментально остывшей от любовных утех, сырой, как могила, постели.*

*Агамалиев много чего не знал, но еще больше знать не хотел. Он не хотел знать, что жена так и не простила ему Джамилю, что больше всего сейчас она боится возможной встречи Джамили с сыном, боится потерять его и, как ни странно, не меньше боится потерять мужа. Что его работа в котельной, его непригодность к жизни по-своему чрезвычайно ей выгодны. Она так к этому привыкла, изменись он — изменилась бы вся ее жизнь. И она будет бороться за мужа, такого, какой он есть сейчас, всеми доступными ей способами. Потому что, если женщине за тридцать, хорошо возвращаться домой, когда в твоих окнах уже горит свет.*

## ЖЕНЩИНА

Елена Викторовна шла впереди него.

Она всегда предпочитала идти впереди него и редко брала мужа под руку, а если такое и случалось, то всегда ненадолго.

Выходя со двора, они постояли немного, подумали, куда лучше свернуть — направо или налево.

Воспользовавшись паузой, Агамалиев закурил французскую «капоралку».

Налево казалось как-то повеселее, как-то солнечнее, да и большая часть магазинов была расположена в той стороне, по дороге к метро.

Тепло. Безветренно. Тихо...

Небо высокое, чистое, с гуашевым подбелом вдали.

Тополиный пух сонно двигается, ползет по асфальту в поисках выбоин, роится у мусорных баков, облепляет тротуары, основания домов и деревьев, стелется вдоль трамвайных рельсов, забирается в кусты, оседает на шерсти собак, справляющих свадьбу рядом с торговой палаткой.

Тепло.

Тихо.

Все здесь кажется уже давно сложенным, обжитым, исполненным высокой городской мудростью.

Агамалиев делится своим впечатлением с Леной. Та отвечает:

— Да. Конечно, по мудрости на каждый фонарный столб.

Можно было сесть на трамвай, проехать одну остановку до универмага или две до метро, до рынка. А можно было не спеша пройти. Пешком тут минут пятнадцать — двадцать. Через садик. Через длинную аллею.

Трамвая не было.

Решили не ждать.

— Почему они вчера не позвонили? — спросила она.

— Линия была занята или еще что-нибудь.

— Может быть, позвонить твоему дяде?

— Зачем? Если бы они до него дозвонились, он позвонил бы нам сам.

— Может быть, лучше было остаться и ждать звонка?

— Ты же сама сказала, что задыхаешься в этой квартире.

— Мне нужна тушь для ресниц. Помада. В моде яркие цвета...

— Опять яркие?..

— Темные с обводом тоже в моде. Тебе нравятся темные с обводом?

Он тут же вспомнил рекламные плакаты в метро. Заморская девица, американская сказка с многообещающей родинкой над губой, прикрыв, должно быть, очень похотливые глаза и придерживая рукой готовую упорхнуть шляпку, взасос целует обезумевших от жары, расстояний и падения рубля москвичей; целует в одном вагоне, и в другом, и в третьем, на одной линии, на другой. «Ревлон» — революция цвета. Вас бесцеремонно, при огромном скоплении народа ловят оранжевыми губами на Октябрьском поле, пурпурными — на Китай-городе, фиолетовыми — на Театральной; губы можно заменить, подменить, одолжить на парочку-другую остановок, но, самое главное, от поцелуя заморской дивы не остается следов.

— Нет, лучше было бы нам все-таки остаться и ждать звонка.

— Давай вернемся.

— Сейчас уже поздно.

Лена подняла на лоб противосолнечные очки и оставила их на русой челке.

— Они ведь уже могли позвонить.

Он пожал бело-голубыми джинсовыми плечами.

Вчера вечером метеобарышня с первого канала, ткнув указкой в Апшеронский полуостров, посулила бакинцам 35—38 градусов. «Значит, днем там все сорок и больше,— подумал он. — Дышать нечем будет: жара в Москве и жара в Баку — не одно и то же».

Да, в это время дня в Баку очень жарко, и по возможности люди предпочитают не выходить в город. А если какая-либо нужда и выгонит их в самое адское пекло, они выходят заранее и идут не торопясь, приберегая силы, по темно-синим теневым сторонам улиц. Даже в троллейбусах и автобусах люди располагаются исключительно по теневым сторонам. Попробуй-ка сесть на раскаленное сиденье — тут же немедленно вскочишь. А если будешь стоять, скоро обольешься потом, и вся рубашка будет в темных разводах. Летом бакинцы разговаривают еще медленнее, чем в другие времена года. Летом бакинцы всегда немного раздражены до семи-восьми вечера. Афик вспомнил, как брала его бабушка гулять в воскресные дни. Из дома выходили рано, чтобы к десяти (самое позднее) быть уже на приморском бульваре или в Губернаторском парке: там тоже бывало свежо и тенисто. Но чаще бабушка все-таки выбирала бульвар. В этом случае на обратном пути они заходили в кафе «Матери и ребенка», бабушка угощала его молочными коктейлями в длинных тонких стаканах, горячим шоколадом, пирожными «Наполеон». После кафе, когда уже закатывалось классическое солнце пустынь и караванов, благословляя крыши домов, сплошь в радио- и телеантеннах, а верхние окна начинали яростно полыхать огнем, они медленно шли домой, к себе на Вторую Параллельную, под разросшимися чюрленисовскими каштанами, которые не шли ни в какое сравнение с будничными гледичаями, росшими под балконами на Шемахинке, и каждый раз он задавал бабушке один и тот же вопрос: «Сколько лет этим каштанам?», — и каждый раз бабушка отвечала, что не знает, сколько именно, но думает, что много. И он мучился от того, что ему еще не с чем сравнить это бабушкино «много».

Старые бакинские улицы.

Чаепитие на балконах.

Главы семейств, отцы города, — мошенники-правдолюбцы, начиненные ватерклозетной мудростью, и их марципановые матроны, из последних сил «чистые женщины» (не отсюда ли постоянная сварливость, жалобы на мигрень и обвязанные шерстяными платками узкие лбы), взирают на подбалконный мир с аттическим высокомерием. Ведь для них балконы — это не только продолжение спален, гостиных, кухонь, определенная рисовка, балконы для них — это еще и вертикаль, на которой забываешь, что все на земле тяготеет к падению.

Открытые летом окна ткут из бесчисленных всепроникающих звуков тесную коммунальную ночь. И как бы ни походили эти звуки на вчерашние и позавчерашние, какими бы предсказуемыми они ни казались, потная бакинская ночь всегда полна и шумов высокой страсти, и вздохов, и загадок. И что бы ни происходило в сырой мякоти этих ночей, утром ты всегда очевидец в лучшем случае только наполовину.

Нет, встать рано они не могли. Наверняка отсыпаются и только ближе к вечеру, возможно, сходят в гости. Интересно, кому primero из родственников она покажет Михаила? И как поведет себя в гостях Мишка? Сам он в таких случаях, по мнению бабушки, вел себя безобразно. Афик вспомнил, как однажды они с бабушкой пошли к тете Ляле, княжне Уцмиевой. Он простоял за спиной у бабушки битых два часа, не вымолвив ни слова, не поддаваясь никаким хитроумным уловкам княжны. Он расслаблялся только тогда, когда сухопарая, горбоносая тетя Ляля, предварительно набив мундштук папиросы ватой, закуривала «Казбек». Он сам от себя не ожидал такого поведения. Чем оно было вызвано? Быть может, бабушка слишком готовила его к этой встрече: предупреждала, что княжна — правнучка Натаван («Ты же слышал о ней, мы же с тобой столько раз проходили мимо ее памятника, помнишь, я рассказывала тебе, что к ней и ее мужу приезжал Александр Дюма?..»), а может, он тогда просто был по-детски не в духе, но характер свой показал. Бабушка еще долго припоминала ему этот поход к Лейле-ханум Уцмиевой.

Воспользовавшись прочным молчанием с запасом не на одну минуту, неспешностью шага и невзрачностью улицы, Елена Викторовна думала о своем. Отъезд сына уже казался ей удачным стечением обстоятельств: «Будут звонить, начнут искать и угрожать, придется прятаться, и лучше, чтобы Мишки в Москве не было. Конечно, еще лучше, чтобы малыш все это время провел не в Баку, а, скажем, на даче в Петрове-Дальнем, но тогда пришлось бы обо всем рассказать маме, ему, его мамочке... Нет-нет, хорошо, что он уехал в Баку, лишь бы он там не встретился с Джамилей».

Выкатился автомобиль из арки дома, и Елена Викторовна чуть не вскрикнула. Отскочила. Встала...

— Нервы? — спросил муж.

Если бы она могла, сейчас бы и придушила его: «Арлекин! Паяц! Трус! На него никакой надежды. Узнает — сбежит. Все это время надо жить на «Сходненской», но так, чтобы он не догадался почему. Предлог есть — у нас отключили горячую воду».

Агамалиев открыл перед Еленой Викторовной дверь магазина, попридержал рукой.

«В крайнем случае обращайся в РУОП», — решила она.

Две молоденькие девушки в позолоченной униформе бойко рекламировали «Золотую Яву». Они стояли с открытыми пачками и предлагали по сигаретке каждому входящему.

— Такие не курим, золотая моя! — Елена Викторовна резко отодвинула протянутую руку девушки с сигаретой и рекламным листком. — А представь себе, если Мишка зайдет в магазин, — обратилась она уже к мужу, — один, без нас, и ему предложат закурить?!

«Золотая» девушка с лукавым сочувствием глянула на Агамалиева из-под пластикового козырька и несмело улыбнулась.

— Мало им, что в школах распространяют наркотики! — тем же возмущенным тоном продолжала Елена Викторовна.

— А в институтах выдают презервативы.— Агамалиев сказал умышленно громко, для той девушки, которую жена назвала «золотой». Как бы ответил тем самым на ее лукавый взгляд.

— Тебе даже воспитание тарантула нельзя доверить...

— Тарантула можно...

— Ты же своей пошлостью и цинизмом уничтожишь всякую жизнь.— Она показала краешек крашеного ногтя.

Те две хорошенькие девушки уже были далеко, и вступать в перепалку с женой не имело смысла.

— Нам же продуктов всего на день.— Муж зарулил тележку обратно на место, взял и передал жене металлическую корзину.

Расплатившись с кассиршей, Лена передала часть денег от сдачи (чуть больше червонца мелочью) Агамалиеву: «Это тебе на сигареты». О, с каким бы удовольствием он сейчас ударил по этой руке дающей, но сигареты кончались, занимать денег не у кого, мать в Баку.

— Пошли туда, я хочу посмотреть что-нибудь для Мишки,— сказала она, заметив в другом конце магазина отдел игрушек, почему-то загадочно улыбнулась.

За прилавком стояла невысокого роста широкоплечая блондинка и пилкой подравнивала ногти. У нее были толстые, некрасивые пальцы, на которые она дула после того, как подпиливала, а на короткой шее с кожей, как у ощипанной курицы, Агамалиев заметил иссиня-красное пятно, старательно замазанное тональным кремом. Крепышка успела перехватить его взгляд. Отошла на пару шагов от кассового аппарата, повернулась другим боком, опустила низко подбородок и нахмурила брови.

— Нам нужна кошка. Большая... Чем больше, тем лучше.— Лена подвинулась к ней на ту самую пару шагов и так же, как она, нахмурила брови.

— Из животных имеем только львов, тигров, жирафов... Все, что есть на витрине.

Лена поморщилась, взглянув на щуплую, грустную обезьянку, кривенько сидевшую на могучем культуристском плече Арнольда-Терминатора, одетого в тоненький целлофан.

— Я хотела купить кошку,— обратилась она к мужу,— такую, как была во сне. Ну хотя бы почти такую.

— Где ты почти такую найдешь? И вообще, Лена, зачем ему твоя кошка? Пацану ведь скоро в школу, а ты надувные шарики, кошек каких-то...

— Шариков больше не будет...

— Я понимаю, если лук со стрелами, бинокль или африканский барабан...

— А я хочу купить ему кошку. Здесь близко есть еще магазин? — спросила она блондинку.

— Может, дальше.— Та показала пилкой в сторону метро.

С тех пор как Лена разбила машину, она пользовалась услугами такси и частников, даже если идти было два-три квартала. Она их сама останавливала, далеко выкидывая руку, свободную в кисти, как это делают женщины в независимом западном кинематографе; сама договаривалась о цене, садилась впереди, рядом с водителем, и сама расплачивалась. Иногда она заводила теплую беседу с водителями (особенно когда была под хмельком), совершенно забывая про мужа, как правило, молча сидевшего позади нее. Вот и в этот раз Елена Викторовна остановила медленно ползущий «жигуль» сама и, сядя впереди, объявила коротенький маршрут.

Водитель, набирая скорость, легко разлучил переходивших дорогу мужчину и женщину. И Елена Викторовна, проводив жалостливым взглядом женщину, отброшенную назад роком незначительного автодорожного происшествия, сказала:

— Во сне кошка была черно-белая, а не рыжая.

— Это так важно? Ты же говорила, вокруг все полыhalo.

— Леса горят, торф...— Водитель поправил противосолнечный щиток, откашлялся кашлем заядлого курильщика (лысое темя его пошло волной, как прибрежный песок).

— Да, важно. Еще как важно! Все имеет свой цвет. Я одна в номере. Грязная гостиница в русском Стамбуле...

— Я это уже слышал.— Стамбул всегда представлялся ему в точности таким, каким показал его Паркер в «Полуночном экспрессе», и он всячески отбивался от этого города, в избытке перевозносившегося женой.

— Я одна в номере. За стеной украинские челночницы гуляют с турками, торговцами кожей.

— Я это уже слышал утром, когда ты пила кофе.— Он не хотел, чтобы жена пересказала свой сон при чужом, совершенно постороннем человеке.

— Да, я рассказывала, а ты не слушал меня.— Она обиделась, отвернулась: только свою мамочку слушает, на день по три раза звонит.

«Сейчас она, как обычно, заведет душещипательную беседу на пару минут дороги», — решил он.

И оказался прав: жена действительно о чем-то спросила водителя. Вопрос был из разряда автолюбительских.

Агамалиев посмотрел на резиновую дубинку, висевшую на крючке за спиной водителя. Дубинка была скривлена.

«Значит, ею уже пользовались, и, видимо, по назначению, так сказать, б/у». — Он перевел взгляд на порнографическую карту, даму червей, обладательницу спелого раздвинутого зада. Дама, по-лошадиному повернув голову, улыбалась слегка приоткрытым ртом, глазами, наполненными мелодраматической влагой, приглашала полюбоваться ее роскошным срамом, от которого и сама вот уже много лет была без ума. Разбитый цифровой магнитофон под этой секс-машиной держался на картонных пачках сигарет, лежавших боком...

— ...значит, «опель» ни в коем случае, только «фольксы», а мне так нравятся последние «опельки». Да-да, теперь налево и, если можно, вот здесь остановите,— попросила она.

У водителя не было сдачи. И Елена Викторовна забрала у мужа те деньги «на сигареты», которые сама же ему дала. «Напомни мне, я тебе потом дам».

Вернувшись домой, они выпили бутылку сухого молдавского вина, две поставили в холодильник, а после второго завтрака разложили диван и легли.

Лежали молча. Оба так устали от вчерашних проводов, случившегося перепоя, от сегодняшней духоты и магазинов, от того, что каждый из них держал в себе.

«Ему легко говорить, ему на все наплевать»,— думала она, то открывая слегка хмельные глаза, то закрывая их через некоторое время.

Когда глаза ее были открыты, она глядела в потолок, на едва различимую трещинку недалеко от люстры с одним разбитым плафоном, а когда закрывала их — представляла себе, как эта вот маленькая трещинка непомерно разрастается, идет по всему потолку ветками и веточками, отваливаются целые куски и падают на пол, уже видна арматура, вот-вот все рухнет, а ему на все наплевать, обвалится — и тогда!.. Тогда она вздыхала, чем безмерно раздражала лежавшего рядом супруга.

— О чем это ты? — наконец спросил он.

— Ветер воеет и раскачивает гостиницу. Стелется черный дым. Нечем дышать. На лестнице давка. В коридоре крики и топот. Падает дверь. Жар опалает лицо. Я кричу тебе, чтобы ты немедленно вернулся в котельную. Я кричу тебе, но ты не слышишь. Ты все бросил, ты все оставил. Ты говоришь: «Я так решил», а еще: «Огонь только тогда огонь, когда он горит сам по себе». Я кричу. Я бегу к окну...

Он потянулся за бокалом, который стоял на стуле рядом с диваном, и подумал о том, что ему каким-то странным образом, не без участия матери, конечно, все ж таки удалось связать эту квартиру со старой, бакинской.

— ...я кричу тебе, а ты не слышишь.

*То, что знает он, но не знает она*

*Она не знала, что его решение уйти от нее окончательно вызрело уже давно, что он несколько раз встречался с адвокатом — докой по бракоразводным процессам. Рассмотрев с ним все (почти все) возможные варианты, они пришли к выводу, что шанс у Агамалиева есть и было бы грех им не воспользоваться. Именно после этой консультации с адвокатом он решил отправить Михаила в Баку под каким-нибудь благовидным предлогом и задержать его там как можно дольше.*

*А потом... потом пусть будет суд, пусть будет ворох грязного белья (он созрел и для этого), пусть... Когда все наладится, он устроится на курсы компьютерной графики, он будет денно и нощно писать гуашью на водоземлемой графике, темперой, графитом, пером, фломастером, просто черным шариком, он напишет то, что давно уже мучает его, и тогда ОНО уйдет, освободив место для ДРУГОГО.*

*Он начнет все сначала... Самое главное — уйти. Как бы ни было тяжело, сказать: «Лена, давай разведемся», а там уже само пойдет.*

— Эта «хрущевка» — страшная дыра, — сказала Елена Викторовна. — И как только люди в таких хибарах живут? Если бы ты захотел...

— Не так уж тут плохо. — Муж посмотрел на фотографии старого бакинского бульвара (причал, кораблики со звездами на носу, разбитая лодка, вывосток щенят), а вон две старушки в чадре, снятые со спины, идут по узенькой, как бы разделенной надвое (светом и тенью) крепостной улочке, посмотрел на книжные полки, старые прадедовы часы, от окна штрихующие комнату живым плодородным тиканьем (электронный будильник штриховал мелко на одну неполную жизнь в обратном направлении — к двери), текинский ковер, объединенный молью...

Раскачиваясь на серебряной паутине прошлого (как хорошо он все помнил благодаря дядиным фотографиям), Агамалиев налил себе и ей вина, кинул в рот и заложил за щеку подсоленный миндаль.

Ему не нравилась Ленина квартира на Соколе. Ему вообще не нравились эти богатые квартиры. Квартиры по евростандарту с неременной атрибутикой «новых русских». Он давно заметил: в богатых квартирах почему-то оказывается слишком много углов, слишком много необжитого холодного пространства.

А здесь так хорошо. Здесь так тепло и уютно.

«Придет время, я буду спать на кухне, на диванчике, а мама с Мишкой в комнате. Все, что от меня требуется, — это только сказать: "Давай разведемся"».

Бела-ханум не раз предлагала сыну забрать себе некоторые из фамильных вещей: индийскую пепельницу, бронзовый чернильный прибор в стиле модерн, баварскую пивную кружку, венецианское настольное зеркало, настенные часы и эту картину, изображавшую раввина-цадика (когда-то прадед Афика отправил учиться в Италию еврейского юношу, а тот в знак благодарности и расположения подарил ему эту картину), — но Афик отказывался, все говорил: «Мне они там, у нее, ни к чему».

— Почему нельзя заменить эту люстру, привести квартиру хоть в какой-то порядок?

«Не на твои же турецкие деньги приводить эту квартиру в порядок, хотя ты бы, конечно, была этому очень рада».

— Почему ты такой?..

«Потому что два города во мне, и я такой, каким они меня сделали, а ты еще обрушиваешь третий на мою голову».

— Тебе всегда не по себе, ты всегда киснешь, как только мы остаемся вдвоем.

«Нет, не всегда».

— Мне опостылело то, что между нами происходит. Выходной день, мы вместе, а ты даже не прикасаешься ко мне, даже за руку не возьмешь. Видишь, вот ты опять весь сморщился.

— Уймись!.. — А у самого все внутри кипело: «Между нами никогда бы этого не было, если бы не твой Стамбул, твои турки, твой алкоголизм, подруги-челночницы, хапающие хлам, если бы сама ты не превратилась в отпетую хабалку у меня на глазах».

— Противно! Просто противно!! — Она уже была готова высоко, надрыв-но закричать: «Я кормлю тебя, я кормлю ребенка!»

— Нет, все нормально.

— Для тебя.— «Я всех вас кормлю. Вы все святые, все чистенькие, а я стамбульская грязная торговка!»

Агамалиев не стал спорить.

— Когда у нас *это* было в последний раз? — «Ты мне изменяешь на каждой улице, в каждом вагоне метро! Ты спишь со мной, будто делаешь мне одолжение!»

— Если хочешь, вечером пойдем погуляем по центру, погода хорошая...

Она повернулась лицом к стене.

Через некоторое время, не поворачиваясь к нему, сказала:

— Мы были счастливы... ты предал меня... лгал мне... Если бы я не согласилась тогда лететь с тобой в Баку... Как только мы еще вместе?!

— Если ты сейчас не остановишься, потом уже ничего нельзя будет поправить.— Сам же подумал: «И очень хорошо, что нельзя будет поправить».

— Что же мне теперь делать, купить нижнее белье, какое было у твоей Джамили? Какое белье было у твоей Джамили?!

— Заткнись!!

Она повернулась к нему лицом. Одно ухо у нее было красным.

— Какие фантазии не дают тебе покоя? Может, мне покрасить хной волосы? Может быть, мне ходить в чадре на голое тело?

Он молчал.

— Слушай, Агамалиев, я не хочу, чтобы Мишка ее увидел.

— Она давно переехала в другой район Баку. Я даже не знаю, где она.

— Меня подробности не интересуют. Я очень хотела бы... Я не хочу, чтобы он увиделся с ней там, пускай даже случайно.

— С чего ты вообще взяла, что они непременно должны там увидеться? — Он не без труда скрыл удивление и чуть было не приподнялся на локте.

Елена Викторовна не отвечала ему.

Вопрос начинал принимать размеры комнаты, легко проникая во все.

Вопрос с невероятной скоростью одной своей частью неся в мутное, темное, змеевидное прошлое, искаженное до неузнаваемости вплоть до первой их встречи (кафе «Московские зори», столик под деревьями...), другой — еще более стремительно, с петлями головокружительных возможностей, по самым краям существования — в пастельное будущее, пока еще без стен и мостов, без башен и крыш, очень просто и очень легко отдавая покорных року супругов и делая их совершенно чужими друг другу.

Агамалиеву казалось, он не выдержит такой протяженности вопроса, такого стремительного и непредсказуемого именно сейчас изменения отношений, чувств, он не выдержит, сорвется, все ей расскажет, все, до самых мелочей.

Елена Викторовна учащенно дышала.

Он неуверенно положил руку на ее колено и так же неуверенно, так же осторожно повел ею выше по бедру, теперь неузнаваемо мясистому, с бабьей дряблинкой, обтянутому нагретым ею материнским халатом, и Лена, почувствовав неуверенность мужа, скрытую вину перед ней, сбросила его руку каким-то из африканских плясок пришедшим движением бедра.

Сколько лет уже он тайком от жены на улицах или в транспорте поглядывал на привлекавших его внимание женщин! Каким немислимым углом зрения

обладали эти взглядывания украдкой, какими короткими, мгновенными они были (особенно если приглянувшаяся незнакомка шла или ехала не одна, а в сопровождении мужчины и награждала Агамалиева взаимным вниманием, слово вступая с ним в заговор), какой фотографической памятью обладали, как умели находить то самое важное, от чего поддерживается тепло жизни, обобщать, а потом вдруг от этого общего уйти, всем сердцем освободившегося на мгновение холостяка страстно отдаться какой-нибудь неприметной детали. Какую фантазию будили в нем эти взгляды взломщика, уличного воришки, какой пламень воображения разжигали они! И вот теперь он точно так же поглядывал на свою собственную, законную жену. И вдруг, как на какой-нибудь метрошной незнакомке, заметил золотистый штрих на скуле Лены, съехавшую цепочку с перевернутым крестом на лопаточной ости, реденькую поросль на икрах... И то ли оттого, что он не был готов сейчас закрепить в памяти это уходящее мгновение, то ли потому, что отпала всякая необходимость в заговоре, сердце его застучало быстрее, зашумела кровь в висках. Он уже готов был простить жене Турцию, Стамбул, готов был забыть (быть может, навсегда), как вернулась она оттуда с красно-синими пятнами на ягодицах и едва заметными следами от зубов на шее под ухом (там у нее такая кожа нежная, белая, так долго хранит запах поцелуев!); нет-нет, она не виновата, ну как она могла их сзади разглядеть и скрыть от него, а если бы даже и разглядела в зеркале, разве в этих местах замажешь кремом, это просто хитрый сладострастный Стамбул в лице господина Анвера передает ему послание на самом древнем языке мира, предупреждает его, женатика, объясняет, учит, что просто так в этом мире ничего не бывает. Кто знает, может быть, со стороны Турции, Стамбула, господина Анвера это даже благородно...

Зазвонил телефон.

— Межгород! — вскочила Елена Викторовна.

Она хотела сама снять трубку, но потом поняла, что это должен сделать муж.

А он не спеша поднялся и не спеша подошел к телефону.

Он поднял трубку и расправил перекрученный провод.

Агамалиев спросил у Белы-ханум, как они долетели (успокаивающе кивнул Лене), встретил ли их отец в аэропорту (еще раз кивнул и устался в потолок), какая погода стоит в Баку и что они собираются делать в ближайшие часы. Белла-ханум отвечала, что в Баку стоит страшная жара, что она отвыкла уже от такой жары, ближе к вечеру за ними обещал заехать отец: «Твой папочка. Он, как всегда, в своем амплуа...» (мать произнесла это слово с таким сарказмом, что Афик подумал, уж не поссорились ли они опять), Мишке покажет город. Агамалиев перебил мать, спросил, не стеснили ли они своим приездом тетю Фариду, сколько намерены оставаться у нее, как во дворе, кто из соседей еще остался. (Лена тут же вздрогнула, напряглась.) «Мишка вырывает трубку. Ну все, пока!» Прощаясь, Афик все смотрел на Лену в материнском халате и тапочках. Ему почему-то было неудобно перед матерью. Как будто он сделал что-то не так. Что-то, что следовало бы непременно исправить. И ему казалось, он знает (или вот-вот узнает), что именно, но Мишка начал с традиционного «почему», пришлось отвечать, и он сбился с мысли, потерял ее, а потом опять бесконечные «почему», пока Елена Викторовна не отодвинула мужа, не забрала у него из руки трубку. И началось сюсюканье, всегдашнее сюсюканье женщины со своим чадом, тем большее, чем меньше у нее складывается личная жизнь и меньше остается времени на ее сложение. «С чего ты взяла, что они там увидятся?» — спросил он ее. Да разве она не чувствует, разве она не знает? «Мишенька, ты хочешь кошку? Да, да, живую. Ой, ты мое золотце...»

Агамалиев больше не мог слышать ее.

Он вышел на кухню, откупорил бутылку.

Он представил себе, как Елена Викторовна стоит на коленях, выгнув спину, раздвинув широко ягодицы, как та девица — дама червей в автомобиле левака. А сзади к ней уже мастится турок Анвер, направляя свою восставшую плоть

в темное и влажное дарование Елены Викторовны. Лицо турка свирепеет с каждым толчком. Она безостановочно, как полоумная, твердит с той же самой интонацией, с которой обращалась к сыну: «Ой, ты мое золотце! Ай, золотце... вай... мое!» Самое интересное, что в этом стамбульском представлении Елена Викторовна, оказывается, была и оставалась его, Афика, женой. Удивившись этому открытию, он ухватил потерявшуюся было мысль и повел ее, и повел, до той отметины, на которой понял сам, что именно он должен сделать и с чего ему следует начинать.

После телефонного звонка лежать они уже не могли.

Он сидел в кресле и разглядывал альбом Леонардо, подаренный ему на день рождения еще в Баку.

Она на пуфике перед трельяжем перебирала аптечку свекрови. Периодически шмыгала носом, вытирала слезные глаза и говорила:

— Это аллергическое...

Тогда он отрывался от альбома и вопросительно смотрел на нее.

— В самом деле аллергическое.

Он перелистывал альбом молча, подолгу разглядывая репродукции. Он был рад этому молчанию, потому что не знал, о чем ему с ней говорить. Она тоже молчала, тоже из осторожности, потому что не знала, как ей следует вести себя, по крайней мере сегодня.

«На единственных детей ложится тяжесть сразу двух родительских миров, но ею не с кем поделиться, они несут этот груз родительских ошибок до конца своих дней,— подумал Агамалиев, внимательно разглядывая Марию, сидевшую на коленях у Анны, и младенца, похожего на маленького Мишку.— Коротенький обрывок рода. Два-три звена, и уж видны заветы темной старины...»

— Завтра поедем на Птичий рынок,— сказала жена.

«Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз».

— Ты бы таблетки с вином не мешала, а то все кончится тем же, чем вчера.

## КОШКА

Сегодня еще жарче, чем вчера. Солнце жжет горячее.

Воздух на Сходненской насыщен электричеством.

— Эти трехэтажные домики меня просто умиляют.— На ее мясистых, лиловых с перламутром губах зазмеилось презрение ко всему низкорослому.— Как будто мы с тобой где-нибудь в Таганроге.

«Где-нибудь в Баку. Где-нибудь в Арменикенде или на улице Басина в шестидесятые годы, когда ходили трамваи.— Он вспомнил, как спрыгивал с них на ходу.— Только не мы с тобой, а я один, я без тебя».

Со стороны Восточного моста, как будто лишь затем, чтобы подтвердить точность сравнения, словно из прошлого далекого, словно из дождя в лазурь, подходил, пошатываясь, трамвай.

Шестой был ядовито-синего цвета с длинной желтой надписью на борту в старорусском стиле: «Москве 850 лет». У передних дверей желтый плоский Георгий на облупившемся коне победоносно пронзал копьём желтого змия, напомиавшего саламандру, только с крыльями летучей мыши. Под Георгием, двумя пульверизаторами, красным и черным,— «Смерть жидам» и свастика РНЕ, похожая на нож мясорубки.

«Сколько будет остановок до Сумгаита на таком вот трамвае, если это начнется?»

Пока что они проехали две до метро.

«Если Георгий начнет охоту на жидов, он, конечно, не забудет о «лицах кавказской национальности», но я уже никуда не побегу, нет денег, нет сил, да и не один я — мама, Мишка... А интересно, как поведет себя Лена, если это вдруг?.. Предложит Стамбул?»

В переходе Елена Викторовна искала у старушек-пензионерок безакцизный «Ротманс», купила несколько пачек, одну хотела предложить мужу.

Он мотнул головой:

— Куплю в центре французские.

Народу было немного.

Поезда в город и обратно шли полупустые.

Бутылка из-под пива каталась по вагону.

Нищенка подобрала ее на Октябрьском поле.

Молодой человек в шортах и красной бейсболке, сидевший неприлично широко (расставил рыхлые рыжеволосые ляжки), заметил старушку, оторвался от кроссворда, передал ей недопитую бутылку пива.

Девушка справа от него, на другом конце сиденья, стриженная под мальчику, тоже решала кроссворд и тоже пила пиво. Только пиво было другой марки, а кроссворд не в журнале, а в «малолитражной» газетке. Она так часто, с таким энтузиазмом водила авторучкой, что Афик невольно подумал, глядя на нее: «Сколько же ума было у составителя?»

Вот и опять авторучка девушки клевала вертикаль, подсчитывая пространство уже отгаданного, но еще не вписанного слова.

— Заметила новое помешательство? — наклонился он к жене.

— Ну и что, разве раньше не было кубика-рубика?

На Баррикадной девушка вышла.

Ее место заняли двое азербайджанцев с автомобильной резиной в руках. Они разговаривали громко, как будто спорили и могли вот-вот подраться. На самом же деле мужчины просто считали потраченные деньги и сетовали на то, что вот, мол, совсем чуть-чуть не хватило у них на крыло.

— Какой удивительный язык! — шепнула Лена, и взгляд ее, обратившись внутрь себя, запелгял в темных извилах прошлого.— Так похож на турецкий. Ты понимаешь, о чем они?..

— О том же, о чем и ты. Где бы что купить и как бы продать.

— Да, но я-то живу на свои, а ты на мои! — Помутнелые ее глаза сразу же возгорелись, и все лицо из-за этого взгляда показалось ему сложенным из множества красных угольков.

В вагоне пахло жигулевской резиной.

Предполагаемый голос машиниста сначала, словно объевшись снотворного, промямлил что-то совсем невнятное, затем, вдруг взвизгнув, понесся по фиолетовой ветке, лилипутским контратенором объявляя следующие станции.

Он вспомнил, как Лена вчера после еды выковыривала мясо меж зубами и как он вдруг почувствовал своей десной острый конец зубочистки, будто это он выковыривал, а не она, и как удивился, как испугался тогда. Легко сказать: «Давай разведемся».

Тополиный пух сонно движется над пыльными улицами.

Жар слонится, стелется на уровне автомобильных шин. (Под вечер наверняка уже будет над крышами.)

На Таганке, несмотря на воскресный день, большая пробка. (Видимо, что-то там случилось впереди на дороге.) Машины ползут еле-еле. Два-три метра — и останавливаются. Если там, впереди, не разберутся вовремя, то-то будет шумно и горячо, когда начнется возвращение с дач.

Асфальт мягкий, но не вязкий, не такой, как бывало летом в Баку, будто по ковровой дорожке идешь, нет, здесь асфальт без отметин каблукочков, без вдавленных монет (сколько меди было в советские времена!), шпилек, бутылочных крышек — без шрамов.

— Агамалиев, нам сюда.— Глаза у нее красные, и из носа течет.

Лето в Москве — всегда бросок костей.

Вот такое лето — шеш-гоша\*.

От разнообразия женских ног, спин и плеч (а тут еще эта новая мода на неприкрытый индийский живот!), загорелых и бледных, ухоженных (о, какую работу проделывают зеркала — эти настройщики тел!) и не очень, усыпанных веснушками, родинками или же, наоборот, таких свежих, чистых, гладких, все равно что у новорожденных, от всех этих звонких и глухих тел, тел таких близких где-то вдаль у перекрестков и таких далеких в пугающей, уже не уличной безымянной близости, а вполне квартирной, утомленной итогами, — от всего этого июньского разнообразия кругом шла голова. Женщины в Москве снимают с себя лишнее всегда как-то уж больно неожиданно, без предупреждения накануне и все разом, словно сговорившись, и всегда с оглядкой на дождь, на «временами облачность, грозы, осадки», может быть, поэтому подробности тел так быстро забывается. Но пока... Пока еще ослепительные блики солнца приплясывают в стекле и хrome автомобилей, и плывут по своим воскресным делам полуголые тела, исходящие жаром, как только что выпеченный хлеб.

Преломленные хлеба плывут над асфальтом.

Они плывут над московским асфальтом в июньском мареве, готовые принести себя в жертву.

Тани, Марины, Жанны, Наташи, Ларисы... Имена текут. И ни одного двойного или тройного имени, о, какая вопиющая беспечность, какое пренебрежительное отношение к бесконечности! («Лена, если бы тебе не пришлось проживать под одним — всего одним! — именем, может быть, все было бы по-другому?!») Имена плывут в шортах, бриджах, коротеньких джинсовых сарафанах, легоньких пестреньких платьицах... Сабо (открытая розовая пятка одомашнивает хрипло лающий мир), античные сандалии, босоножки, теннисные тапочки на босу ногу, туфли на высоком каблуке, меньше всего подходящие для этого времени дня, кроссовки с белыми носочками... Хлеба пекутся. Хлеба преломляются. Так было и так будет. Нос ест corpus meum\*\*. Золотые и серебряные цепочки, кольца, жемчуга, бирюза, браслеты — все это только страх, только попытка, только тяжкие усилия присвоить себе то, что твоим никогда не было и не будет. Тени без имен — тому лишь подтверждение. А в бесконечной отдаленности рисуются уже все новые и новые тела, множество тел. События кожи, очередные новости волос, глаз, сердец... События имен с их бесконечным дроблением. Женщины-имена под палящими лучами солнца пересоздают самих себя. И чего-то ждут. И заставляют чего-то ждать.

Утро.

Воскресенье.

Куда еще жарче!

Ближе к рынку Агамалиев купил на ее деньги светлый «Голуаз» и две баночки холодного джина с тоником.

Несколько припрятанных рублей (последние его деньги) остались лежать в бумажнике, в отделении «всякого случая», в котором уже лежали телефонный жетон и жетон на метро.

Елена Викторовна, прежде чем открыть свою баночку, предусмотрительно протерла ободок носовым платком. Платок попросила у него, свой был совершенно мокрый.

Занятая протиранием, она чуть не столкнулась с мальчишкой, несшим в целлофановом пакете с водой «матиссовских» рыб.

Люди шли парами, семьями, в одиночку.

Люди шли с кормами для кошек и собак, аквариумами, птичьими клетками, удочками... Что-то неуловимое сближало их всех. Как будто все вчера видели один и тот же сон.

Пожилой чопорный ризеншнауцер искал бровями собачью правду в толпе. Краснолицый мужчина в черных очках с черной раскладной палочкой, вы-

\* Дубль-шесть.

\*\* Сие есть тело мое (лат.).

соко подняв маленькую лысую голову, словно удерживая таким положением головы сползающие очки, медленно-медленно проваливался рукой, жаждущей касания, между головами сямских котят.

Когда вот такая давка и теснота, мысль останавливается вместе со временем. «Это все равно как в отпуске,— подумал он,— дни бегут без чисел, только по другой, прямо противоположной причине».

Вход на рынок оказался платный. Пришлось немного постоять на солнце в плотной очереди у касс.

— Не отставай! — Елена Викторовна отдала мужу свою банку джина.— Пей, я больше не буду, я очаковский не могу...

В стороне от торговых рядов поднимались голубые шашлычные дымки.

— Как в Стамбуле,— сказала она.

— Звонок пять рублей! — кричал разносчик сигарет, чая и кофе, предлагая еще и свой радиотелефон.

Желающих звонить за пять рублей не оказалось, зато хорошо шли сигареты и кофе.

Агамалиев задержался у обшарпанной клетки с питбулями. Хозяин собак крутил видеозапись боя одного из своих питомцев с кавказской овчаркой. Запись была вся в красных строчках и белых крошках. Хоккейная площадка, на которой травили псов, качалась, как лодка у причала. Хозяин собачьего стада в дорогой длиннополой дубленке коротко и свирепо посмотрел в камеру, кивком головы послал привет самому себе из видеозимы в юбилейное московское лето. Через некоторое время он уже не обращал никакого внимания на камеру, даже сбросил на лед свою шикарную дубленку, по-звериному вопил, призывал к отмщению на малопонятном языке, скользя вокруг разрывающих друг друга собак, падал на одно колено, бил кулаком окровавленный лед. Он что-то злобно крикнул хозяину волкодава, но что именно — слышно не было из-за хрипа собак и рева зрителей, так и не поместившихся в рамку экрана. Хозяин питбуля откомментировал этот момент: «Он, сучара, со своего кавказца стальной ошейник не снял, мой Джека себе два клыка сломал». Питбуль Джека мертвой хваткой вцепился в морду кавказской овчарки и практически висел в воздухе. «Сейчас его перехватит и глаз порвет».

«Вот оно, еще одно событие тел в перепутанном клубке жизни, еще одна готовность принести себя в жертву концу и началу».

— Идем скорей отсюда! — потянула супруга Елена Викторовна.

Она шла вдоль рядов, приглядываясь ко всему, интересуясь буквально всем. В поле ее внимания попадали камуфлированные охотничьи и военные жилеты с невообразимым количеством карманов, подводное ружье; она интересовалась, сколько стоят опилки, сухие корма, чем отличаются консервы для кастрированных котят от обычных, какая фирма лучше, ведь телевизионной рекламе совершенно нельзя доверять, уж она-то это знает, как никто другой.

Обошли почти весь рынок. Она говорила ему: «Сейчас-сейчас», а он ей: «Да мы же здесь уже были».

Он не мог понять, чем, к примеру, нормальный здоровый перс хуже той стамбульской кошки. «Ничего похожего»,— отвечала она мужу.

Он подумал: «А не отстать ли мне, не потеряться ли? Сейчас это для меня самое то». Однако стоило Афику задержаться, «заинтересоваться» какой-нибудь белой крысой на плече у миловидной хозяйки или же маленькими черепашками, как Елена Викторовна без труда находила его и вела за собой.

Уходили ни с чем. И тем не менее она не казалась ему разочарованной. Более того, он предпологал, что она испытывала некоторое удовлетворение, протаскав его за собой больше двух часов и чувствуя, как ему все это не нравится и с каким трудом он сдерживается, чтобы не вспылить.

— Тебе их жалко? — Елена Викторовна закурила свой любимый классический «Ротман».

— Не знаю.

«Что это она меня на жалость проверяет?»

— Жалко. Я же видела, как ты на все это смотрел.— Но в этих ее словах уже не было свойственной ей непоколебимой (иногда до смешного) убежденности.

На Пушкинской, в переходе у магазина «Наташа», Елена Викторовна подошла к женщине с дремавшим в обувной коробке котенком.

Женщина была такой высокой, что, стоя на лестнице на две ступеньки ниже, ей все равно пришлось нагнуться и опустить коробку, чтобы показать ее Лене.

— В хорошие руки отдам бесплатно.— У нее были неровные, прокуренные зубы, и она все время улыбалась.

— Черный,— сказал Агамалиев, стараясь не смотреть на зубы женщины и не понимая, почему та улыбается.

— Черный — не белый.— Котенок перешел в руки Елены Викторовны и через некоторое время безвольно вытек обратно в коробку.— Терпеть не могу белых! Девочка?..

— Что вы, ангел мой!.. Мальчик. Вот посмотрите.

— Да, в самом деле, похоже, мальчик.

— Купи его и назови Ля Модем.

При слове «купи» женщина почувствовала, что сейчас ее могут освободить от долга, и совесть ее при этом останется чиста, и она наконец-то уйдет из этого многолюдного перехода. Она так засуетилась, так принялась расхваливать Ля Моля (фальшиво, неубедительно), что едва исходивший от нее запах рыбы и пива усилился и его не могли перебить даже желтые розы торговавшей по соседству женщины, которую хозяйка котенка тут же назвала своим ангелом, когда разменивала у нее деньги.

— Как по-турецки будет уголь?

— Кемюр,— сквозь зубы процедил он, и сразу же вспомнились кемюр-майданские домики в Баку, узкая дорога к Кемюрчинскому базару, запруженная автомобилями с «районскими» номерами.

— Кемюр. Кемюрчик.— Лена улыбнулась чуть заметно: — Пойдет!

Кемюр Ля Моль выпустил когти на передних лапах и быстро-быстро скреб задними. И чуть было не вырвался, но Агамалиев поймал и удержал его, хотел снять с плеча, на которое тот забрался, оттянуть вниз, но котенок вцепился когтями в рубашку и никак не отпускал.

— Осторожней! Сломаешь ему позвоночник.

Афик пару раз ударил котенка пальцем по носу. Тот зажмурился, но не угомонился.

У почтового отделения они перешли на другую сторону улицы.

Это кафе на Бронной было небольшим и относительно недорогим. Принадлежало двум сестрам (Вале и Рае), у которых при случае можно было даже «записаться на мелок». Агамалиев частенько заглядывал в это кафе, когда Елена Викторовна уезжала в Стамбул.

Последний раз он приходил сюда с той самой женщиной, впоследствии ставшей попутчицей его снов, в самом начале мая. Тогда накрапывал меленький дождь. Когда он усилился и асфальт весь покрылся фонтанчиками, они перебрались за одноногий столик, стоявший в проходе за стеклянными дверями. Старичок — местная достопримечательность — принес им старые газеты. Они пили анисовую водку, запивая ее черным кофе, читали вслух брачные объявления в пожелтевшей от времени газете, смотрели на угол Бронной и Богословского переулков сквозь мутное стекло в каплях дождя. Они курили одну за другой крепкие французские сигареты, и официантка несколько раз подходила к ним и меняла пепельницу, то черную на белую, то белую на черную. А потом женщина спросила о том, о чем спрашивать не должна была в тот день, хотя бы в тот день. Она спросила его, что он думает о ней, о себе и вообще как видятся ему, как представляются дальнейшие их отношения. Агамалиев ничего ей и не сказал, только подумал про себя, что если уж жениться снова, жениться еще

раз, то тогда лишь так, чтобы совсем не чувствовать на пальце обручального кольца. Женщина вскоре ушла, бросив напоследок: «Ну что ж, теперь буду главной фигуранткой брачных объявлений. Читайте в следующем номере. Разумеется, за этот год». Потом, когда их «дальнейшие отношения» уже оформлялись в темных глубинах, запутанных тенетах его снов, самым мучительным было всплывать, распутываться, постоянно теряя при этом обручальное кольцо.

Теперь за тем самым столиком сидели трое мужчин.

Они были уже крепко навеселе и, как все пьющие, теряли ощущение времени и себя в нем, потому дольше, чем казалось им самим, дольше, чем отведено рамками приличия, смотрели на мужчину с черным котенком в руках и женщину рядом с ним.

Смотреть на них так же долго, не отводя взгляда, было бы вызовом этой троице. А тут еще кошка на руках...

Агамалиев сделал над собой усилие и улыбнулся.

И заслужил пьяный смех за спиной.

«Наверное, они подумали, что я подкаблучник, — решил он. — И отпустили какую-нибудь пьяную шуточку на этот счет».

Из больших колонок магнитофона раздавался блюз.

Елена Викторовна долго разглядывала карту меню, потом спросила, что хочет он, потом сказала, чего хотела бы она: жаренные в сухарях куриные крылышки, салат из моркови по-корейски, круассаны с грибным паштетом, бутылочку крымского вина («Бастардо? Мадера? Мускат белый? Мускат красный?») «Какая разница, если вино на самом деле настоящее, массандровское»), маслины с косточками и позже кофе, двойной, черный, если можно, пару капель своего соуса и лимон.

— Извините, а у вас молочка для котеночка не найдется?

— Сядьте на улице под зонтом, здесь жарко, накурено, вам все принесут. — Одна из хозяек посмотрела на занятых официанток и попросила сестру сходить в магазин.

— Спасибо, Валя, — поблагодарил он, назвав хозяйку просто по имени, как постоянный клиент, дабы Лена знала, что и у него здесь, в Москве, есть свои места, как у нее в Стамбуле.

— Сейчас она принесет, магазин рядом, за углом, — сказала хозяйка Лене и поделилась с Агамалиевым действительно как со своим: — У нас прокисло. Жара... В холодильнике места нет. — Подыгрывая ему, даже вздохнула тяжело. Пришпиленная к тесемке фартука пластиковая карточка с фотографией двадцатилетней давности и жирной надписью «Раиса Модестовна Терехова» покорила левый склон груди, поймала в награду звездочный отблеск лампы и опустилась вместе с плечами.

«Надо же!.. Я-то думал, она Валентина. Значит, Валя та. Что помоложе и калибром поменьше. Как нехорошо вышло! Ладно, чего уж теперь! Интересно, Лена заметила?»

Пока ждали Валю, ушедшую за молоком, Елена Викторовна забавлялась котенком и украдкой следила за мужем, ей очень хотелось, чтобы он принял в ее забаве хоть какое-то участие. Если бы их взгляды встретились, она бы призвала его к этому, но он почему-то смотрел в сторону почты на два синих ящика, на индекс.

«103104. Первой комбинации цифр не хватает всего единицы, чтобы она отразилась как в зеркале. Вот так всегда. А у меня, как ни крути, хоть два на три, хоть три на два, все равно шесть. Все равно из себя не выпрыгнешь. К чему тогда это все?! Но, может, стоит попробовать, ведь видела же она меня мертвым во сне, звала, а я не слышал».

Валя вскоре появилась. Принесла пакет молока, молочник и блюдо. Ушла, пообещав прислать официантку с заказом. Потом вернулась сама с откупоренной бутылкой «Бастардо», бокалами, жареными крылышками, салатами... Всегда улыбчивая и разговорчивая, всегда такая предупредительная, она очень

тихо и сухо пожелала приятного аппетита и, как показалось Агамалиеву, с облегчением отошла от их столика, и он предположил, что, видно, ей не понравилась Лена, что, наверное, другая женщина, женщина, отложенная им до лучших времен, ей нравилась больше.

Елена Викторовна раскрутила салфетку, в которой лежали вилка, нож, встряхнула, расправила, поставила на нее блюдце и осторожно, прямо из пакета налила молоко в блюдце. Задремавшего у нее на коленях Кемюра Ля Моля подняла на стол, подтянула к блюдцу, ткнула мордочкой.

Лишившись ее тепла, спросонья Кемюр жалобно мяукал, показывал Агамалиеву нежно-розовую пасть...

Лена предложила котенку куриное крылышко, но он продолжал пищать до тех пор, пока она снова не взяла его себе на колени.

— Боюсь, как бы он мне здесь... Слушай, попроси у своей Вали... если она так любезна с тобой...

— Она не Валя, она Рая. Валя — другая...

— Хорошо, у Раи, коробку из-под пиццы.

Агамалиев уже было поднялся, как к столику подошел старичок в женских очках на высоком, совсем как у мумии, лице. Глубокие темные впадины под его скулами просто и наглядно объясняли, насколько телесное подвержено изменениям и смерти. Две самострочные сумки из рогожи висели на аскетичных плечах крест-накрест. В одной из них, судя по очертаниям, лежали собранные пустые бутылки. Старик, придерживая на переносице очки, как крепостной перед барыней, поклонился Елене Викторовне и достал стопку пожелтевших газет.

— Приобрести не желаете? — Послюнявил шишковатый палец, протянул верхнюю. — «Независимая». Девяносто второй год. Первый и последний год нашей с вами демократии. Какое время! И всего за два рубля.

Афик поблагодарил старика, которого все тут в кафе почему-то называли Мусоргским. Расплатился, передал газету Лене, чтобы та положила под котенка, подумал: «Сны членят время, как старые газеты. Во сне она боялась не огня, не высоты, не обугленных украинских челночниц, она боялась потраченных ни на что лет. Узенький карниз, на который вывела ее стамбульская кошка, — единственный шанс, единственная возможность начать все сначала».

Элла Фитцджеральд пела колыбельную.

Пахло скошенной где-то неподалеку травой и грибным паштетом.

Черненькая официантка шла с подносом к стеклянному прямоугольнику дверей. Она шла, как стюардесса в самолете, чувствуя на себе мужские взгляды. Оса штопала воздух над нею...

Он разлил вино в бокалы.

«Она видела меня мертвым. На маленьком острове, окруженном мутной, темной водой. Вокруг никого, вернее, ни души. Она звала меня из Стамбула, а я не слышал ее. Но страшнее всего для нее было то, что после меня у нее не осталось даже моей фотографии. Ничего от меня не осталось. Ничего».

Кемюр Ля Моля проснулся и опять жалобно мяукал.

Лена подняла его вместе с газетой и положила на стол рядом с блюдцем.

Он был похож на черную женскую перчатку, украшенную двумя зелеными глазами.

«Хлеба пекутся и преломляются, и вино уже давно по бокалам разлито. Но зачем оно углю, зачем оно пеплу?..»

Елена Викторовна подняла бокал.

— Послушай-ка, мы ведь с тобой столько пережили. — Она задумалась, подыскивая нужные слова, затем голос ее окреп: — В конце концов все, что от тебя требуется, — это только гладить кошку, просто гладить кошку, и все.

# Соседняя страна

РАССКАЗЫ

## НЕ ПЛАТОН

Странная получилась у нас любовь. Я познакомился с нею на даче, в какой-то шумной, большой и не до конца знакомой компании. Домик был маленький, хотя и в два этажа, так что когда пришло время спать, то еле разместились, точно туристы на каком-нибудь егерском кордоне, — я пробрался в жарко натопленную комнату последним и свалился на раскладушку, придвинутую вплотную к старинному дивану с высоченной квадратной спинкой. Минут через десять, переворачиваясь с боку на бок, наткнулся на откинутую женскую руку и целовал ее всю ночь до рассвета в крошечной темноте, а она гладила меня по голове.

А незадолго до всего этого шуршала под ногами листва и тускло золотилась в свете дверного проема, кто-то сильно навеселе оспаривал неколебимые истины, готовили шашлык, в ржавом мангале переливались угли, и, глядя на алые початки прогоревших поленьев, стало мне отчего-то грустно, вспомнились мне вдруг горы, такая же иссиня-чистая, прохладная осенняя ночь, небо над поляной Твамба, когда звездная мелочь, кажется, так и сыплется вниз блестящими крошками, покато шелестит исток большой реки и черные ели на склонах стоят мрачно и торжественно.

Как одно с другим связано — загадка для психолога, а я отнюдь не психолог.

Утром она уехала, а я должен был остаться еще. Помню, сидел на скамейке под облетевшей яблоней, обсыпанный холодными солнечными пятнами, и никак не умел придумать, что мне надо теперь делать. Вид я имел самый жалкий.

Но когда она садилась в машину и я, исполняя приличия, вместе с другими остающимися побрел к калитке и наткнулся на ее фиалковые глаза, словно бы подведенные насмешкой, глянул в ее бодрое, свежее лицо, которое едва ли и представлял в полных чертах, понял, что продолжение — как писали некогда в фельетонах наши грамотные предки, — *продолжение впереди*.

От хозяина дачи я узнал ее имя — благодаря Жуковскому одно из моих самых любимых женских имен — и даже испугался, не стану ли я любить имя больше, чем самого человека.

Виделись мы часто, раза три в неделю или того чаще, вечером, после работы, но как бы нехотя.

Для наших ночных походов она выбирала самые, как принято говорить, значные места — о существовании некоторых до того я не имел и понятия, — где девки в исподнем танцевали на столах, где визжали и били посуду, и невозможно было разговаривать в реве и грохоте молодежной культуры. Она же не курила и не пила совершенно, однако с видимым удовольствием сидела в сивом дыму, вертела головой, жадно разглядывая людей и вообще все, что творилось вокруг, а я кружка за кружкой глотал пиво, чтобы развязать язык и заглушить свои сомнения, которые докучали мне все больше день ото дня. Какое удовольствие мы получали от такого скудного общения, имея каждый под тридцать лет, никто этого не скажет.

Случалось, впрочем, мы проводили время более спокойно, ходили в Киноцентр на Пресне, и перед началом сеанса она непременно покупала какую-нибудь книжку из тех, что всегда продавались в вестибюле на переносных прилавках.

— Читал последний роман Пёлевина? — спрашивала она строго.

— Нет еще.

— Напрасно. Это стоит прочесть... Наверное, он необыкновенный человек. Как ты считаешь?

— Наверное,— соглашался я угрюмо и, вероятно, ревновал ко всем сногшибательным талантам, которым удавалось занять ее воображение.

Той зимой по ее указаниям я перечитал целую библиотеку, и на страницах этих книг люди сходились легко и просто, а если и расставались и становились на какой-то срок несчастливы, то все, мне казалось, не так, как я.

Тут грянул так называемый кризис и многие пошатнулись, а то и вовсе пошли прахом. Мне, кроме работы, терять было нечего — ее я и потерял. У меня начало болеть сердце — каждый день, и от кризиса, и от завтраков из четырех сигарет, и от этих непонятных отношений — от всего сразу. Когда сняли кардиограмму, тучный краснорожий доктор, которого мне присоветовали, пробурчал недовольно и раздосадованно:

— Все у вас нормально, сердце здоровое. Обыкновенная невралгика. Это сейчас у всех, кроме меня.— И он, не смущаясь моим присутствием, отправил себе в рот с ладони капсулу лекарства.

— Как это? — спросил я.

— Очень просто... Вот вам пример. Двое людей в последнем приступе молодости пытаются полюбить друг друга, а ничего у них не получается — они злятся из-за этого и бесятся. Можете себе такое представить?

Я кивнул неуверенно.

— Идея есть, а сущности нет,— пояснил он и будто бы всхлипнул.— Платона не читали?

Шут его знает, кто такой был этот доктор — пророк какой-то, провидец, сивилла какая-то северная.

Бывало еще, она звонила мне по телефону среди ночи и большей частью молчала. Я ощущал в трубке ее легкое дыхание, тоже терпеливо молчал или вздыхал, тупея от напряжения.

— Да-а,— выговаривал я напряженно первое, что приходило на мысль, а перед глазами у меня почему-то стояла стена «Би Би Кинга», испещренная надписями и автографами знаменитостей.

Вот с персоналом она умела перебраться словом. Она имела странную, раздражавшую меня привычку читать их имена на карточках, которые болтались у них на одежде, и, когда ей приносили кушанье или напиток, говорила с достоинством: «Спасибо, Антон» или «Спасибо, Алена»,— неизменно ровным, сдержанным голосом.

Конечно, я всякий раз приглашал ее к себе, но она отклоняла мои предложения под разнообразными предлогами, и скоро я начал понимать, что причина найдется всегда.

— Теперь это будет сложнее,— заметила она как-то и засмеялась каким-то нервным и даже злорадным смехом, в то время как я не видел здесь ничего смешного.

— Наверное, я просто не знаю, чего хочу,— говорила она.— А ты? Ты разве знаешь?

— Думаю, да! — отвечал я резко, она хмурилась и примолкала, а я досадовал на свою нерешительность.

— Зато я знаю, чего не хочу,— продолжала она, очнувшись от мимолетной задумчивости.— Не хочу вовлекать тебя в свои эксперименты.

— Я же первый тебе позвонил,— отвечал я.— Тебе не о чем беспокоиться.

— Это все так, но ты же мужчина. Так принято.

Я кивал головой и с усмешкой думал: может быть, так.

Однажды, когда мы спускались в метро, она сказала по своему обыкновению чересчур вызывающе:

— Я люблю обниматься. Только обниматься — и больше ничего.— Последние слова она особенно выделила.

Какая-то женщина, стоявшая выше нас на эскалаторе, обернулась и посмотрела на нее с изумлением. «Обниматься так обниматься,— подумал я обреченно, вспомнил доктора и подумал еще: — Это, доктор, не Платон. Это черт знает что».

В начале ноября мы сидели в модной, недавно открывшейся кофейне на Чистых прудах, за стенами окон сыпался бесконечный дождь, потоки его струились, змеились вниз по стеклам, она важно пила какую-то жуткую бурду, тарабарское название которой я не способен воспроизвести, а я, обжигаясь, хлебал дымчато-гранатовый глинтвейн, поданный в высоком стакане с издевательски маленькой ручкой.

«Какая же это любовь? Разве такая должна быть любовь?» — думал я, рассеянно глядя, как мокрые машины, точно катера, ныряют во впадинах черно-лакового асфальта, инкрустированного отблесками, и думал еще, что дождь идет большим городом.

Она искоса наблюдала, как лихо управлялся я с изысканным напитком арийцев севера,— в ее взгляде мне мерещилось недоумение, приправленное презрением и еще чем-то, что я остерегаюсь упоминать.

— Не графья! — огрызался я унылой цитатой и смотрел в сторону, блуждая по веселым, довольным лицам, и размышлял, по какому праву их обладатели ведут такую беспечную, легкую и бессмысленную жизнь и — главное — по какому праву веду ее я.

— Хорошо, что ты не жадный,— говорила она вскользь,— и руки у тебя красивые.

И я теплел, как похваленный ребенок, и мне доставало сил перебросить свои неопределенные чувства еще через одну неделю.

Стоит ли говорить, что у нее дома я тоже не был ни разу. Впрочем, она жила с родителями и здесь мои упреки выглядели бы неумно и не имели силы.

Возвращались мы обычно в середине ночи — хлопала дверца машины в смутной, фальшивой московской тишине, беспокойная дрема владела блекло-серыми домами, черными, неживыми пятнами окон,— расставаясь, коротко и неправдоподобно целовали друг друга в губы, а когда прощально стучала дверь подъезда и я шагал к машине, поцелуй эти, скупые и вымученные, представлялись мне досадными недоразумениями. То ли, думал я, было на даче, под сенью чахлого сада.

Свистело время вместе с колючим ветром, зима тяжело и сумрачно представляла свои обледеневшие ноги, деньги летели, как дым из паровой трубы; и наконец *машина* остановилась и топка ее опустела. Работу найти никак не получалось, я залез в долги, которые спускал сомнамбулически или с безумством отчаяния,— уж и не знаю, что будет вернее.

Последняя наша встреча, или, точнее, не встреча, должна была состояться на Цветном бульваре, в метро. Я мерил шагами мраморное покрытие пола, как будто в шахматы играл на однотонном поле: то ли пешка, то ли дура-лошадь, половина девятого, половина десятого, неужели?

Дети возвращаются из цирка с вечернего представления, это надо запомнить, думал зачем-то я,— почему-то я считал тогда, что мне непременно предстоит сделаться режиссером кино,— в руках у них надувные шарики, змейки, на головах цветные шапочки, или колпачки, или рожки — все очень пестро, радостно, празднично,— и тянется, льется разноцветный поток родителей и детей, и растекается по обе стороны станционного зала, и шорох шагов клубится под сводами, а в пролетах матовых колонн голубыми штрихами мелькают туда-сюда составы и гириянды вагонных окон.

Ждал я часа два, потом вышел на улицу, в снежную фиолетовую муть, и долго шагал под нескончаемыми фонарями по занесенным тротуарам без всякой цели и направления.

Звонки ее прекратились, я тоже не звонил, все забыл на удивление быстро и — сказать ли — ощутил даже нечто вроде облегчения. Иногда все-таки — я человек сентиментальный — обволакивала печаль воспоминаний, и, когда ночью звонил телефон, возможно, я снимал трубку с излишним нетерпением. Но с печалью я не дружил. Дела мои поправились, общих знакомых у нас с ней почти не было, больших сборищ я избегал, по выходным бегал на лыжах до темноты вдоль Рублевского шоссе и серого забора Кремлевской больницы среди обнаженных берез, и глупые мечты перестали меня посещать.

За это время в моей жизни случились две-три мимолетные встречи — из рода невнятных знакомств, не идущих, впрочем, далее утренней тоски и желания поскорее обо всем забыть.

Однажды — это произошло примерно через год — составила у нас с друзьями компания по незначительному поводу. (Простите за анахронизм, жить без них не умею.)

Стоял январь, город снова был в снегу; его хлопья сухо, сахарно белели поверх старых, запудренных гарью сугробов и все сыпали порывами в лицо и ящерицами перебежали затоптанные буграми тротуары. Мы начали дома, в квартире древнего дома, где однажды давно меня покусали дореволюционные клопы, вероятно, потомки тех, которые распалили воображение Кюстина.

В «Осадке» на «Маяковской» было не протолкнуться: пятница, вечер, все места заняты и толчея у стойки.

— А поедем-ка в «Би Би Кинг», — предложил кто-то из нас.

Здесь нам повезло больше, хотя тоже было очень людно. Мы сидели за тем самым столиком, который обычно предпочитали и с ней.

Один из моих друзей добродушно и трогательно попенял официантке на то, что в меню не оказалось отечественного пива.

— Скажите своему начальству, что это непатриотично, — сказал он бедной девушке, зардевшейся как маков цвет. Уже многие годы он жил в Соединенных Штатах и обожал все русское.

Слева от нас беспрестанно звонил мобильный телефон. На его сигналы откликался мужчина в очень дорогом сером костюме. Заведение было ему не по возрасту, и он имел какое-то затравленное выражение полного, удивительно гладкого и идеально выбритого лица.

— Ах ты чучело! — поморщился мой друг, и я тоже посмотрел в ту сторону.

Она сидела напротив этого мужчины, почти спиной ко мне; я видел ее затылок и кусочек лица: посадка головы, волна каштановых волос, свободно закрученная на затылке, как сжатая спираль венгерской булки, завитки у щек, похжие на букли, — как хорошо, оказывается, я все это знал.

Настроение мое — до того веселое и беззаботное — внезапно переменялось. Я, будто привороженный, смотрел только в одном направлении, упустил нить общего разговора и то и дело отвечал невпопад, а когда глотал пиво, с непереносимой тоской ощущал привкус навсегда потерянного времени, нерастроченной нежности и остросюжетной жалости, дивясь своему упрямству или безволию.

— Не смотри так, — заметил мне один из друзей. — Неприлично, в самом деле.

— Да, да, хорошо, — отвечал я сумрачно, но лица не отворачивал.

Чернокожий официант церемонно поставил перед ней соусницу из дешевого фарфора. Я подумал: вот она сейчас взглянет на именную карточку и скажет своим ровным, бесстрастным голосом «Спасибо, Мамбу», или как там его, и пристально наблюдал за ней, однако она ничего не сказала.

— Да оставь ты его! — сказал другой. — Может, это любовь. С первого, как это, взгляда. — И изобразил глупый смех.

— С первой кружки, — беспечно отозвался первый. — Кстати, о кружках, — он вопросительно обвел всех нас глазами, — еще по одной не помешает, — и, заметив нашу девушку, летящую между столами, поднял руку и громко сказал: — Будьте добры!

Минут через сорок она поднялась, что-то сказала своему спутнику — тот, не отнимая трубку от уха, продолжая разговаривать, кивнул. В нашу сторону она не взглянула ни разу и, мне казалось, никак не могла меня видеть, но я был отчего-то убежден, что все это недаром. Откуда взялась эта уверенность, каким образом все произошло, устал уже и гадать.

— Минуту, — сказал я друзьям, вставая из-за стола. Кровь колотилась у меня в висках, и по дороге, по-моему, я даже споткнулся о ножку чьего-то стула, чрезмерно выдвинутого в проход.

Она стояла у гардероба уже одетая в темно-синее пальто, то самое, невесомое, тонко отороченное шиншилой, подаренное мною почти год назад в порыве расчетливой щедрости, и смотрела на меня спокойно и неминуемо, как тогда,

в прошлогоднем октябре, когда я увидел ее лицо при свете дня. Она изменилась. В чем выражались изменения, я, к сожалению, описать не способен, да, может быть, это и ни к чему.

— Сейчас, — проговорил я и сделал было движение вернуться в зал предупредить друзей, но она отрицательно покачала головой.

Как во сне, я протянул свой номерок негру в нелепой ливрее, улыбнувшегося неправдоподобно ослепительно, принял из его розовых ладоней пальто и, не надевая, поднялся по лестнице к выходу.

### СОСЕДНЯЯ СТРАНА

В Алупку собрались на двух машинах. Валера был уже в отпуске, но осталась еще неделя, и он решил заехать к тетке. Года четыре он не был в деревне, хотя посылал кое-какие деньги и писал за эти четыре года два. Тетка писала чаще, поздравляла с каждым стоящим в ее глазах праздником: с Днем Вооруженных Сил, с Новым годом, — и даже почему-то поздравила однажды с Днем Конституции.

Собравшись ехать, Валера, подумав, взял с собой свой сотовый, оформил роуминг: вдруг она позвонит? — хотя после того, что случилось, едва ли это было возможно. И когда он думал об этом, то говорил мысленно со злобной какой-то решимостью: «Ну и к черту!»

Ночь он проспал на верхней полке, поднялся незадолго до шести и час стоял в тамбуре, глядя в окно, считая речки, овраги, полустанки и проселки, полукругом уходившие в провалы лесозащитной полосы. Туман еще висел кисеею, трава блистала росой, чернели дубы на желтых косогорах, и даже в прокуренном тамбуре ощутима была эта свежесть: раскатанный простор, и лимонный свет восходящего солнца, теплеющий на глазах, и зябкий тлеющий дым испарений.

На взгорке, круто сбегавшем к полотну, неподвижно, как изваяния детского парка, в песочной проплешине сидели на задних лапках лисички.

На своей минутной остановке Валера спрыгнул с подножки, вышел на ровное, переступив холодные рельсы соседнего пути, усыпанные ржавым щебнем, и зашагал по тропинке к переезду мимо одинокого приземистого домика путейцев, над крышей которого нависали яблоневые ветви в светлой зелени плодов. Сквозь влагу росы остро пахла трава, мочила обувь. Ранние падалки лежали на шифере, и были видны белые пятнышки на их гнилых, просевших бочках.

Состав, разгоняясь, обогнал его, высоко над Валериной головой проплыло закопченным пятном лицо машиниста, смотревшего из кабины тепловоза по ходу поезда и мельком на Валеру.

Трилистник разъезда лежал на земле, во влажной, блестящей траве; рельсы переливались сталью и росой, как мокрая паутина.

Когда он перешел на другую сторону, прошел немного вдоль непроницаемой посадки и повернул, открылись поля, за ними скаты далеких холмов, и дальше всего этого ретрансляционная вышка парила едва различимым контуром в желто-голубом мареве восхода.

Дорога черноземными колеями огибала выпуклый очерк ржаного поля, пересыпанного голубыми головками цикория, а потом из-за него вынырнула степная отметина ракиты, показались, вырастая с каждым шагом, лохматые швы садов, выступили треугольники крыш и воздвиглись два огромных развесистых тополя, отмечавших теткин усадьбу.

Во дворе Валера замешкался и чуть не споткнулся о большущий ствол ветлы, лежавшей поперек тропинки, обошел ствол и, пригнув голову, прошел под ветками берез, висевшими до самой земли влажно-сверкающей бахромой. В ряд, заслоняя окошки, стояли цветы мальвы, на все стороны расставив свои чуткие колокольцы. И то ли дом слишком осунулся, то ли мальва была так высока, но верхние ее коробочки достигали самой крыши.

— Буря какая была, у-у, — суетясь, объясняла тетка. — Вот я что тебе скажу — какая буря была. Тут и крыши у этих-то сорвало. — И махала рукой куда-то в сторону, в прошлое.

Когда выкладывал из сумки вещи, доставал конфеты, чай, шоколад, то и дело глядел на немое поблекшее табло телефона. Три латинских буквы, еще державшиеся в верхнем углу, давали знать, что он находится вне зоны соединения.

— Это что же? — спросила тетка с робкой улыбкой, искоса глядя на трубку.

— Так, телефон такой, — ответил он.

— А-а, — сказала тетка, а подумав, сказала еще: — Так и у Чевелевых есть телефон ведь. Она соединяет. А то связи нет, связи, бывает, нет. Провода рвет.

Напившись чаю и молока, Валера задремал и проспал до обеда, проснувшись, долго сидел на кровати, оглядывая комнату. Прошлогодние мухи лежали между рамами на толстой голубой бумаге. В простенке на большой доске под стеклом лепились фотографии: все больше мужчины в военной форме, двое еще в царской, в шинелях до пят, с длинными ружьями, с прикнутыми штыками; центр занимали карточки военных лет, уже затянутые желтоватыми подплатинами времени, пилотки, светлые кружочки наград на бледной темноте гимнастерок; и сам Валера тоже был тут, с ними, еще строго черно-белый, — в бескозырке, на ободке которой различимы были буквы: «...рноморский фло...»

— Как вы тут живете, — неожиданно помрачнев, спросил Валера.

— Хлеб возят, — сказала тетка, — все возят. Хорошо живем.

— У тебя, это, вина нету? — спросил он нерешительно.

— И вино есть. Есть три бутылки — на пахоту оставила. Этот Андрей взял прошлой весной, да не вспахал.

— Да мне, — пояснил он.

— Есть, есть! — спохватилась она, полезла под кровать, обтерла бутылку подолом. — Что ж, так будешь и не закусишь ничего?

В ведре на поверхности воды лежали четыре березовые сережки. Он зачерпнул и, держа в одной руке стакан с водкой и в другой ковшик, вышел за дом.

Огороды, как ватные одеяла, спускались к речке под легким уклоном. Самой ее не было видно в прибрежном ивняке, ольхе и черемухе, только по краям оранжевыми круглыми пятнами светились еще не заветренные спилы на низких тонких пнях.

Небо почернело и сумрачно отекло к верхушкам деревьев. На соседском поле свинцово стелился овес.

Через два дома, еще дальше, вдоль заросших слив слепой мальчик шел к туалету, скользя рукой по провисшему тросу, натянутому от дома до старой ветлы. Шел осторожно, через два шага останавливался и будто приноживался к ветру, налетающему порывами. Валера видел, как ветер шевелит у него на голове нестриженные волосы и приподнимает их на затылке.

«Вырос», — подумал Валера и посмотрел в другую сторону, на реку.

Ветлы там гнулись всюду, трепетала ольха, ветер зачесывал листву, и она дрожала оловянной рябью. Вдали на том берегу уже стоял ливень. А направо на белесом небе черно-фиолетовый столб упирался в землю, как ствол. Валера выпил и перешел на терраску.

Гроза с каждой секундой приближалась, ей предшествовало какое-то размытое дыхание прохладной свежести. И вот раскатилось над самой головой, словно это вспороли туго натянутое гигантское полотнище. Заметно было, как мелко подрагивающая завеса капель подвигалась все ближе и ближе, и наконец шлепками застучало по листьям и дробно, яростно — по рубероиду террасы, по железу крыши, тополя у калитки подернулись дрожащей пеленой, и воздух превратился в пестрядевую ткань. Вода сбегала с крыши параллельными пунктирами; но вот уже пунктиры слились и потекли сплошными струями, и у самого крыльца вода мгновенно налила, и тяжелые капли плясали в луже, выбивая огромные пузыри. Кусты крыжовника будто были осыпаны битым хрусталем и бисерно, серебряно переливались.

— Церковь-то что, отстроили? — спросил Валера, входя и зевая.

— Куда! — ответила тетка. — Крест поставили да огородили.

— А чего ты этим топишь? Бурьяном этим? — Он поддел носком кроссовки ворох лозы и стеблей. — Дрова-то есть?

Тетка поглядела на него и села на табуретку.

— Ты знаешь, дверь в сарай так примерзла, я и открыть не могла.

— А Дорофеевна чего же? Помогла бы.

— Всю зиму, считай, в Хлудове пролежала.

— В больнице, что ли?

— В больнице, — закивала тетка и заговорила быстро, настороженно, глаза у нее сузились. — В дом-то к ней залезли, на санках приезжали, лошадь белая такая...

— Кто они такие?

— А кто их знает? Леня ездил туда, на ту сторону-то, искал лошадь-то эту. Откуда-то с Хуторовки, может. — Она недоговорила и махнула рукой.

Валера отыскал пилу, долго возился с замком, приподняв в петлях, приоткрыл дверь сарая и рывками распахнул ее широко, сдирая нижним ее краем траву и взрывая фиолетовую землю. Внутри он обнаружил полно сухих отличных поленьев. Присев на корточках, спилил доски сантиметров на пятнадцать от земли и швырнул толстые обрезки в темноту.

«Нет, тут работать что-то надо, — думал он, — делать что-то. Чего без дела-то ходить?» Ходил, хватался то за одно, то за другое и бросал, смотрел отаву, слонялся по двору, залезал в крыжовник, брызгавший дождем, обрывал, накальвая руки, зеленые ягоды, набивал рот этой вяжущей кислотой; заходил в вишни и хлопал ладонями по стволам, истекающим смолой, и смотрел, как дружно, нехотя вздрагивают тогда ягоды.

Время тянулось нестерпимо медленно, но вдалеке между стволами посадки уже сквозило, багровело солнце и, как истрепанный половинок, растянулось на западе под серо-сиреневыми облаками.

Прогнали коров. Они разбрелись по дворам с протяжным, требовательным мычанием. Теткина Вечорка, тяжело ступая, словно навьюченная, вошла на зады через проулок, и стоило ей повести головой, как тетка всплескивала руками, смешно их растопыривала, и, держа в одной лозину, ласково причитала: «Вячорк, Вячорк, Вячорк», — и семенила сбоку, время от времени резко и злобно, без всякой причины хлестая пегий бок.

Ночью в простенках скребли мыши, по окнам на свету слабо жужжали, вздрагивали еще последние мухи, и все было, как и много лет назад.

Иконы помещались в углу, направо от входной двери, все вместе, и Валера думал, что когда-то очень давно казались ему их лики персонажами мрачных сказок.

И Валера вспомнил, как, бывало, бабка в сумраке становилась на колени и шелестела молитвами много минут подряд, ему чудилось — всю ночь, — и слова их были похожи на звук талой воды, которая прокладывает себе путь под коркой почерневшего снега. «Богородицедеворадуйся...» Он просыпался, глядел в угол на бабку сонными глазами и опять засыпал.

И было тепло, покойно, страшно.

Он еще поворочался в душной темноте, взял сигареты и вышел на двор.

Бледно-золотистый шар ущербной луны плыл невысоко над речкой, на другом берегу лениво брехали собаки, косогор, облитый серым светом, вырастал из тумана. Очертания деревьев расплылись в нем, мрели стены дальних построек; польнь источала горький густой запах, и влажно, свежо пахла повсюду трава.

Валере припомнилось, как зимою в Москве на чем-то дне рождения к нему прицепился один с четвертого курса, пьяненький: «Это ты под Моршанском где-то, по-моему? Мы там дом купили, в деревне. Земляки, считай. Летом, знаешь, ездить. Ягодное знаешь ведь? Нет? Ну как же нет? Верда, Ремизово, Ракша», — перечислял тот парень, смотрел вопросительно и удивленно прижимал подбородок к шее. И еще Валера вспомнил, как ему стало отчего-то неудобно от всех этих слов, и как он ничего толком не отвечал, и заговорил о чем-то другом, и не знал, как от него отделаться.

Перед тем как уйти в дом, Валера бросил взгляд на поле, голубоватой половою белевшее в темноте, и завтра решил косить. Засыпая, вообразил, как ходит коса с хрустящим свистом, представил, как валится тяжелая люцерна, как вянет на глазах угловатыми стежками уложенная трава, как блещет тонко отбитое лезвие, представил облепившие его мокрую черноту обрезки стеблей и листьев, какая у косы гладкая ручка, смугло отполированная шершавыми ладонями.

Утром он пошел в магазин. Из дворов смотрели женщины долго, протяжно, провожали его глазами, он вежливо кивал всем, ему отвечали, и он чувствовал себя неуютно под их взглядами, чувствовал себя отчего-то чужим и старался шагать быстрее.

Днем тянул помаленьку «Есенина», глядел, как носятся по небу облака, набегают на солнце, весь день последовательно набрасывающее на синеву свой сверкающий хомут.

Вечером, подоив, к тетке подошли Анна и Шустиха — так ее называли. Уже в сумерках прибрел Сашка, тот, с дальнего конца, продубленный, с жилистой шеей, с осторожной улыбкой на морщинистом лице, оттененном захватанной белизной полотняной кепки.

— Ну, земляк, как оно, — поинтересовался он, — в Москве-то, в столице? — И посмотрел на бутылку.

— Нормально, — ответил Валера, наливая ему и себе. — А церковь чего ж не делают?

— А кто ж ее исделает? — отозвалась тетка. — Да-а, была ить церковь. И приход был хо-ро-ший. С Верды ездили, и венчали, и отпевали... Это еще бабка твоя мне рассказывала, батюшкину мать как выносили — священника того, что здесь был, — пояснила она Валере. — Сто лет ей было или больше, как мать говорила, ходить уже не могла сама. Вот днем одеяло постелят ей на бугру, — она несколько раз повела руками, ладонями вниз, — перед церковью, и она сидит на просвирнике-то. И говорила, где самый этот крест, мать-то моя, что они, дети, мол, поздороваются с ней, и она вроде как не слышит уже, глухая, а они тогда поклонятся ей пониже, и она увидит и тоже им кивнет эдак — вроде как увидела.

— На бугру на том... — сказала Анна и указала рукою вбок.

— Ну, ну, — закивала Шустиха, оправляя юбку.

— Там, где Николай убили в прошлом-то.

— Чего это он? Как? — вздрогнул Валера.

— Да как? Ехал в машине, — отвечала та просто, — да и перевернулась она, машина. Никуда ее теперь не берут.

— Пьяный-то был?

— А то какой? — вскинулась Анна.

Сашка сидел над своим стаканом, шумно выпускал дым, смотрел искоса, пьяно.

— Там руль-то — во... — вмешался он и приподнял кулаки. — И все в порядке.

— Такая же, как мы, теперь стала, — сказала Шустиха, не обращая на Сашку внимания, — Галка-то его. — И в ее интонации послышалось Валере какое-то горькое, скрытое, но незлобное торжество.

— Все одна теперь — и коси, и все, — подтвердила Анна, подперев щеку рукою и уставя глаза в пол.

— Все одна, — подхватила тетка, будто эхо.

И все закивали и повторили эти слова.

— Как же это он? — спросил еще раз Валера.

Сашка вдруг рубанул воздух рукою, которой держал стакан, плеснул водкой, выругался, отряхивая пальцы:

— Мы с поминок прямо поехали, с этим, с Прудыхиным, на мотоцикле, ты его не знаешь, с Алексеевки парень. Ка-ак дали сто десять, там руль повернуть — во — надо было. — Сашка складывал руки в кулаки, как будто держал руль, и чуть поводил ими налево. — На этом самом месте. Во, — показывал он, — руль-то. Чуть его повернуть...

Сашка был уже здорово пьян, сидел боком, глубоко затягиваясь, втягивая щеки, и уже не прислушивался к разговору.

— Я Москву-то знаю, — перебивал он. — Знаю Москву эту. Колонна там у нас... лес возили... все возили... — Он снова поднял руки. — Там руль-то — вот. — И в который раз показывал угол, под которым надо было повернуть этот злополучный руль. Потом он за чем-то вышел, ловко нырнув под поперечину косяка, и долго не возвращался.

Валера вышел следом и увидел, что Сашка лежит на земле под смородиной, положив руки под голову, как дитя; в уголке приоткрытого мокро-блестящего рта слюна пузырилась от хриплого дыхания. Сашка вдруг приподнял голову.

— А у нас тут ни-ни,— сказал он куда-то мимо Валеры.— Шесть досок — и в землю.

— Пускай его,— сказали тетки.— Тихо лежит, не замерзнет.

Когда они разошлись, белея платками в сумерках, Сашка очнулся, бродил вокруг дома, шурша травой и хворостом, мотая лохматой головою, и, наконец, застучал в окна.

— Ишь, шляется, глаза залил,— сказала тетка, приподнимаясь на кровати.— Пушай домой идет. Наелся — вот слава Богу. Ей,— крикнула она, — домой иди, дома похмелят.— Посмотрела в темноту, в тот угол, где лежал Валера, и сказала громким уже шепотом: — Спи, Валерик, спи... Ишь, шляется.— Улеглась, закрыла глаза и несколько минут еще что-то ворчала и глуховато, недовольно бормотала.

Утром тетка перебрала сундук, достала слежавшуюся военную куртку и встряхнула на вытянутых руках.

— Вот бушлат. Твой ведь. Тут зашила вот.— Она подслеповато оглядывала ткань левого рукава.

— М-м,— отозвался Валера.

— Там такое не носите. Ты вот, может, приедешь когда, отдохнуть или чего,— сказала она и пошаркала обратно к сундуку.

— Буду я, наверно, собираться потихоньку,— неожиданно для себя проговорил Валера и отвернул лицо.

— А чего? — Тетка остановилась, прижав бушлат к груди, и коротко взглянула на телефон.— Дела, что ли, какие?

— Да.— Он замолчал.— Дела, то да се.— И тоже посмотрел на него, словно его наличие многое объясняло и служило причиной.

Потом он наблюдал, как тетка укладывает бушлат — уже молча, медленно, заторможенно, как разгибается ее спина, как тяжело, скорбно колышется шерстяная юбка.

«Или остаться?» — промелькнуло у него в голове.

На станцию шли молча, молчал в сумке телефон, низко носились ласточки. Облака, тоже низкие, розовели в вечернем небе.

У станционного крыльца, наступая резиновым сапогом на рельс, стояла кассирша. Арочка кассы была безучастно заставлена изнутри синей дощечкой. Валера справился о билете.

— Там дадут,— сказала она.

— Летчики летают,— сказала тетка, подслеповато щурясь на облака и приложив ко лбу согнутую ладонь.

Кассирша сдвинула ноги и развернулась лицом в ту сторону, откуда ждали поезда.

— Когда летчики, у них самолеты — прямой такой,— она несколько раз взмахнула рукой, — эти...— Но вместо неба глянула себе за спину, на семафоры.— Ну дали ему первый,— сказала она.

Валера тоже посмотрел и увидел, что один зажегся изумрудно-зеленой точкой. Но прошло еще минут десять, пока показался поезд, над которым, словно пыльный султан, развевался куст дыма, и странно это было — горький этот запах опережал его движение.

— Здесь стойте! — приказала проводница и ушла в тамбур, сильно хлопнув дверью, но та не зацепилась и медленно поползла обратно.

Он стоял и смотрел в окно, на тетку и Веру, видел, как они говорили, а потом на противоположной стенке увидел лист расписания. «Верда, Ремизово, Ракша», — было отмечено в нем шариковой ручкой разборчивым почерком. Проводница смотрела с площадки.

— Чего стоишь? — недовольно спросила она и махнула рукой в глубь вагона.— Иди садись. Подальше туда.

Это были два обычных плацкартных вагона.

«Да,— думал он,— рано уехал», но думал с облегчением. И поезд уже полз, предвзяя свое появление на маленьких станциях вязкими задумчивыми гудками.

Из-за перегородки до Валеры долетали обрывки разговора. Он не видел, кто говорил, но было пусто и тихо в вагоне.

— ...там-то у них все погорело. Новое стали строить. Немец сюда не дошел, вот все осталось, как при царе-горохе...

Кто-то что-то отвечал, что-то звякнуло, прошелестело.

«Где-то здесь»,— думал он, вспоминая лисичек.

В Ряжске на платформе старухи носили пирожки в клеенчатых коробах, в душном воздухе растекался запах угля, масла и нагретых рельсов. Седой бородатый малый в сером пальто без пуговиц беспорядочно бродил по асфальту. Лицо его почти до самых глаз покрывала страшная щетина, и еще страшнее казались коричневые зубы, и темные провалы между ними. Несколько милиционеров проводили его внимательными взглядами, пока он сновал по платформе быстрыми зигзагами от одной кучки людей к другой, как клоп-водомерка.

«Вот сейчас заберут они его»,— тоскливо подумал Валера, однако, к его удивлению, милиционеры столпились вокруг, слушали разговор его с какими-то женщинами, что-то спрашивали, топтались, улыбались, спокойно поглядывая по сторонам.

— Куда, Витя, поедем? — весело сказал один из них, переглянувшись с остальными.

— Хлеб взял,— резким, каркающим голосом отвечал Витя и показывал кирпич серого хлеба, который он держал загорелыми руками, широко растопырив грязные пальцы, прижимая к пальто.— Спаси, Господи,— повторял он, улыбаясь, быстро и мелко перекрестился, когда кто-то дал ему монетку.

— Взял, значит, хлеба? — спросила толстая в сиреновой кофте женщина.— Ну и слава Богу.— Рядом с ней стояла девочка; «кофта» крепко держала ее за руку и, когда девочка переступала, не глядя притягивала к своему необъятному животу.

Потом она стояла поодаль с милиционерами, все как один обутыми в стоптанные ботинки с пряжками из накладного фальшивого серебра, и, склонившись над своей девочкой и тихонько что-то ей сказав, указала на Витю.

Девочка подошла к Вите и стала рядом, глядя на него снизу вверх, протянув кулачок, дожидаясь, пока он ее заметит. Наконец он повернул свою страшную косматую голову, и девочка дотянулась до его руки, отдала монету и побежала обратно к взрослым. Бабка ее в сиреновой кофте все разговаривала с милиционером и гладила девочку по голове; девочка, прислонившись к ее бедру, смотрела на Витю, как он держит хлеб. Милиционер снял фуражку и держал ее в руке, и, когда поворачивал руку, становилась видна уложенная внутрь фуражки вырезка из цветного журнала, изображавшая девушку в купальнике, облитую южным солнцем.

А потом, перекликаясь громко, бодро и непонятно, шаркая, прошли цыгане с ситцевыми узлами за спиной — целый маленький табор, — и за ними цыганки, шлепая голыми грязными пятками о задники белых босоножек, с пестрыми детьми, с волосами, закрученными на затылках, из которых торчали дешевые гребни и заколки, с длинными серьгами, в перисто-цветастых длиннющих юбках, и одна из них несла в смуглой руке пучок конфет-петушков — малиновых, красных, желтых,— и девочка отвернулась от Вити и смотрела теперь на леденцы.

Подошла мичуринская электричка — грязная, обшарпанная, высокая.

В вагоне Валера сидел напротив Вити, и опять люди, входившие в вагон, переговаривались с Витей и давали вишен и монет.

Старушка-торговка подсела к нему бочком наискосок лакированной лавки и, придвигаясь, мусоля грязный короб у себя на коленях, сладенько проговорила:

— Витенька, скушай, милый. Я тут мужчине в Ряжске пирожки продала, а сдачу не дала, пятьдесят копеечек. Скушай, Витя, а то как я? Бери, Витенька... Пятьдесят копеечек.

И Витя опять кивал с готовностью, осторожно брал пирожок коричневыми пальцами и, прикрыв ладонью, держал его на коленях. Тихий отсвет погоды брезжил у него в зеницах, когда взгляд его блуждал в полях, заполнивших пыльные окна. Между полотном и деревьями лежало рядками скошенное сено, стояли маленькие аккуратные стожки, придавленные кривыми слегами. Когда по-

садки распахивались, в обе стороны открывалась земля, расплосованная черно-синими колеями дорог, испещренная оврагами, по дну которых краснели затеки луговых цветов.

В ногах, между сидений, на коленях, отливая кровавой чернотой, стояли пластмассовые ведра со спелыми вишнями, в корзинах огурцы, рюкзаки, распертые яблоками. Две женщины, сидевшие через проход от Валеры, скользили глазами по головам.

— Витя, глянь, едет, — сказала одна другой, и они обе замолчали и стали молча смотреть на Витю, бросая в рот семечки и сплевывая шелуху в кульки, свернутые из газеты.

И Валера почему-то снова почувствовал себя чужим, пришлым человеком в этих блеклых полях.

Витя сидел почти рядом, напротив через пролет сидений, и Валера думал, что надо бы тоже что-то дать, но деньги у него были только крупные, и ему казалось неудобным давать крупные.

Часа через полтора Витя принялся поесть пирожки, извлекая их из недр своего пальто и кроша на ломтики, и Валера видел, как бело-зеленый капустный кусочек долго висел на Витиной бороде.

Витя иногда переставал вертеть головой: лицо расцветало блаженством, взгляд, вперенный в окно, становился серьезен и вдумчив. Казалось, что гениальный композитор уловил отзвук гармонии, и эта мысль одна владеет его существом.

Потом прошли контролеры в фуражках с зелеными околышами, держа в руках инструменты, похожие на клещи зубврачебного кабинета. Пассажиры помоложе — парни и девушки — толпой потянулись в другие вагоны. Они смеялись, подталкивали передних в спину, а контролеры взглядывали исподлобья. Один из них, сильно пожилой, ушами, из которых высовывались, как пакля, пучки седых волос, и внимательными серо-глубокими глазами напоминающий волка, поздоровался с Витей и опустил ему в ладонь рублевую монету.

В сумке у Валеры тихонько щелкнуло, трижды пискнуло, и он, расстегнув молнию, увидел квадратик зеленого света, горевший, как око равнодушного волшебника.

Пейзаж за окном понемногу менялся. В нем, как томление грозы в воздухе, появилось предчувствие города: покорными вереницами стояли машины на переездах, мелькали секции оплывших нефтью цистерн. Незаметно для Валеры потекли вдруг рядами другие рельсы, вагон закачало на стрелках, в обе стороны повыврастали приземистые склады, блокгаузы, будки проходчиков, по путям зашновали люди в ярких оранжевых безрукавках.

В грязное окно видно было, как высоко в пасмурном небе, казалось, над самыми серыми домами, тяжело кружил темный зеленый вертолет. Одна за одной с секундным интервалом от него отделялись крохотные точки и валились отвесно, но вдруг вспыхивали белыми куполами и, разбросавшись, летели к земле плавно, нехотя, как первые октябрьские снежинки. Витя смотрел в другое окно, и Валера невольно тоже смотрел туда, куда смотрит Витя.

И в вагоне все вдруг зашевелились, поднялись с мест, подняли вещи, запрудили проход.

— Рязань, Витя, — сказала какая-то женщина, поравнявшись с Валерой. — Дягилево проехали, вставай, мой хороший.

Витя посмотрел на нее, улыбнулся, покивал и сидел еще некоторое время, играя своей затаенной улыбкой. Словно бы за пределами этих перегородок, выгнутой крыши и толстых окон караулила его невыносимая и немимолетная радость, и он чувствовал ее и не торопил с ней встречи, подаренной блаженством ожидания.

## Фонтанка

МОЯ АВТОГЕОГРАФИЯ

Пора и мне в моем почти почтенном возрасте по примеру других обрести свою «малую родину». Вполне сознаю, что в слове «обрести» заметна некоторая натуга. Обрести — значит найти нечто желаемое. Постарайся и обретешь! Так ведь? Малая родина у человека должна *быть с самого начала*. Как мать, как отец. Чего ж тут обретать? Бывают, конечно, судьбы несчастные: ни отца, ни матери — по разным причинам. Вот тогда, если вдруг кончится несчастная часть жизни, *обретает* человек в ком-то вторую мать или того, о ком говорят: «Он стал мне, как отец». Так что «обретенное» — это *второе, заменяющее* или то, чего раньше не было, а *потом стало*.

Разумеется, куда лучше, если все твердо и изначально. Я, дескать, оттуда-то, я из таких-то, мы там спокон веку, и нас там все знают, на родине бываю, связи с ней не потерял, родину люблю и уверен, что это лучшее место на земле. Когда объеду весь свет, когда добьюсь всего, чего хотел добиться, когда посею семя свое в разных углах, вернусь на *малую родину* и помру там, и родная земля легка будет мне, как пух, и будет невдалеке яблоневый сад, чтобы по весне шел знакомый, кружащий голову запах. Эх, хорошо! Только не про нашу честь! Да и вообще... бывает ли?

Я родился и рос в счастливой семье. Нас мотало (кого не мотало в XX веке?!), но мотало всех вместе — в этом главное счастье. Нас было трое, и мы друг друга не потеряли. В год моего рождения — тридцать пятый — ссылка отца. Но ссылка с семьей — редкая удача! Потом помилование (а миловали-то ох как редко!) — опять удача. Началась война — мы в доме отдыха под Сочи. Не выехать — ни в один поезд не пробиться. Домой, в Питер, так и не пробились. Началась эвакуация — Урал, Узбекистан... Отец явился в Москву, в Комитет по делам искусств. У него открылся туберкулез легких. Белый билет. И направляют его к нам — в Андижан УзССР. Опять мы вместе. С сорок третьего снова Москва. Цирк. Отец — художественный руководитель цирка на Цветном бульваре. В сорок восьмом — полный крах. Все, что было достигнуто, рухнуло. Бездомница, безработица. Возвращение в Ленинград. Но мы вместе — это главное. Подъемы, спуски, провалы, но всегда вместе — так до смерти отца, а потом, через четырнадцать лет, — мамы.

Семья была. Поэтому было у меня счастливое детство. А вот малая родина — с этим напряженно. Были *пункты... остановки* были, а так... все больше движение... по своей и не по своей воле. Зигзаги, кружение...

И вдруг... увидел я *линию*. Не очерченное место, как положено, а линию, которая прошла, соединила, хоть и пунктиром, целых сорок пять лет моей жизни. ФОНТАНКА! Питерская речка в гранитных берегах, не сильно извилистая, почти прямая... могла бы считаться даже довольно широкой, если бы рядом не было Невы.

Точно, точно, Фонтанка — вот она, моя малая родина от младенчества до первой седины. И когда покидал я навсегда Питер, то прощался (теперь я это по-

нимаю!) не с городом вообще и не только с домом № 65 по набережной Фонтанки (БДТ имени Горького) и даже не с могилами родителей на Богословском кладбище, а прощался именно с речкой Фонтанкой, которая связала все.

### *Течение*

Река Фонтанка, вообще говоря, вовсе даже и не река. Она не сама собирает по мелочам малые воды, а целиком принимает свой поток из мощной Невы, а та, в свою очередь, из Ладожского озера. Фонтанка не впадает в Неву, а вытекает из нее и по прямой линии идет через центр города, пересекает Невский проспект и далее, далее... Там начинаются судоверфи, заводы, туда уже не пропускают, и там, среди закрытых зон и ржавого железа, она, видимо (я там никогда не был), впадает в Финский залив.

Фонтанка целиком зависит от Невы. Когда там наводнение, и тут наводнение. Там встал лед, и тут тоже. Там стали (с большим риском для жизни!) переходить по льду на другую сторону, и тут переходят. Если кто учился в школе и не совсем забыл физику для шестого класса, то вспомнит такой раздел «сообщающиеся сосуды». Наливаешь голубоватую воду в широкую колбу, а наполняются (и так ровненько наполняются!) и широкая, и соединенная с ней узкая. Вот и здесь такой же эффект. Только цвет слегка меняется. В Неве вода черная, строгая, даже, можно сказать, злая. А в Фонтанке с такой, как бы выразиться, желтовато-коричневатой, что ли, прибавкой (очень много канализационных стоков). Да и сама река поуже. Поэтому по весне лед на Фонтанке трескается чуть раньше, появляются неприятные рыжие промоины, а потом отламываются от ледяного пирога большие куски со вмержшими бутылками, тряпками и консервными банками, переворачиваются, встают на ребро и резко уходят в глубину внезапно запузырившейся темной воды.

Фонтанка фактически ОТТОК, или РУКАВ, всемирно известной реки Невы.

### *От зверей дедушки Крылова до цирковых зверей*

По правому берегу Фонтанка начинается с Летнего сада. Тут практически рассказывать нечего. Все сказано, все всё знают: статуи, музы, Аполлон, Кронос, пожирающий своих детей, домик Петра, аллеи, желтые листья, решетка, осень, пруды, лебеди, автобус № 14. От Пушкина, и еще ранее, и позднее, и до сего дня — все многократно и справедливо обцеловано и облито слезами умиления. Это все *наше общее*.

А что мое личное (и никому не отдам!), так это звери дедушки Крылова. Помню их лет с трех (если только помню, а не выдумываю?!). Водили в Летний сад (да, да: «И в Летний сад гулять водил»). В саду было скучно (это помню). Деревья, аллеи — все для взрослых. Для меня — лебеди в пруду. Но они — все плавают и плавают. А лучше всех чугунный большой дедушка Крылов. Правда, он тоже сидит и сидит, а вот звери вокруг него — это бесконечно привлекательно. Там и кот Васька, который «слушает, да ест», там Лиса и Журавль, и Обезьяна, и Медведь и весь квартет с Ослом, Козлом... и Волк с Ягненком... Все, как настоящее... как на картинке в книжке... и потрогать можно... а они такие... выпуклые... Волка можно погладить.

Кончается Летний сад, и начинается Инженерный замок. Он большой и страшный. Тут когда-то случилось что-то нехорошее. Чуть ли не удушили кого-то?! Чуть ли не царя?! Об этом говорят, но почему-то вскользь и негромко. Тридцать восьмой год. Про всякие удушения в это время говорят негромко. Или не говорят вообще. Минуем замок. Туда все равно хода нет. Там какие-то военные... маршируют возле памятника царю. Памятник хороший, особенно лошадь (конь?), но очень высоко стоит, потрогать нельзя, поэтому не очень интересно.

Миновали первый мост через Фонтанку. Миновали замок. Впереди второй мост. Но перед самым мостом — вот это да! — ЦИРК! Здесь работает мой отец. Он режиссер. Поэтому я не только смотрю представления, но меня обязательно водят за кулисы. Клоуны в огромных ботинках, с белыми лицами и зелеными волосами хватают меня за нос и говорят: «Агу-гу! Агу-гу! Хочешь быть клоуном? Хочешь работать в цирке?» И еще меня ведут в большое помещение с особым тяжелым запахом. Там стоит слон и машет хоботом. Там тоскливо смотрят через решетку медведи. Там зло рычат тигры и спит в грязном углу лев. Мне предлагают поиграть с мартышками, но они не веселые и в конюшне темно. В цирке зверинец называется конюшней, хотя там живут не только лошади. Мне жалко мартышек. И других зверей тоже жалко. Но дрессировщик так дружелюбно улыбается моему отцу и так уверенно говорит, что зверям здесь хорошо, что я стараюсь ему поверить и успокаиваюсь.

Больше всего мне нравятся униформисты, подметающие манеж. Молодые мальчишки в красных костюмах с веревочками, которые называются аксельбантами.

Пожалуй, лучше всего в жизни быть униформистом.

### *От фанерных коней до бронзовых*

Два вздыбленных коня из фанеры — эмблема цирка. Мимо цирка идет трамвай № 5. Идет через мост по улице Белинского и дальше три остановки до квартиры моей бабушки Елены Васильевны. Там всегда вкусный обед на красивой посуде.

Но если на трамвае не ехать, а тут же свернуть с Белинского налево, то начинается Моховая улица. Здесь ТЮЗ — детский театр. Хороший театр, но какой-то ненастоящий. И я знаю, чего в нем не хватает. Занавеса! Без занавеса нет театра. Сцена без занавеса — это эстрада. Еще в детстве я это понял, и так до сих пор осталось. А напротив ТЮЗа предмет воцелений моей юности — Театральный институт имени А. Н. Островского. Сюда рвался, сюда толкался год за годом, не попадал и, наконец, был допущен под священные своды. Четыре года в мастерской Леонида Федоровича Макарьева. Но Моховая — это мои пятидесятые. А если вернуться к цирку (тут ходу-то всего минут пять) и пойти дальше по течению Фонтанки к Невскому — это еще тридцатые годы.

Эта часть набережной вечно была в ремонте. Не то что машине проехать, пройти — и то затруднительно. Тут в первой половине дня наилучшее место для малолеток — играют в прятки и в войну. Ближе к вечеру пространство занимают молодые хулиганы.

На разбитую набережную по-домашнему, без прикрас дома глядят черными лестницами и арками проходных дворов. Позднее, лет через сорок, когда треснет социализм, здесь обнаружатся роскошные фасады и даже настоящий дворец — нынешнее вместилище Дома дружбы с иностранными народами. Но тогда не замечалось. Лежали каменные блоки для набережной, бетонные обручи канализационных труб. Штабеля решеток, рывины, лужи. В общем, отличное местечко для игры в войну.

Война уже шла. Финская. Представьте себе, сохранилась фотография: пять детей, четырех лет каждый, стоят строем. На нас пилотки или военного образца фуражки. На нас ремни и какие-то подсумки. Это уже не игра. Мы на задании.

Вечером все жители обязаны плотно зашторить окна. Ждут налетов вражеской авиации. Шпионы нарочно оставляют свет в окнах, чтобы вражеские летчики увидели — вот он, город! Шпионы сигналият с крыш карманными фонариками. Летчики видят мигание и бросают бомбы прямо на головы этим хитрым шпионам. Они хотят пожаров, они хотят поджечь наши дома!

Вечер. Мы выходим на улицу. Мы задираем головы и внимательно смотрим: где еще горит свет? Должно быть темно. Совсем темно! Нам не приходит в

голову, что уличные фонари-то горят! Иначе мы вообще не нашли бы, где что: где двор, где улица. Ну что с нас возьмешь — нам по четыре года. Нам приказали, нам доверили, вот мы и... Нам сообщили страшный пароль: «НАРУШЕНИЕ СВЕТОМАСКИРОВКИ». И вот мы стоим, задрав головы, и смотрим на дома. Вот он, свет! ВРАГ!

Надо определить лестницу, этаж, номер квартиры. Надо бежать бегом и звонить, и стучать. Дверь открывает шпион и говорит: «Вам чего, дети?» Нас смущает, что он говорит по-русски. Но мы догадываемся, что это он притворяется, чтобы мы не догадались. Но мы-то догадываемся! Мы говорим страшный пароль: «У вас нарушение светомаскировки». «Ой, сейчас зашторю», — говорит шпион. А мы уже бежим вниз по темной лестнице и опять на улицу: где горит свет? Шпионов много. Но мы неутомимы. И, честно говоря, в душе... нам хочется, чтобы их было еще больше. Да-а... тогда уже тайно желалось постоять «у бездны на краю». Хотелось, чтобы что-нибудь случилось. Хотелось увидеть страшное, пройти через него и... стать героем.

Итак, этот кусок Фонтанки — черные ходы. А парадные — на параллельной улице, Толмачевой. По старинке ее иногда называют Караванной, но для нас она Толмачева. Толмачев был мальчик двадцати с чем-то лет и погиб в гражданскую войну. Он совершил подвиг, стал героем, и вот в его честь назвали улицу. А сейчас я думаю: может быть, он, как мы, дурачки, ходил с каким-нибудь устрашающим паролем, мечтал найти шпиона и... нарвался однажды то ли на пьяного, то ли на испуганного с пистолетом в руках... Нет, нет... не насмешничаю. Земля пухом всем погибшим... всем несмышленным... Это я так... скепсис преклонного возраста.

Улица Толмачева (Караванная) — это знаменитая улица. Длинной она меньше километра, а перечислю, что на ней есть — не поверите! Зимний стадион, Дом кино, детский кинотеатр «Родина», чуть правее Дом радио — отсюда все передачи, постамент памятника Гоголю (в сорок восьмом году ставили, я присутствовал, но самого памятника до сих пор нет), выход из кинотеатра «Аврора» — каждые полтора часа круглый год и каждый день оттуда вываливается толпа, прямо напротив наших окон. И, наконец, знаменитая булочная на углу Невского с потрясающим (во все времена) кондитерским отделом. Напомню еще, что одним концом улица упирается в цирк, а другим в Аничков дворец (городской Дворец пионеров). Чего еще надо?

Тут мы и живем — Толмачева, дом 26, квартира 8. К нам два звонка. К Каплунам — один. К Залесским — три. К Лиде — четыре. К Праховым, Гурьеву и Никитину — вход с черной лестницы, там звонок общий или нужно стучать. Квартира проходная. Телефон коммунальный А 5-26-39.

Думаете, сочиняю? Привираю подробности? Нет! Много было квартир в моей жизни, много было номеров телефонов — перезабыл. А этот — А 5-26-39 — помню. И вот еще: прошло пятьдесят лет, и в девяносто девятом году в городе Нью-Йорке на концерте в Карнеги Холл получаю записку: «Серезжа! Это я, Лина Каплун с Толмачевой, к нам был один звонок. Я тебя подожду у выхода после конца. Хочу тебя повидать».

К Каплунам был один звонок, но комнат у них было две — на четырех человек. Они считались богатыми. У всех остальных было по одной комнате. У нас на троих 26 метров квадратных, два больших окна и высокие потолки — очень даже прилично. Правда, круглая зеленая печка, дрова возле нее и мамин рояль съедали половину комнаты, но ничего, жить можно.

И жили. С 38-го по 70-й год. С перерывом на войну.

Думаете, я хочу вас поразить бедностью или, скажем, скромностью жилья? Ни в моем случае. Обделенными мы себя не чувствовали. А район! Район-то чего стоит! Невский от нашей парадной 54 шага. За углом знаменитая Книжная лавка писателей, далее лучшая в городе аптека — это уже угол Фонтанки. И... вот они, БРОНЗОВЫЕ КОНИ НА АНИЧКОВОМ МОСТУ, укрощенные молодым, божественно прекрасным мужчиной. Ах, какая все-таки красота — эти

четыре больших, таких натуральных композиции. Как все соразмерно! Как гладко и точно! Как славно! И эта гордая подпись по краешку постамента «ЛЕПИЛ И ОТЛИВАЛ БАРОНЪ ПЕТР КЛОДТЪ».

Кони при мне, или я при конях, но, когда вижу их наяву, или в кино, или на картинке, думаю: мой город.

### От Аничкова до Чернышева

От аптеки пересечь Невский, и вот мы вышли к углу Аничкова (Аничковского) дворца. Вообще-то Аничков — это целый комплекс дворцовых зданий. Но для меня роднее более низкое, с главными воротами на Фонтанку. Здесь были «кружки по интересам» Ленинградского Дворца пионеров. В 48-м году я поступил в кружок художественного слова Бориса Федоровича Музалева. Честно говоря, хотелось мне в театральный, но он в то время закрылся. Хотелось (очень хотелось!) играть на сцене, но, что поделаешь, пришлось, заложив руки за спину и задрвав подбородок, читать довольно нудные, не увлекающие меня стихи. Пришлось, прежде чем самому прочесть, выслушивать двадцать моих сотоварищей с не менее нудными стихами и на этом учиться главной доблести моей страны — терпению.

Впрочем, были и радости. Радости до сих пор не забытые. Радостью был сам Борис Федорович. Это был *отставной артист*, и слово «артист» было все-таки главным в этом сочетании. Живой ум, живой глаз, юмор — качеств этих было вполне достаточно, чтобы мы, его ученики, искренне его полюбили.

Стихи, повторяю, наводили на меня скуку. И я нашел свою радость в прозе. Это был отрывок из романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Мне нравился роман, мне нравился и отрывок. А всем вокруг (сразу!) ужасно понравилось мое исполнение этого отрывка. Меня стали всюду выдвигать. Раз двадцать я выступил в разных концертах. Я достиг пика блаженства от успеха и сознания собственной силы. Потом сила стала куда-то исчезать. А потом исчез и успех. Я узнал первый в жизни творческий кризис.

Причиной успеха — я убежден в этом! — была моя мама, Евгения Михайловна, педагог фортепьяно в детской музыкальной школе Калининского района, что на улице Комсомола возле Финляндского вокзала.

Отец в это время был исключенным из партии безработным. Он мучительно искал выхода из безденежья и депрессии. Жили мы на заработки мамы — зарплата в школе плюс ученики. В нашей единственной комнате четыре часа в день звучал рояль (подаренный бабушкой в день, когда мама блестяще окончила Петроградскую консерваторию) и звучал мамин голос: «Руку не вали!.. Легато, легато... Педаль убрать!.. Смотри в ноты!»

Со мной мама роялем не занималась. Я уворачивался, а она не настаивала. А вот мое «художественное чтение» она находила время и слушать, и корректировать. «Весь зал битком набит говорливой молодежью» — этой фразой начинался мой отрывок. Сто раз (а может быть, двести) я начинал, а мама прерывала меня: «Не с той ноты начал!», «Не рви фразу!», «Определеннее ставь точку!».

Ой, как я кричал! «Мама! Ты же не слушаешь дальше! Откуда ты знаешь, с какой ноты надо начинать?! Ты с такой, а я с такой!»

А мама отвечала: «Надо слышать, с какой ноты автор начинает. И куда ведет».

Незаметно, с диким сопротивлением я впитывал законы ритма — те законы *музыки речи*, которыми так владела моя мама... Отсюда и успех! Отсюда и кризис — овладение законом не дает гарантии успеха! Нужно непрерывное *обновление* внутри себя. А этого я не умел и в те времена даже не знал, что это необходимо.

Как всегда, в моей насквозь идеологизированной стране чем больше угасал я творчески, тем активнее меня *выдвигали*. Меня назначили участвовать в очень

ответственных, совсем *взрослых* концертах. Я должен был читать стихи перед каждой песней знаменитого детского хора Дворца пионеров. Голоса были звонкие, песни, так сказать, дежурные, а стихи... чудовищные. Одно особенно запомнилось:

Шумят леса, зеленые леса,  
Партизаны проходят лесами...  
И творят чудеса...  
Верим мы в чудеса,  
Которые делаем сами.

Этот стих преследовал меня даже во сне. А еще я читал о лесополосах, оживляющих пустыню (и тогда уже знали, что это вранье), о том, что мы за мир во всем мире (и тогда уже подозревали, что это не совсем так). Концерты стали мукой. Борис Федорович болел и не мог вмешаться. А до меня донеслись слухи, что есть самодеятельный театрик в педучилище. Учатся там одни девочки, и они для исполнения мужских ролей наводят себе углем усы под носом. Им позарез нужны мальчики. А никто не идет — боятся.

И я бежал! Прямо с концерта, не дочитав своих стихов за мир, я бежал от красных галстуков, от звонких голосов, от ярко освещенной эстрады большого Аничкова дворца. Бежал из зала, полного умиленных лиц идеологически подобранных взрослых зрителей. Бежал, чтобы стать единственным мальчиком в театрике абсолютно женского педагогического училища имени Некрасова. К этому побегу мы еще вернемся.

А пока минуем Дворец, и будем удаляться от Аничкова моста, и пойдем дальше вниз по Фонтанке (или вверх? — в Ленинграде это непонятно: земля плоская, даже удивительно, что реки не стоят на месте, а текут... и быстро текут).

Здесь по обоим берегам хорошие, крепкие дома. Прохожих почему-то мало. Вдоль приречного тротуара деревья шумят кронами. Солнце светит северное, нежаркое, мягкое. Да и в дождь здесь хорошо. Питеру идет дождь. Прикрыться плащом и, если только ботинки не промокают, часами можно мерить эти тихие набережные. Зияют арки ворот, и за ними (всегда!) мрачные дворы. А в этой части Фонтанки все дворы проходные — один в другой переходит. Извиваются туннели длинных арок и (если знать!) выводят в конце пути аж к Александринскому театру.

В одной из подворотен вход в сложную, многолюдную, путаную организацию, полную талантов, самолюбий, притворства, пошлости, рутинны, обаяния, юмора, интриг, — ЛЕНКОНЦЕРТ.

Отец мой, Юрий Сергеевич Юрский, в последние годы своей жизни был художественным руководителем этого разудалого монстра. Ух, какое собрание людей! Тут были любимцы публики, которых ждали с нетерпением во всех лучших залах страны и которые делали по двадцать — двадцать пять концертов в месяц.

Тут были нелюбимцы публики, которые никому не были нужны, но которые, заводя корыстную дружбу с гастрольным отделом, делали по сто двадцать — сто пятьдесят концертов в месяц, подписывая фальшивые рапортчики, являясь в треснувших лакированных ботинках и мятых бабочках в подвалы жилконтор и на чердаки красных уголков универсальных магазинов.

Тут был потрясающий конферансье — юморист Владимир Дорошев. Мой отец, который многого навидался и наслушался в жизни, который сам обладал блистательным даром смешить, хохотал над дорошевскими остротами и в момент их рождения, и потом дома, и на следующее утро, и при новой встрече с Володей. Позже мне довелось играть с Дорошевым в блестящих «капустниках» Александра Белинского на самых элитарных площадках Ленинграда и Москвы. Володя, как говорится, «укладывал в лежку» всю театральную элиту обеих столиц и нас, его партнеров, вместе с элитами. Блестящий остро слов, импровизатор и полемист. И никогда — вот чудо: никогда! — не имел он настоящего успеха у публики, которая называется «широкой».

Тут были сверхпопулярные и при этом, несомненно, талантливые конферансье — куплетисты Рудаков и Нечаев. Тут блестящий и непритворно оптимистичный Бен Бенцианов. Еще не совсем ушел в *полную самостоятельность* и в свой звездный залет Аркадий Райкин, в прошлом ученик моего отца по школьному драмкружку в двадцатые годы.

Тут были чтецы — профессиональные выкрикиватели призывов и лозунгов во время первомайских демонстраций на Дворцовой площади. Фокусники, умеющие с гениальной легкостью красть часы с руки и подменивать карты. Эти быстро выходили на международную арену и, выучив несколько иностранных фраз, исчезали где-то на маршрутах бродячих цирков стран народной демократии. Тут были небывалые молодые акробаты, показывающие чудеса атлетики, но через пару лет спивавшиеся и менявшие сцену на службу грузчиков винных отделов гастрономов.

Расплывшиеся пожилые дамы со «штукатуркой» на лице — ведущие третьестепенных концертов, навсегда оглушенные бессмысленностью своего занятия.

Веселые пошляки, на многое не претендующие, но свое урывающие. Были люди, которые своей профессией сделали пребывание в курилке и рассказывание анекдотов с последующим надрывным смехом. Авторы — то слишком серьезные для эстрады, то недостаточно серьезные, но никогда не попадающие в точку. Певицы, выучившие за всю жизнь три песни плюс одну «на бис». Братья-аккордеонисты, исполняющие с нечеловеческой скоростью чардаш Монти.

Тут были артисты всех драматических театров Ленинграда, подрабатывающие на эстраде отрывками из пьесы «Кремлевские куранты» и исполнением рассказов А. П. Чехова.

И я там был, мед-пиво пил. В рот не особо много попало, а усов, по которым могло бы течь, тогда по молодости лет еще не было.

А у отца были. И усы, и борода. В месиве Ленконцерта хлебнул он и радостей, и огорчений предостаточно. Но, не входя в подробности, чтоб не слишком задерживаться на одном месте в нашей прогулке, скажу только: Юрий Сергеевич в этой пестрой разноталантливой массе был самым культурным человеком. Его образованность, манера речи, стиль общения сильно облагораживали это учреждение. И люди (представьте!) это ценили. Одни — при жизни отца. Другие — путем сравнения, когда отец умер и руководить пришли новые люди.

Умер отец внезапно, пятидесяти пяти лет от роду. Прощались с ним в Театре эстрады. Гроб стоял на сцене. Толпа в зале, и в фойе, и на улице Желябова перед входом была (без преувеличения) несметная.

Миную еще несколько домов. С каждым из них в жизни что-то связано, но... минуем... Вот и «Ватрушка» — площадь возле Чернышева моста. Стиль ее определяет выходящая сюда форсистая балетная улица Росси. Под стать ей арка, под которую ныряет транспорт, идущий в сторону Садовой. И тут же — поскромнее, победнее — отроги множества малых арок торгового Апраксина двора. Это все справа. А слева — башенки Чернышева моста. Четыре штуки — по углам. Темные, строгие. Конечно, поскромнее коней Аничкова моста, но тоже вполне ничего.

Если перейти мост и пройти по Чернышеву переулку всего один квартал, будет место, которое все знают как Пять углов. Здесь сходятся несколько улиц. И здесь, на Разъезжей, 5, — моя школа № 299. Учился тут с седьмого по десятый класс.

Я знаю, что нынче хорошим тоном считается вспоминать школу как каторгу, рассказывать, как школа мешала жить и развиваться, подавляла естественные желания, убивала любовь к литературе, науке, образованию и к жизни. У меня было не так. Ну что тут поделаешь: у меня в моей самой обычной мужской средней школе № 299 было не так. Школа мне нравилась, и окончил я ее с золотой медалью.

Дорогие мои учителя! Слеза и поклон вашему праху! Троих самых любимых назову:

Андрей Борисович (прозвище Бык) — литература, русский.

Василий Матвеевич (прозвище Фока) — математика.

Валентина Лукинична — классный руководитель и французский язык.

В Валентину Лукиничну (прозвище Путятична) мы были все влюблены. А была она старше нас лет на шесть-семь, не более. Мы были первыми ее учениками. Язык французский полюбили мы из-за нее. Через сорок лет я даже работал в парижском театре и играл на французском языке — и ничего, говорили, что произношение приемлемое. (Подчеркну: школа была самая обычная, не специальная.) И контакт с Путятичной — Валентиной Лукиничной Нефедовой — поддерживали мы долгие годы, до самой ее кончины.

А второй золотой медалист нашего выпуска — Миша Перельцвайг. Он теперь очень успешный инженер-электронщик в довольно известном городе Сан-Франциско. Говорит, как принято в этом городе, на английском языке, но кое-какие французские выражения до сих пор помнит. Ну и правильно! Первая любовь не забывается.

### *Каменный-деревянный*

Башенки Чернышева моста далеко видны. Минуешь его, обернешься — вот они, башенки, как на ладони, крепкие, черные. И цепями связанные. Каменный мост и сам гордится, что он такой вот — каменный.

А следующий мост — он совсем близко — без всяких отметин и надстроек. И деревянный. Просто дугообразный настил из досок. И невысокое ограждение. В пятидесятые по нему еще ездили машины. А потом стал он только пешеходным — доски прогнили, дыры появились. Это Лештуков мост. Может быть, самый главный в моей жизни.

По правому берегу, не доходя моста, Издательский дом. С ним немало связано. Тут редактировались и печатались главные ленинградские газеты. Было время, я дружил с ними. Здесь я опубликовал свои первые пробы пера. Впечатления о первых дальних гастролях БДТ в Англию и Францию шли в газете «Смена» — с продолжением в четырех номерах. В журнале «Пионер» — тоже в нескольких номерах — попытка разобраться в том, зачем вообще нужны нам театр, музыка, живопись и всякие разные искусства. И почему они так странно изломались все сразу в нашем XX веке.

В те годы меня увлекал и пугал модернизм. Я его то обожал, то ненавидел. И неожиданно открывал его... в собственных работах.

В Издательском доме не раз давал я концерты для сотрудников — среди бела дня, в обеденный перерыв, в большом неуютном конференц-зале. Народу набивалось много, и именно здесь рисковал я впервые «прокатить» мои самые непростые эксперименты в жанре монотеатра: «Веселые нищие» Р. Бёрнса, «Юлий Цезарь» Шекспира, «Кольцов с утра до вечера» М. Жванецкого (тогда еще не знаменитого). Здесь и другая была для меня пора. Вторая половина семидесятых — полный запрет упоминать мою фамилию в печати. Я еще продолжал работать — играл, ставил, давал концерты. Рецензии бывали — почти всегда ругательные, — но фамилия не упоминалась. Приказ есть приказ!

Перейдем-ка на другую сторону речки. По деревянному с дырками Лештукову мосту, далее (недалеко) по Лештукову переулку на Загородный проспект. А от него за угол — большой серый дом на Звенигородской, 10, — педагогическое училище имени Некрасова. О нем я уже говорил: сюда сбежал от «художественного слова», чтобы играть на сцене, пусть маленькой, но с настоящим занавесом.

Я должен задержаться на этой теме, потому что здесь мой грех, и никак мне его не выкинуть из души.

Руководила драматическим кружком довольно миловидная кокетливая дама неполных средних лет — Евгения Ильинична Тищенко. Рассказывали, что когда-то в училище среди трех сотен девочек было два мальчика, и она обоих в приказном порядке забрала в свой театрик. Но мальчики стеснялись, играть не хотели, а потом вообще дали деру и из театрала, и из самого училища. Без мальчиков кружок стал глхнуть. И вот со стороны появился я. Евгения Ильинична воспряла духом, открылись хоть какие-то репертуарные возможности. Восемь девок, один я — это, конечно, не труппа, но все-таки некое подобие. Не очень просто найти пьесу, где одна мужская роль, остальные женские, но все же, все же...

Начав в конце сентября, мы к празднику 7 ноября выпустили сцену из третьего акта «Ревизора» Гоголя. Действующие лица: Анна Андреевна, Марья Антоновна и Петр Иванович Добчинский. Это и был мой первый выход на сцену — в костюме, в гриме, с партнерами. В первый раз я с замиранием сердца и тайным восторгом пробовал публично быть другим человеком. Сорок девятый год... Пятьдесят лет назад... Боже мой!

Пожилой педагог училища написал мне стих после премьеры:

Прекрасный Петр Иванович,  
Прекрасное начало.  
Лишь одного брюшка недоставало.  
Но не печальтесь, я скажу вам на ушко —  
Пройдут года — появится брюшко.

Он угадал, этот доброжелательный педагог! Евгения Ильинична сияла, радуясь за нас и принимая поздравления. Через много лет, когда я стал уже довольно известным артистом, в многочисленных интервью, а потом и в книге, которую я написал, я всегда называл моей первой театральной школой театр университета под руководством Е. В. Карповой. Евгения Ильинична позвонила мне как-то и горько пожаловалась: «Неужели ты забыл, что начиналось-то у тебя все на Звенигородской с моими девочками? Неужели ты не помнишь, как я работала с тобой, и вообще, с чего все пошло?» Я тогда формально извинился, сказал, что, разумеется, все помню, что зайду к ней, навещу...

Но жизнь была бурная, много интересов, много обязанностей. Кажется, мы даже повидались, да, да, она жила уже в Доме ветеранов сцены. Подробностей не помню, потому что если и повидались, то тоже формально — букетик цветов, коробочка конфет. А потом Евгения Ильинична не стало. Такая миловидная, такая кокетливая, такая яркая, казалось, женщина. Умерла незаметно, и почудилось, глядя назад, что и прожила незаметно.

И вот теперь моя возрастная (чтобы не сказать, старческая) дальновзоркость вдруг ясно и четко, пропуская десятки лет, пропечатывает те далекие два года учебы в девярых-десятых классах и ежедневное хождение на маленькую сценочку педучилища. Водевиль «Беда от нежного сердца» — роль Сашеньки и успех районного масштаба, «Женитьба Бальзаминова», антирасистский скетч «Белый ангел» — я играл негра, и без особых затей меня просто и густо вымазывали черным гримом. За тридцать минут действия я успевал выпачкать собственный костюм, стены, кулисы, пол, мою партнершу с ног до головы и даже зрителей первого ряда — больно близко сидели.

Все это было. Всему этому отдавали мы силы, время. А Евгения Ильинична отдала большее — всю жизнь целиком. Другого у нее не было.

Позднее понимание — тоже понимание. Но все-таки оно позднее.

Вернемся на Фонтанку. Тут пешком идти — десять минут от силы. Опять мы у деревянного Лештукова моста. Мы стоим на левом берегу и смотрим на правый. А знаете ли вы, уважаемый читатель, во что на правом берегу упирается дощатый Лештуков мост? Знаете, наверное! Конечно! Он упирается в дивный гармоничный торжественный фасад Большого драматического театра. БДТ имени Горького — так он назывался, когда я пришел в него и когда Лештуков мост был еще деревянным.

В год, когда пишу я эти строки, БДТ исполняется 80 лет. Двадцать из них я был одним из ведущих актеров этого театра — четверть его жизни, половину моей жизни профессионального актера. Теперь он называется АБДТ (Академический) имени Г. А. Товстоногова. Но это не товстоноговский театр — десять лет, как великого человека, Георгия Александровича, нет на этом свете.

А я служил этому театру, когда он назывался Театром Горького, но был истинно товстоноговским. Это был расцвет его сил, его режиссуры. Это было время формирования одной из лучших в мире трупп. Время мощной динамики поиска тем, пьес, новых театральных форм. Время колоссального успеха — всесоюзного, восточноевропейского, а может быть, даже общеевропейского. Время, когда театр реально влиял на становление личности своих зрителей. Это не преувеличение, это правда. На какое-то время общество негласно, но определенно признало театр своим духовным лидером. Это было исключительное явление в исключительных, далеко не благоприятных обстоятельствах.

О Товстоногове и его театре нужно говорить отдельно. В наше лирическое, скорее сентиментальное, путешествие не помещается подробный и откровенный анализ. Обязуюсь посвятить этому специальную главу.

А пока я стою на берегу Фонтанки и разглядываю через реку знакомый фасад. Я даже не уверен, найду ли я вовнутрь. Это для меня теперь каждый раз — поступок. Готов ли я к нему сегодня?

Вот он стоит, отдельно от меня, Большой драматический театр (бывший Суворинский). И я стою отдельно от него. И не тороплюсь уходить. Просто смотрю, и крутятся в голове пушкинские слова:

Где я страдал, где я любил,  
Где сердце я похоронил.

### *Далее и далее вниз (или вверх?) по реке*

Довольно долгое время казалось, что здесь, у Лештукова моста, кончается мир. Да так оно и было — мой мир кончался здесь. Ходить дальше было просто незачем. Учение, любовь, интересы, свидания, кино, театр, работа — все как-то укладывалось до этой черты. А если и расширялось, то только по другим, перпендикулярным Фонтанке направлениям: или по Невскому через мост на Васильевский остров, или на многочисленные тихие Советские улицы, параллельно устремляющиеся к Суворовскому проспекту, или точно — на Лахтинскую улицу, на проспект Добролюбова Петроградской стороны. Там были окна, под которыми я стоял, сгорая от ревности и надежд.

Вы сами заметили, наверное, уважаемый читатель, что окна, под которыми стоишь, всегда почему-то далеко от твоего дома и транспортное сообщение между этими двумя точками почему-то (всегда!) скверное. К тому же стоишь (почему-то?) всегда в ночное время, и транспорта вовсе нет. Конечно, есть такси (кстати, такси в те далекие и проклинаемые ныне времена было доступно даже малоимущим студентам), но такси — попробуй поймай (надо признаться, что в далекие и проклинаемые ныне времена поймать такси — это как поймать Синюю птицу). К тому же с возвращением домой всегда какие-то добавочные проблемы: летом мосты разводят, опоздал — сиди до утра, жди; зимой мосты не разводят, но на мосту этом так мороз проберет, что думаешь про себя: «Не-е-ет, все, больше меня под эти окна не заманишь!» Так и думаешь... твердо... долго... до самого следующего вечера.

Так что пути мои расширялись, но долгое время не удлинялись по хребту моей жизни — по Фонтанке. Здесь путь до БДТ — и точка! Я ведь в БДТ ходил задолго до того, как стал работать в нем. Лет десять я был сперва его исправным зрителем. Я обожал этот театр — все спектакли видел, всех актеров знал (издали, конечно!). Ну а что там, дальше по Фонтанке, что там за БДТ — неведомо. Кажется, ЛИИЖТ — железнодорожный институт... А на другом берегу какие-

то четыре трубы в ряд маячат... Завод? Какой? Буксир тянет баржу туда, вниз (или вверх — всегда путаю), — туда, где дома теряют свой жилой вид и превращаются в мрачные заводские корпуса. Туда, где небо всегда низко висит над серой водой и серым асфальтом. Там облака смешиваются с дымами. Изредка украсит картину трамвай, желтой гусеницей проползающий по дальнему мосту, а потом снова сплошной колонной грузовики, грузовики — серые, ворчливые, подпрыгивающие на кочках и рытвинах.

Слава тем, кто жил на одном месте и не расширял круга, предками очерченного для жизни. Слава тем, кто не соскучился в этом кругу, а шел вглубь — к тайнам дарованного им кусочка природы (ведь природа и на малом пространстве бесконечна), к тайнам неба, которое все равно над нами, движемся мы или стоим на месте, к тайнам своего сердца. Слава им, НЕПУТЕШЕСТВЕННИКАМ, слава НЕПОВЕРХНОСТНЫМ ЗНАТОКАМ всего на свете. Но мы, жители больших городов, в притком, егозливом XX веке на это не способны. За каждым мостом другой мост. За теми домами другие дома. За одним перекрестком, какое направление не выберешь, будет другой перекресток.

Пойдем-ка дальше по речке Фонтанке. Пойдем, постукивая ладонью левой руки по пупырчатым чугунным перилам парапета, нагретого июльским солнцем. Лучше всего просто идти и ни о чем не думать. Так оно и получается... первое время. Но потом невольно натягиваются незримые ниточки между деталями пейзажа и собственной жизнью.

Вот тут жил одно время мой друг Олег Басилашвили. К нему сюда я заявился с чемоданом однажды на рассвете после крушения семейной жизни.

Вот Гороховая улица — тесная, грязная. В те годы она называлась улицей Дзержинского, но название не прижилось — все равно звали ее Гороховой. Ничего особенного в этом названии нет, но упрямо звали так, а не иначе. Здесь жил (говорят!) Илья Ильич Обломов. Может, и правда. Здесь, было время, проживали интересные наши младшие коллеги, режиссеры Кама Гинкас и Гета Яновская. У них за чаем и сухим вином познакомился я с удивительным парнем, пишущим отличные, небывалые стихи, независимым и упрямым. Звали его Иосиф Бродский.

Налево идут пути к Витебскому вокзалу. А на следующем мосту, тоже налево, открывается длинная-длинная перспектива Московского проспекта. Тут сперва будет мощный транспортный узел — Техноложка. Здесь и пересадка метро, и скопление троллейбусов и трамваев всех направлений, и сам импозантный фасад Технологического института с неординарным памятником Плеханову перед ним. Тут всегда торгуют цветами.

Даже в периоды кровавой борьбы с частным сектором, когда карали за торговлю с рук, за любой вид извоза, подвоза и вообще за всякую передачу денег из рук в руки между гражданами, у Техноложки все равно торговали цветами. Только в одном этом месте, на весь громадный Ленинград, в любую погоду и в любое время года. И ясно было: кто на свидание явился с букетом, тот, значит, не поленился скататься сегодня к Техноложке.

Рядом, на Бронной, — «чистилище». Тут спасение питерских актеров, вечно страдающих от сырого ленинградского климата ангинами, насморками, хрипотой. Институт уха-горла-носа с лучшим (может быть, в стране?) кабинетом фониатрии. Лечат связки, восстанавливают звучание наших тусклых голосов. Проверенная врачебная школа Лебедевой, Шамшевой, Петровой, Райкина (Ральфа Исааковича — брата Аркадия). Тут всегда веселая актерская очередь и мнимо суровые, а на самом деле тоже веселые врачи.

А Московский стремится дальше. Перепрыгивает через мутный Обводный канал, справа показывает на секунду мрачноватую верхушку Варшавского вок-

зала и бежит, огибая арку Московских ворот, к Электросиле и Парку Победы. Тут мой адреса... памятные... незабываемые... «Актерский» дом на Бассейной, где в соседях с Копеляном, со Стрельчиком прожили и мы с Зиной Шарко семь лет нашей любви, нашего партнерства на сцене, круговорота нашего общения с близкими и дальними.

И на Московском же — последний мой ленинградский адрес. Это поближе к центру — напротив гастронома «Здоровье». Тут бросили мы якорь с Наташей Теняковой. Здесь родилась наша дочь Дарья. Здесь, бывало, засиживались допоздна, оставались ночевать и продолжали наутро бесконечные споры-разговоры Белла Ахмадулина, Илья Кабаков, Отар Йоселиани...

Московский проспект уводит от Фонтанки все дальше и дальше. И если упрямо идти по нему (или ехать), то, естественно, окажешься в Москве. Только надо быть очень упрямым, потому что расстояние все-таки большое — почти восемьсот километров.

Однажды так и случилось. Жизнь заставила быть упрямым. Хозяева Ленинграда просто видеть меня больше не могли. Встал я им, видимо, поперек горла. Категорически решили они меня не видеть и все сделали, чтобы и никто другой не видел меня — ни на сцене, ни на экране. Нас (таких, которые поперек горла) много было в Питере. Я думаю, десятки тысяч. И вот мы побежали. Все по Московскому проспекту. Одни далеко, до Пулковско — там аэропорт, и — через Москву, через муки ОВИРа и таможни, со слезами и надеждами, в дальние страны. Другие... куда попало, лишь бы подальше от глаз свирепого Смольного и Большого Дома. А мы с Наташей, Дашей и котом Осипом по прямой... всего только до Москвы. Правда, там везде заставы: прописки не дают, жилья нет, а без прописки на работу не принимают. Годы прошли — целых три года, — пока очередным усилием вырвались, выскользнули и... покинули *все*, от чего, казалось, вовек нас не оторвать.

Прощай, город с мостами!

Прощай, малая родина!

Прощай, моя Фонтанка!

Август 99

Менделеево



## В пределах нормы

РАССКАЗЫ

### *В ОЖИДАНИИ ЗИНЫ*

Часов в девять или нет — в полдесятого почти все старье третьего подъезда выползло на свет Божий. И расселось по скамейкам. Хотя самые молодые и нервные старики не садились, они стояли группами человека по три. А самые ленивые и больные торчали в окнах своих бетонных квартир и на балконах — свешиваясь в ожидании через перила, чтобы глядеть влево, на дорогу. Дорога шла мимо дома номер сорок, и по ней приходила почтальонша Зина. Если, конечно, приходила. Вчера, к примеру, ее вообще не было. А позавчера была. В пять часов вечера во втором подъезде. Значит, теперь пришла очередь подъезда следующего, третьего.

Сашка-рыбак следил за обстановкой с высоты четвертого этажа, с балкона. «Мне сверху видно все, ты так и знай», — бормотал он протяжно. Может быть, он даже пел. Потом, увидев внизу своего друга, старого пьяницу Алябьева, Сашка закричал:

— Володька, ты на почту не ходил?

Алябьев поднял глаза на Сашку и промолчал.

— Сходи! — крикнул Сашка. — Заодно возьмешь для души.

Алябьев опустил глаза и отвернулся от Сашки. Он даже в вечном своем похмелье понимал, что на почте ему делать нечего. А вот Сашка этого не понимал. И не только этого он не понимал. Он ничего по большому счету не понимал. Потому что Сашка — дурак. И всегда был дураком. И будет им во веки веков, пока не умрет. Он только рыбу свою знает. Которую давно в пищу принимать нельзя по причине загрязнения ее окружающей среды. Водного в смысле пространства. А Сашка только и делает, что ее ловит. И сам ест, и кота кормит. Кот у него уже в темноте светится и лысый весь стал от такого сбалансированного питания. А Сашка — ничего, с нормальным волосатым покровом по всему телу. На годы свои невзирая и несмотря. Он говорит: «Меня не только радиация не берет, но и вся таблица Менделеева не пугает». Правда, что это за таблица такая, Сашка помнит расплывчато. В школе они эту таблицу вроде бы проходили, но это когда было! Не по школе он ее помнит, а по газете, которую всем подряд, а особенно пенсионерам, перед выборами раздавала бесплатно. Так вот газета эта писала, что река наша всю таблицу Менделеева содержит, и тот, кто в реке купается или ест из нее рыбу, рискует своим здоровьем и самой жизнью.

Хотя все сейчас этим рискуют. Тот же Алябьев подвергает себя смертельной опасности ежедневно, покупая с рук левую водку за две гривны. Он риск по характеру своего похмелья чувствует. Не бывало похмелья такой тяжести от обычной нормальной водки. Никогда не бывало. Но нормальная заводская водка стоит теперь по пять гривен и дороже, и где же столько денег можно набрать, если ты неработающий пенсионер и к тому же пьющий? Негде их набрать. Алябьев себя уговаривает, что левую водку производит депутат райсовета Жарко и травить ему своих избирателей смысла нету.

Смысла, конечно, нету, а риск есть. Так что риск — дело, как говорится, благородное и неизбежное. Вот Матвеевна разве не рискует неизлечимо зара-

зиться, когда из мусорного бака пропитание себе извлекает? Рискует. А говорит: «Ну и что? Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Зато пенсию свою Матвеевна откладывает. На похороны. Ей же под восемьдесят. Хотя по шустрости и подвижности никто ей и семидесяти не дает. Ей шестьдесят шесть дадут. Это максимум. И на похороны она уже второй раз в своей жизни деньги копит. Первый раз в 91-м году Матвеевна их скопила, набрав достаточную сумму, но деньги пропали в пламени и издержках рыночных реформ. Пришлось ей сначала все начинать, заново. Алябьев по этому поводу говорит, что такие старухи, как Матвеевна, живут вечно и от них человечеству вместо пользы один только вред. Алябьев Матвеевну не любит.

— Зачем тебе пенсия? — говорит он. — У тебя ж под каждым кустом и стол, и дом готов, можно сказать.

— Пьяница, — отвечает Матвеевна, продолжая глядеть на дорогу. — Сволочь!

Алябьев на Матвеевну не обижается. Он вообще не обижается на старух. Он применяет против нее другое грозное оружие.

— Одолжи трешку, — говорит Алябьев и берет Матвеевну под локоток. Нежно берет.

— Сволочь, — говорит Матвеевна, — и алкоголик!

Алябьев поднимает голову и кричит Сашке:

— Сашка, спускайся. Матвеевна нам трешку одалживает — жертвуя от своих будущих похорон! С барского, как говорится, плеча!

Сашка кричит в ответ:

— Ты лучше на почту сходи! Не даст эта старая падла трешки!

Алябьев держит Матвеевну и возражает Сашке:

— Даст! — Но Матвеевна выскальзывает из неверной руки и бежит в подъезд — прятаться за дверями собственного жилища. — Не даст, — констатирует Алябьев и садится в песочницу. И начинает пересыпать песок из ладони в ладонь. Песок сыплется медленно, охлаждает и сушит руки. Алябьев черпает его и сыплет, черпает и сыплет. Пока в руке у него не оказывается кусок дерьма. К счастью — подсохшего и собачьего.

— Блин! — говорит Алябьев. Он стряхивает дерьмо на землю, трет рукой об руку и вылезает из песочницы.

— Ты уже наигрался? — спрашивает у него Светка — дочь нового украинца Валика. Правда, новым Валик стал только на той неделе и неожиданно для себя самого. Так как-то у него получилось. Против воли.

Алябьев смотрит на разодетую в джинсовый комбинезон и белую блузку Светку. Светка стоит с лопаткой и ведром в руках и смотрит на Алябьева.

— Там дерьма полная песочница, — наконец говорит Алябьев.

— Туда Альма какать ходит, — говорит Светка.

Кто такая Альма, Алябьев не знает. Собак в округе развелось черт знает сколько. В сороковом доме их, правда, в общем и целом нет, в сороковом больше коты и кошки у людей содержатся. Потому что население сорокового дома на восемьдесят процентов состоит из пенсионеров. И им не на что кормить собак. А в других домах собак много. Предостаточно, можно сказать, в других домах собак.

Светка перелезает через деревянный борт и садится. Задом — в песок.

— Штаны испачкаешь, — говорит Алябьев. — Дерьмом.

— А мне папа новые купит штаны, — говорит Светка и показывает Алябьеву язык.

«Совсем распоясались дети разных народов», — думает Алябьев, и отворачивается от Светки, и смотрит на дорогу. По дороге идут разные люди. Тетка с пакетами, мужик с синяками, кто-то еще. Почтальонши нет.

Старики то там, то тут гудят, выражая свое недовольство. Дед за спиной у Алябьева предлагает идти всем вместе на почту и пикетировать ее здание. И пока не выплатят — не расходиться. До полного и безоговорочного победного конца.

— Надо не почту пикетировать,— учит пенсионер-гинеколог Анна Львовна,— а бывший обком. Там теперь областные власти сидят, от которых зависит.

— Да что от них зависит? — возражают слишком умной Анне Львовне.— Власти здесь бессильны, потому как мудаки.

— Менять их надо, путем великой октябрьской революции.

— Октябрьская революция в ноябре была, а сейчас сентябрь.

— Значит, время еще есть.

— Зина.

Это слово произнесла неизвестно когда вернувшаяся в строй Матвеевна. И все ее услышали. И повернули лица в одну сторону, как по команде «равняйся». Действительно, по дороге шла Зина. Почтальонша с двадцатилетним стажем. И несла она в руках три газеты и одно письмо. Но те, кто ждал ее у третьего подъезда, этого еще не знали. Не могли они видеть с большого расстояния своим старческим зрением — что именно и чего сколько она несет. Они ждали.

Зина дошла до начала дома и свернула в первый подъезд. Через минуту вышла и зашла во второй. Потом она прошла сквозь пенсионеров, сказав: «Здрасьте»,— дошла до самого последнего, шестого, подъезда и вошла в него. Вернулась Зина с пустыми руками. Пенсионеры перегородили дорогу.

— Ну,— сказали они,— деньги есть?

Зина остановилась перед кордоном из стариков и старух и сказала:

— На почте денег нет. Ни копейки.

— Когда будут?! — заорал Алябьев.— Мне на хлеб надо.

Зина не ответила Алябьеву. И никому не ответила. Она просто сказала в пространство:

— Позавчера в полпятого привезли деньги. Может, и сегодня привезут. Ждите.

Старики стали говорить громко и хором: мол, как это ждите, как это ждите, нам положено еще третьего числа, сегодня двадцатое, вы обязаны. Они обступали Зину, окружали ее и сжимали кольцо окружения.

— Да пошли вы! — сказала Зина и вынула что-то из кармана.— Это газовый баллончик,— объяснила она.

— Зачем баллончик? — сказал Алябьев.

— В целях безопасности,— сказала Зина.— Нам под расписку выдали.

И тут Алябьев стал орать:

— А-а, значит, на наши деньги вам баллончики покупают! Гады! Давай деньги! Мне на хлеб надо.

Зина не испугалась крика Алябьева. Она к крикам давно привыкла и считала их нормальным явлением природы. Она сказала:

— Отойди, дед.

— Не отойду,— сказал Алябьев.

— Брызну,— сказала Зина.

— Брызгай,— сказал Алябьев и рванул на себе пиджак.

Зина брызнула ему в нос и пошла на почту. А Алябьев постоял обрызганный, прислушиваясь к себе и к своему организму, постоял и сказал:

— Не действует. Матьеэвну за грудки и тряхнул.— Дай трешку, старая, дай трешку — это дело надо обмыть.

Матвеевна попробовала вырваться, поняла, что ничего у нее в этот раз не получится, и, набрав в себя побольше воздуха, медленно начала кричать: «Помогите!»

### **ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛОСИПЕДИСТА**

Он ездил на велосипеде. Везде и по любой надобности. И внутри города, и за его пределами. Сделал из гоночного велосипеда гибрид и в любую погоду на нем ездил. То есть он шины на колеса натянул обычные, дорожные, и руль заменил — чтоб не сидеть во время езды в три погибели. А на спину надевал зеле-

ный рюкзак. Где у него все необходимое хранилось и куда можно было положить то, что нужно. Например, две трехлитровые банки с медом. Ему мед детства с малой родины привозил бидонами, а он его здесь, в городе, распространял среди своих городских коллег, сослуживцев, знакомых, родственников и друзей. По довольно выгодным низким ценам. Ниже рыночных. И тем более ниже магазинных. При этом надо учесть, что мед Жоре привозили экологически чистый. Как слеза. И чаще всего майский. Самый полезный, значит. Если для лечебных целей его применять. Да и в пищу с молоком или чаем употреблять этот мед было одно нескончаемое удовольствие. Жора говорил: «Жидкий янтарь».

Но мед — это Жора так продавал. Из любви к искусству. И ради поддержки своих исторических связей с родной деревней. Зарабатывал на его продаже он копейки и даже гроши, притом всего два месяца в году — июнь да июль. Он так и говорил: «У меня каждый год по два медовых месяца бывает». А основным Жориным заработком был не мед. Наоборот, это был творческий интеллектуальный труд двух близких направлений. Во-первых, Жора заведовал в одной местной газете страницей юмора и сатиры. Приезжал на велосипеде в редакцию, снимал с себя потное и грязное трико, переодевался в рубашку с брюками — и заведовал. А во-вторых, он в свое личное время редактировал ежемесячное периодическое издание для маленьких евреев. Детский журнал «Киндер».

К евреям Жора родственного отношения не имел — ни к маленьким, ни к большим. И вообще никакого отношения он к ним не имел. В его деревне и слова такого не знали. А живого еврея видел только завмаг Радюченко, когда служил на флоте. Даже старейший председатель колхоза Анатолий Родионович Трехалов не видел за всю свою трудовую жизнь ни одного живого еврея. Ну не пришлось. Не в этом дело.

Просто Жору порекомендовали друзья — как подходящего для такого случая редактора и по совместительству художника-карикатуриста. Что в деле издания журнала для детей совсем немаловажно. При определенном, конечно, подходе к технологическому процессу. И он издателям понравился. Жора, в смысле как кандидатура. Потому что оправдал все их надежды и требования. Особенно насчет невысокой зарплаты и совмещения буквально всего редакционного штата в одном своем лице.

И, бывало, спросит кто-нибудь на работе в газете, где Жора Иванов, а ему отвечают:

— Жора Иванов в синагоге.

Многие этому ответу очень удивлялись, принимая его за такую специфическую шутку с национальным уклоном. А удивляться было нечему. Просто эти издатели — по происхождению израильские граждане из Винницы — назначали Жоре в синагоге рабочие встречи и свидания. Там и поговорить было где, и место расположения здания в центре города всех устраивало как нельзя лучше.

А еще Жора сам себя лечил. От всех буквально болезней. Методом полного голодания в течение тридцати и больше дней. Он говорил, что во время такого тщательного, тотального голодания организм очищается от всех шлаков и всех вредных продуктов пищеварительного распада. Они, эти продукты, накапливаются, накапливаются, накапливаются и, если от них периодически не избавляться, убивают постепенной медленной смертью, лишая человека жизни. И Жора избавлялся. Заодно худея до юношеской стройности и сберегая деньги для прокорма своей семьи. Она у него была немаленькая, состоящая из пяти разного возраста женщин: жены и четырех дочерей. Правда, выйдя из голодания по всем правилам и канонам народной медицины, Жора начинал есть, как с цепи сорвавшись, и снова набирал свой лишний вес. И очень быстро он его набирал. Благодаря тому, что был убежденным вегетарианцем и нудистом (второе обстоятельство не имеет отношения к первому и сообщено исключительно для полноты картины. Хотя что та-

кое «убежденный нудист» — непонятно. В чем здесь нужно быть убежденным? Сними штаны — и все). Так что в периоды между голоданиями Жора всегда пребывал с булкой в руке или с пряником или жевал какое-нибудь вафельное печенье, запивая его чаем, заваренным на талой воде. Такая вода тоже полезна для здоровья своими свойствами и своей чистотой. Жора вообще делал все, что полезно, и не делал того, что вредно. Потому что в молодости он все вредное испробовал и испытал на себе в избытке. Он и курил, и пил — и не как-нибудь пил, а запоями. Колоться Жора тоже из любознательности пробовал. Но это ему сразу не понравилось. Почему-то.

А теперь, значит, вредить себе и своему здоровью Жора больше не желал. Он желал, наоборот, жить без грехов. По возможности, конечно. Хотя возможности — это дело такое. Сегодня они есть, а завтра их нет. Насчет главного греха у Жоры все потихоньку начинало налаживаться. Благодаря течению лет и десятилетий. А насчет других — так это как посмотреть. Жена вот Жорина по его недосмотру в секту поступила. И детей туда норовит затащить. А Жора с нею борется не на жизнь, а на смерть. И пойдя разберись — грех эта борьба или наоборот? С одной стороны, с женщинами не борются, а с другой — чего не сделаешь ради детей и истинной православной веры в церковь Киевского патриархата!

Короче, много грехов на Жоре лежало. Не только собственных, но и родительских, к примеру. Отец его, допустим, жизнь по собственному желанию завершил. Ему приговор вынесли в сельской больнице — злокачественная опухоль, он испугался до смерти и повесился тайком в сарае. Вместо того чтобы в город на автобусе съездить — приговор свой уточнить и перепроверить. А опухоль при вскрытии оказалась на сто процентов доброкачественной, ее можно было легко вырезать скальпелем и жить еще, жить и жить. Мать тоже, видно, вела себя на свете как вздумается. Потому что, когда отец умер, она сказала: «Это мне наказание — за грехи». Значит, были у нее, наверно, грехи, о которых в такой трагический момент уместно оказалось вспомнить и сказать о них всем присутствующим без стеснения.

Зато Жора теперь каждое утро Библию читал, день с этого начиная. И заканчивал день тоже чтением Библии. Он ее уже третий раз так читал, по кругу. И многое запомнил и знал наизусть слово в слово. Он давно уже (если не считать учебников детей) в доме одну только книгу оставил — Библию. Поскольку вся мудрость человеческая в ней собрана и доступно изложена. Особенно в Новом завете доступно. Жора Новый завет всегда с большим удовольствием читал. Как хорошую художественную литературу-классику. И часто его цитировал по разным подходящим поводам.

Из-за этого пристрастия к Новому завету, кстати, он чуть работы не лишился. Второй в смысле работы, в журнале «Киндер». Ему издатели сказали, чтоб он изложил заповеди Моше в понятной детям дошкольного возраста форме. И приемлемый образец дали — как именно это нужно сделать. В израильских детских журналах таких образцов можно найти сколько душе угодно. Ну, Жора посмотрел, почитал, иллюстрации нарисовал к заповедям и сами заповеди написал от руки старинным заковыристым шрифтом. Только из Нового завета заповеди. Заповеди Иисуса Христа.

Так журнал и вышел с этими «вражескими» заповедями, которые практически ничем не отличаются от настоящих, хотя некоторые существенные отличия все же имеют. И что интересно, практически никто из еврейских ответственных лиц этого подвоха не заметил. Особенно главному городскому раввину понравилось, как Жора все подал и оформил. А из издателей один подмену, правда, обнаружил. Но Жора упрямился и никому об этом не говорить.

— Я ж,— сказал,— случайно, а не ради того, чтоб навредить. Я,— сказал,— по памяти и по привычке.

Конечно, издатель этот, Гиви, сначала топал ногами и рвал на себе черную бороду, крича:

— Все, ты уволен! За антисемитские происки в тылу врага!

А Жора говорил:

— Гиви, я не специально. Ты же мой земляк, Гиви. Вспомни Винницу и Винницкую область на закате солнца.

И сначала Гиви ничего не хотел слушать и обещал доложить по всем своим еврейским инстанциям о Жориной провокации века, но потом внял его просьбам, мольбам и увещаниям.

— Поклянись,— сказал,— что ты не назло нам это сделал.

— Вот те крест! — сказал Жора и перекрестился трижды на звезду Давида. Разговор, как всегда, в синагоге происходил.

Гиви сказал:

— Тьфу ты, черт, прости меня, Господи! — но поверил. И докладывать никому не стал. Только зарплату не уплатил месячную — в качестве наказания и компенсации за моральный ущерб всему еврейскому народу Украины.

В общем, сошла эта дикая оплошность Жоре с рук. Хотя опять же — это еще как сказать и как посмотреть. Потому что по большому счету ничего и никому с рук не сходит. Жора, к примеру, вскоре после случая с подменной заповедей въехал передним колесом в канализационный люк без крышки. И на приличной скорости въехал, с разгону. Три недели потом в больнице его держали — в травматологическом и нейроотделениях поочередно. Ключица, ребра и прочие пустяки срослись быстро, сотрясение мозга тоже вроде улеглось, а шрамы по всему лицу остались. На всю жизнь. Черные такие шрамы — как у шахтеров бывают. Жора ведь по асфальту лицом двигался. После падения. И в раны попадала мелкая дорожная пыль. Кстати, сотрясение мозга тоже только на первый взгляд и по заключению врачей прошло бесследно, а впоследствии оно еще дало о себе знать. Или это не оно дало. Кто это может определить? Никто не может.

Но от езды на велосипеде Жора не отказался. Выровнял переднее колесо своими руками и снова сел в седло. Стараясь, правда, быть более внимательным на дорогах и не глазеть во время движения по сторонам. Почему он считал эту велосипедную езду полезной, сказать трудно. Дышать на дороге приходилось сплошными выхлопными газами. Но, может быть, Жора таким образом просто экономил. На троллейбусных билетах. А говорил, что следит и ухаживает за своим здоровьем. Хотя в таком случае можно было бы пешком ходить, а не ездить. И менее опасно, и польза для организма та же самая. Скорость только не та. И грузоподъемность. Пешком две банки меда в рюкзаке далеко не унесешь. И все-таки лучше бы Жора на свой велосипед наплевал. А то ведь вообще все это привело к нехорошему. Сначала эта вышеописанная травма произошла с Жорой, потом другая травма. Еще хуже первой. Потому что речь идет не о физическом повреждении, а о душевном. О стрессе, как сейчас принято говорить.

Жора на работу приехал, поставил велосипед в коридоре редакции — где всегда его ставил, — а вышел после трудового рабочего дня из кабинета — велосипеда нет. Сначала думал: может, подшутил кто-нибудь неуместно? Обыскал все здание, у всех по сто раз спросил и переспросил — нет велосипеда. Пришлось ему домой в общественном транспорте ехать, а до и от остановки пешком по родному городу идти, непосредственно. И так это все его поразило и ранило, что наутро проснулся Жора в муках и с головной болью, а на следующую ночь не смог уснуть. И на следующую не смог. И на следующую.

Нарушился в Жоре механизм засыпания, и в конце концов недели через две он поехал на прием к своему другу и тоже земляку Ване Клямкину — профессору по неврозам от Бога. И Ваня, осмотрев Жору всесторонне, так как давно его не видел, сказал:

— Придется тебе у меня полежать. У меня здесь хорошо, санаторий.

— Я не могу,— сказал Жора.— На мне семья, работа, «Киндер».

— Я понимаю, что не можешь,— сказал Ваня.— Но придется.

И Жора подчинился ему как врачу и лег в его отделение стационарно. С тех пор он там и лежит. В знаменитой старинной больнице на станции Игрень. И Ваня его лечит всеми передовыми методами лечения, какие ему известны. Но они особых поразительных результатов не приносят. Видно, сильно Жора переволновался из-за пропажи своего любимого велосипеда. Да и недавнее сотрясение головного мозга средней тяжести могло свою роль сыграть.

Впрочем, чувствует себя Жора для своего диагноза стабильно — в пределах нормы. Лучше, чем на свободе. Спокойнее. А своей любимой профессией он и здесь занимается, за высоким забором. Он две стенгазеты делает ежемесячно. Одну — серьезную и, можно сказать, проблемную, а вторую — смешную, почти юмористическую. Первая стенгазета — это орган врачей психоневрологической клинической больницы № 1, а вторая — орган больных. Хотя денег ему за это не платят ни те, ни другие, и чем все это время живет семья Жоры — жена и четверо детей — остается непостижимой загадкой.

*г. Днепропетровск*



Олег ПАВЛОВ

## Когда не спасает красота

ИЗ НЕЛИТЕРАТУРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Культура российская не оскудевает на события, но судьбу культуры давно не решают события, происходящие в ее же масштабах. Скажем, назову я не один роман, украсивший современную словесность, но что делать, если теперь нещадно опустошается сам русский язык? Что делать, если год от года у нас все неотвратимей отчуждаются люди и от родного своего языка? Если самое что ни на есть нашенькое Министерство образования на исходе века ставит под вопрос необходимость преподавания в русских школах русской литературы?!

Судьба русского языка за пределами России — это вопрос, оказавшийся, к сожалению, политическим. Только в одном новообразованном государстве, в Киргизии, он поставлен в равные условия с национальным языком. Это трагедия для русских, ставших в чужих государствах изгоями, но и огромная утрата культурная для соседних с нашим народов, для которых русский язык был-то «окном в Европу».

Русский язык образовывал и воспитывал именно по-европейски. Вся громадная работа нашей культуры по усвоению мирового духовного опыта — это работа многих поколений и веков, даже начать которую не будет ни возможности, ни силы, скажем, у чеченцев или украинцев, но в Чечне да на Украине закрываются русские школы и запрещается русский язык. Пушкина возможно, вероятно, перевести на украинский, но это будет скверный, абсурдный перевод. Возможно и вовсе не переводить на свои самостийные языки. Но русский язык никогда не был имперской удавкой, он-то дарил свободу, открывал простор богатейших мировых культур. Если мировой технологический язык — английский, то его учат во всем мире, не задаваясь вопросом, не попадают ли под «имперское» влияние Англии. И если за российскую нефть или газ надо платить, то язык русский, сотворенный также органично самой природой, — это бескорыстный дар, за который, несказанно обогащаясь духовно, ничего и никому не надо платить.

Современное междуусобное отчуждение от русского языка — это трагедия для всех образованных людей и торжество невежества. Плоды этого невежества будут пожинать в грядущем веке, и это горький, очень горький будет урожай. Для русского же языка куда важнее вопрос самосохранения. Утрата культурного влияния может оказаться и временной. Но утрата национальной сущности — необратимой. Гигантская языковая петровская реформа сделала недоступными для нас явления культуры шестнадцатого века: Аввакума и Кирилла Туровского переводят, как с латыни. Теперь мы можем потерять и свой девятнадцатый век. Пушкин уже читается новым поколением с трудом — это почти не его язык, а ведь всего пару десятилетий назад язык «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки» был значительно более и понятен, и современен. Произошло огромное влияние в нашу речь американизмов и техницизмов. Вот зазвучали с американским акцентом наше телевидение, массовая печать, но дело не в конкретных словах, а в стиле — это очень узнаваемый стиль «скетчей», рубленой деловой речи, которая звучит подстрочником с английского.

Еще одно громадное ядовитое влияние — лагерный жаргон. Каждый второй наш гражданин так или иначе соприкасался с лагерно-тюремной системой. Через лагерь прошли миллионы людей. Лагерный жаргон стал основой современного просторечия. Блатная речь вкупе с американизмами — вот новый деловой русский язык, а именно этот слой языка, на котором мы не читаем, но которым день изо дня живем, работаем, является прообразом общественного мышления. Язык — идеальный инструмент управления сознанием не только отдельного человека, но и всего общества. Сознанием нашим, обществом пытаются реально управлять криминальный мир, и самый кровный интерес этого мира — уничтожение слоя культурного. А на-

чавши мыслить воровскими понятиями, напившись блатной отравой, мы будем не «братки» по законам этого мира и не люди даже, а «фраера» да «шестерки».

Жив церковно-славянский язык — звучит в храмах наша торжественная старая русская речь. Попытки обновленчества, перевода службы на разговорный язык — сродни тому ж безродству, какое готовят обновленцы от образования, предлагая школе ожидаться от русской литературы. Всякое обновление — это торжество того или иного рационализма. Но *родное* нельзя обновить, потому что оно зиждется только на любви к родному, на чувстве родства. Дети не обязаны, конечно, любить отцов, однако из этого не следует, что всех детей следует рационально освободить от «обязанности любить родителей», делая их, по сути-то, сиротами. Если рационально освободить детей от «обязанности изучать литературу», а верующих русских людей — от «архаизмов», то это все равно, что освободить от любви к родному, от эмоционально-исторической памяти. Там, где жива эта любовь, память, простодушие, — там и слышна до сих пор в России родная речь. А где полыхает междуусобное зло, где заводятся воровские повадки да обычаи, где царят на часок шоумены, красуются новоявленные маленькие бюрократы-«ньюсмейкеры» — там чуждость, бездушность, безлюбовность и умолкает родная речь.

Еще стало явным противостояние людей культуры и церкви. Этот конфликт проявлялся не однажды в русской истории, то ли порождая, то ли знаменуя собой общественный, гражданский раскол. Теперь его действие, почти театральное, разворачивается на узкой пыльной сценке, в которую превратилось в наше время пространство духовного влияния. Всякая духовная сила стремится обрести форму и в эту форму, как расплавленный чугун, влить сознание еще бесформенное (оно же народное, общественное или массовое сознание), постоянно меняющее свою форму, зависимое ото всех перемен и даже от погоды. Этим сознанием в России правили попеременно то цари да вожди, то духовенство, то интеллигенция. В наше время почти все это возможное духовное влияние да с уважительной оглядкой на власть — на аморфный, будто бы временный «правящий режим», не преуспевший в поисках национальной, скрепляющей нацию идеи — собирает Русская Православная Церковь, которой все зримей, но и безнадежней противостоит раздробленная внутри себя атеистическая интеллигенция. Для атеистов, родом из времени советского, растущее в обществе влияние церкви само собой раздражительно. Свободомыслящие видят угрозу некоего православно-тоталитаризма. Идеям, даже националистам церковь также чужда, а то и враждебна своей проповедью смирения. Может показаться, что уже и нынешняя власть сознательно стравливает людей культуры с духовенством, давая все более направленный ход некогда стихийным обстоятельствам.

Так вот стихийно сложилось, что церкви, монастыри во множестве стали в советские годы памятниками истории и культуры. И почти повсеместно, будто б намеренно, вопрос о принадлежности этих памятников, некогда охраняемых государством, решился отчего-то двусмысленно, конфликтно. Государство, обязанное решать только исходя из национальных интересов, что должно остаться достоянием культуры, а что быть возвращенным церкви, в большинстве случаев принудило духовенство и людей культуры тесниться, враждовать, разделяя между церковью и учреждениями культуры то, что может быть только единым, как духовно, так и в своих стенах или землях, а в подобие коммунальной квартиры превращена даже святыня православная, Троице-Сергиева лавра.

Но имущественный раздел все же ни в какое сравнение не идет с попыткой разделить самих верующих, внести раскол в церковь. Этот раскол уже на слуху стараниями прессы. В последнее время роятся лестные публикации особенно вокруг имени отца Кочеткова и его прихода. За него, за Кочеткова, активно ратует творческая интеллигенция, очень громкие и уважаемые звучат имена — чего стоит только Аверинцев. И от этого совсем становится не по себе: люди духовные и творческие, сами верующие, идут против церкви и того, что есть в православии сущностного, — догматов, традиций, устоев, отказываясь воспринять их ценность как духовную. Но, с другой стороны, это все очень знакомо — именно русская интеллигенция из веры живой и незастывшей, как бы из животворного опыта, вычленила сухие рациональные вопросы. Там, где начался нравственный рациональный поиск, кончилась живая вера. Скажем, убийство оказывалось не грехом, а вопросом — вот обсуждало и оправдывало русское общество выстрел Засулич в Трепова, то есть оправдало право интеллигентного человека на месть. Что было после — нам известно. Право на месть завзял себе и русский мужик, каждый стал вправе убивать да грабить себе подобного.

Теперь отец Кочетков хочет ввести в храмах, в частности, скамейки как новшество. Интеллигентный человек устал стоять, ему захотелось в храме удобств. И это требование обыкновенных удобств, комфорта — уже фарс того умозрительного сознания, которое увело интеллигенцию от живой веры, когда Богом стала Совесть, на деле-то искуснейший инструмент самооправдания. И вовсе, оказывается, не совест-

но искать в храме такого пошлого облегчения от усталости? От пускай физической тяжести, но ведь неотрывной от труда духовного, от молитвы? Это дозволено в храме старикам да калекам, и мыслящая по-кочетковски интеллигенция (то есть прогрессивно, либерально мыслящая), получается, алчет уравнивать себя в правах со старушкой, что отмолила в храме, наверное, и всю жизнь, да с калеккой. Ради удобства для себя, однако, готовы враждовать и готовы усадить на скамейках в храмах весь простой православный люд, да те не хотят, супостаты, невежды... А чего ж не хотят? Да ведь грешить!

Сильнее ж всего и всех по своему влиянию на общество, на сознание человека сегодня — телевидение. Стало общим местом брюзжать, что наше телевидение бездуховно, алчно и, по сути, враждебно культуре. Но до сих пор не было оно еще враждебным человеку, человечности вообще. И вот событие, которое из памяти не уходит: на всю Россию наше телевидение показывало зрелище публичных казней, что происходили в Чечне. Неизвестно для чего на одном независимом канале присовокупили еще любительскую видеосъемку — как расстреливали чеченцы русских солдат. От зрелища этого не то слово, что воротило, а рождалось ощущение ужаса, это же будто живое входит в дома, и глядят на это все, кто у телевизора, даже дети. Зачем независимый телеканал показывал любительскую садистскую съемку казни своих же, русских солдатиков и от чего он был независим? Мучить всех матерей, у кого погибли там дети? Мучить и будить ярость, ненависть у всех, кто там воевал? Публичные казни производятся в Чечне для устрашения самих чеченцев, которым война оставила в наследство криминальный террор, и это для них лекарство, которое они сами себе выбрали, да это еще и в Коране у них, в законах шариата. А кого хотели устрашить бесконечным их показом у себя, в России? У чеченцев согнали глазеть на карательный расстрел на площадь человек двести, а у нас, в России, слоняют к телевизорам миллионы людей.

Это была не хроника из прошлого времени и не художественный фильм. Показ подобных освежаванных документальных садистских материалов на российском телевидении не оправдывается никакой даже информационной необходимостью, потому что достаточно зачитать сообщение, сделать гласными сами факты. Если ж кому-то подумалось, что на кровавых картинках возможно воспитать в россиянах своего рода гуманизм и возвысить нас подобным нравоучительным показом до страны, до общества «цивилизованных», то такие намерения благие сами уродливы и аморальны.

Что торжествует? Национального масштаба цинизм, бесстыдство. Что доказывают, внушают? Что нет разницы между добром и злом, состраданием и садистским удовольствием, человеческой жизнью и скорченной в смертной судороге картинкой из телевизора. Между тем каждый день телевидение предлагает нам лицезреть трупы — несчастные жертвы убийств, пожаров, утоплений, дорожных катастроф. Цинизм этот достиг преступных отметок: вчера нам показывали мать, у которой выкрали из коляски младенца, а сегодня — еще не прибранный труп этой женщины, доведенной всей этой телевизионной истерией, будто травлей, до самоубийства.

Культура украшает общество, по культуре судим мы о его цивилизованности. Но у нас теперь культура прислуживает и приукрашивает, потому что за стенами благополучных «президентских театров» или за шумом литературных обедов в честь очередных лауреатов — картина невымысленная, реальная какого-то нецивилизованного растления. Как дурная болезнь — цинизм, деячество. Все имеет ценник, но ничто не имеет ценности. Все осмысляется с точки зрения и вкусов потребителя, будь то гурман или заурядный пожиратель рекламы. Нынешнее потребительское отношение отучило думать. Человек, его жизнь и смерть — ничто. Внимание будет обращено не на то, чего ради он умер, кто и за что его уморил и какое будущее готовит для всех людей эта смерть одного человека, а на то, как внешне эффектно да гладко это написано или снято на киноплёнку. Сегодня верят скорее тому, что отцы чуть не в каждой семье вожделяют своих дочерей, и мало верят, считают натянутостью, чем-то насадно сентиментальным обычное семейное счастье, порыв к этому счастью и прочее. Теперь и того мало, к примеру, чтоб написанное было воплощенной красотой да совершенством, но и воплощать требуют некую красоту, совершенство, которые уже будто бы всех спасли, — и вот искусство бесчеловечно красуется само собой.



Борис ХАЗАНОВ

---

## Левиафан, или Величие советской литературы

Вспомянув книги, прочитанные в отрочестве и юности, оставившие глубокий след, я не нахожу среди них ни одной, созданной в СССР после 1930 года. Книги, выходявшие в годы пятилеток, книги военных лет, некогда страстно обсуждаемые и, очевидно, имевшие успех, остались за бортом. Хорошо это или плохо?

Можно догадаться, почему злостная литература встречается у подростков меньше понимания, чем у взрослой публики. Подросток охотней живет в мире романтического прошлого, в великом мире истории или — что часто одно и то же — мифа. В известном смысле пятнадцатилетний книголюб — более бескорыстный читатель, а может быть, и более культурный, чем читатель в сорок лет. Вероятно, поэтому взрослые читатели согласны потреблять литературу «на актуальные темы», каково бы ни было ее качество.

Во всяком случае, после классиков жевать произведения современных отечественных писателей было невозможно. Сторониться этой литературы, избегать ее, как избегают дурного общества, было чем-то вроде защитного рефлекса задолго до того, как стали понятны механизмы манипулирования литературой. Это покажется снобизмом, но произведения советских романистов выглядели глуповатыми, написанными для подростков, то есть именно теми, от которых подросток отворачивается. Такое почти инстинктивное пренебрежение не могло пройти даром. В год окончания войны на предварительном собеседовании с поступающими в Московский университет парторг филологического факультета осведомился, читал ли я «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Я ничего не мог ответить, я даже не слышал об этом писателе.

Живи мы в другой стране, на вопрос экзаменатора, что я думаю о современном писателе NN, можно было бы ответить: «Sorry, но этот автор мне не нравится». На что последовало бы возражение: «Прекрасно, вот и поделитесь вашими соображениями, почему он вам не нравится». Этот мысленный эксперимент мгновенно устанавливает водораздел между советской литературой и любой другой. Советская литература *не может* не нравиться, как не может не нравиться советская власть. Можно разгуливать по залам этой литературы, болтать с коллегами и попивать напиток в буфете, но не следует ни на минуту забывать, что у дверей стоит вооруженная охрана.

Очень может быть, что повесть Бека все же была достойна внимания 17-летнего юнца; вообще никакое предубеждение не заслуживает похвалы. С тех пор утекло много воды. Осталась позади целая эпоха русской истории и литературы. Перечеркнуть ее, сделать вид, что ее не было, мы не можем.

Академическое литературоведение всегда уделяло слишком мало внимания тривиальной словесности. Между тем следовало бы отнестись серьезней к советской литературе ее зрелой поры, ближе и пристальней рассмотреть образцовые творения ее корифеев. Подобно всякой тривиальной литературе она традиционна и ультраконсервативна. Нам пришлось постепенно привыкнуть к мысли, что и в те времена — и даже именно в те времена, — когда государство скрутило ей руки, в худшие и постыднейшие времена, советская литература отнюдь не знаменовала обрыв русской литературной традиции. Какая ни есть, она была преемницей классической литературы — если угодно, паразитировала на ней (что и является уделом всякой массовой словесности).

«Я хочу поставить один вопрос,— писал Мандельштам,— именно, едина ли русская литература?» Порой казалось, что нить оборвана. Но это только казалось. Единный путь ведет через десять веков от Илариона, предполагаемого автора «Слова о законе и благодати», до счастливых обитателей Переделкина и Малеевки.

Сравнительно недавно делались попытки представить литературу (а также зодчество, изобразительные искусства и т. д.) советской и в первую очередь сталинской поры некой разновидностью авангарда. Эти попытки смехотворны. Социалистический реализм — глубоко реакционная теория, породившая столь же реакционную практику. Каково бы ни было идейное содержание романов, поэм и пьес, отвечающих канонам этого искусства, его эстетика, вся система его приемов всецело ориентированы на XIX век.

Представим себе смеха ради Толстого, который не умер и не был зарыт в роще у оврага Старого Заказа, а, как старец Федор Кузьмич, укрылся в сибирских дебрях и дожил до светлой зари. Толстого, пересмотревшего свои ошибки, преодолевшего свои кричащие противоречия, внимательно прочитавшего работу Ленина «Лев Толстой как зеркало...»; Толстого — маршала советской литературы, Толстого — лауреата премий, Толстого — генерального секретаря Союза советских писателей. Что бы он написал? То, что в действительности написал другой генеральный секретарь: роман «Молодая гвардия». Достаточно прочесть первый абзац: его перо, не правда ли?

Совсем неудивительно, что боец РАППа оказался эпигоном дореволюционной литературы. Призыв молодого Фадеева учиться у классиков, целая дискуссия, разгоревшаяся в конце двадцатых годов, о том, критически или некритически овладел Фадеев «творческим методом» Льва Толстого, не должны вызывать улыбку. В том-то и дело, что этот пудель, выстриженный под льва,— его наследник. Уж какой есть.

О литературе нельзя судить, как судят о писателе, по его лучшим, высшим достижениям. О литературе нужно судить по худшим или хотя бы рядовым образцам. Именно в них наглядно проступают ее родовые черты. Писатель рождается и созревает внутри некоторой традиции, но степень его значительности определяется тем, насколько ему удалось выломаться из традиции. Всю жизнь писатель ведет войну с вскормившей его литературой — либо сдается, превращаясь в ее заурядного представителя.

К литературе применимо понятие парадигмы, введенное в науковедение Томасом Куном, автором нашумевшей в 60-х годах книги «Структура научных революций». Слово «парадигма» заимствовано из грамматики, где оно означает образец склонения, спряжения и т. п.

Напомним, что под парадигмой у Куна подразумевается представление о том, какой должна быть «нормальная» наука: круг проблем, достойных рассмотрения, система взглядов, основанных на достижениях, которые признаны классическими, поле аксиом, предписывающих, что считать научным, а что ненаучным. Рядовая наука предполагает мирную исследовательскую деятельность под сенью чтимых монументов, в разное время ими были «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Вращения небесных сфер» Коперника, «Начала» Ньютона и так далее. Мирный период продолжается до тех пор, пока новая революционная теория не заставит пересмотреть утвердившиеся взгляды, опрокинет старую парадигму, учредит новую.

В литературе существование внутри парадигмы столь же почтенно, ибо тоже осеeno бессмертными образцами. Литературное сообщество, аналог сообщества ученых, сознательно принимает позу благоговейного ученичества у великих предшественников. Тень Толстого нависла над русской прозой на доброе столетие. Нелегко усвоить жестокую истину, что «Войну и мир», этот «Альмагест» отечественной литературы, может пошатнуть какой-нибудь новый Коперник.

Вместо этого литература обязуется свято исполнять свой долг — нести светоч, выпавший из могучей руки основоположника. Делать это можно, только шагая в едином строю. Поэтому литература находит свое наиболее адекватное воплощение не в лучших, аномальных образцах, а в худших — нормальных. Не Пушкин и Чехов представляют «нормальную» русскую литературу XIX века, а Бенедиктов и Потапенко. Литература — враг писателя. Чехов заметил в одном письме: «Мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе... Некоторым образом артель». Сам он, однако, уклонился от участия в этом субботнике.

Парадигма советской литературы в конце концов оказалась парадигмой умирающего XIX века. В конце концов, ибо это случилось не сразу. Если — вслед за М. О. Чудаковой — мы поделим историю русской литературы после 1917 года на два периода, приняв за условную границу год смерти Маяковского или год созыва первого съезда советских писателей, то окажется, что лишь вторая половина выглядит, так сказать, безусловно советской. Можно заметить, как стремительно меняется общество в решающее для становления государственной литературы десятилетие 1925—1935 гг. Меняются лица, исчезают образованные люди, упрощается язык, упрощается мышление. За каких-нибудь несколько лет происходит чуть ли не антропологическая революция. Происходит кристаллизация режима. Парадокс утверждающейся литературы бросается в глаза: она вещает о новом человеке — и возвращается к старой, обветшалой эстетике. Бескомпромиссное отвержение всякого новаторства — ее главная черта.

И, однако (могло ли быть иначе?), есть в ней нечто новое, неслыханное. Дадим еще раз волю воображению, представим себе Творца, который в первый день отделил свет от тьмы, во второй день — верхние воды от нижних, далее сотворил землю и тварей земных и, наконец, на седьмой или восьмой день, когда все было готово, когда были созданы производительные силы и производственные отношения, сконструирован государственный механизм, сочинена идеология, изобретена партия, создана печать, — сказал себе: а теперь придумаем литературу.

Да будут писатели! Учредим Союз. Установим приличные гонорары. Построим дома творчества, создадим комиссии, семинары, секции, редакции. Придумаем литературные жанры и способы сочинения художественных произведений, изобретем универсальную теорию литературы и назовем ее социалистическим реализмом.

В этой утопии есть доля реальности. Эта литература есть прежде всего организация; все остальное — книги, тексты, словесность, литературный процесс — представляется вторичным: это продукт ее жизнедеятельности. Порой она в самом деле уподобляется огромному бюрократическому организму, смысл которого в нем самом, а то, чем он ведает, есть некий придаток. Эта литература, которая существует не потому, что она возникла, есть, и ничего тут не поделаешь, а потому, что в тщательно выверенной, смонтированной по единому плану государственной машине предусмотрен вид оснастки, называемый художественным творчеством. Литература, которая в такой же мере порождает литературную бюрократию, в какой сама ею порождена. Таков ее проект, в который жизнь, естественно, вносит помехи и неполадки.

Строго говоря, нельзя представлять себе дело так, что была литература и были надзирающие за ней инстанции. Сказать, что советская литература существовала и развивалась в условиях несвободы, значит польстить ей или оклеветать ее. В любом случае эта точка зрения основана на недоразумении: термин «цензура» принадлежит другой эпохе и плохо подходит к организованной литературе, так как подразумевает нечто внеположное литературе. Тогда как в нашем случае цензура — ее интегральная часть. Цензура встроена в литературу; цензура — это и есть литература. Несвобода входит в ее определение, предполагает ее существование и, следовательно, уже не является несвободой.

Хотя к услугам пишущих существовал Главлит, предназначенный, согласно его полному наименованию, для охраны государственных тайн в печати, хотя тайной было все, от лагерей до статистики гриппа, от стихийных бедствий до цен на картошку, и цензоры не сидели без дела, однако можно предположить, что упразднение этой конторы не изменило бы сути и облика советской литературы. Вся система прохождения текстов через иерархию редакторов и начальств, комбинация шлюзов и сит гарантировали выдачу высококачественного очищенного продукта. Главной же инстанцией, контролирующей писателя, был, как известно, он сам. Писатель сам оценивал себя совокупным взглядом всех инстанций, выполнял для себя роль и редактора, и директора, и партийного опекуна, сам, предваряя официального критика, учинял себе мысленный разнос, сам стучал на себя воображаемому, хотя и вполне реальному, оперативному уполномоченному.

В воспоминаниях покойного В. Я. Лакшина «Открытая дверь» подробно рассказано о том, как «загоняли в глухой угол» (по выражению мемуариста) возглавляемый Александром Твардовским «Новый мир». Непрестанные цензурные и административные придирки; тщетные попытки отстоять талантливого автора, правдивую

вещь; травля в официозной печати, демонтаж редакции и, наконец, отставка главного редактора. Кто не помнит, что значил в то время для образованной публики «Новый мир»? Перед нами один из самых ярких примеров того, как жизнь нарушала «проект». Именно поэтому, читая эти волнующие страницы, испытываешь некоторое недоумение.

Все участники «на работе». Все получают зарплату, по тем временам очень неплохую. Обязанность всякого чиновника — соблюдать трудовую дисциплину, другими словами, выполнять инструкции и требования начальства. Вы их не выполняете или выполняете недостаточно аккуратно; вам говорят: следуйте такой-то линии, вы же норовите с помощью разных уловок от нее отклониться. Начальство недовольно и прибегает к санкциям. Чего ж вы жалуетесь?

Мемуары Лакшина, как и множество подобных книг и статей, создают иллюзию, будто существовала независимо развивающаяся литература и противостоящая ей литературная бюрократия. Это неверно — во всяком случае, с точки зрения бюрократии, которая представляет государство и вне которой при существующем строе литературы вообще не может быть. *Do ut des*, говорит государство, Левиафан Гоббса. «Я даю, чтобы и ты давал». Кто платит, тот и заказывает музыку.

Главный редактор обитает на комфортабельной даче, предоставленной ему начальством, приезжает на работу в государственной машине с шофером, чьи услуги ему не надо оплачивать. В городе у него имеется прекрасная квартира в доме на Бородинской набережной. Главный редактор — народный, то есть государственный, поэт-лауреат, занимающий высокие посты в партийной и литературной бюрократии. Союз советских писателей часто уподобляли министерству; можно сравнить его с офицерским корпусом. Мы бы не удивились, услышав, к примеру, что на съезде писателей Георгий Марков появился в мундире генерала армии, Шолохов — в казачьих портах с лампасами, а какой-нибудь Расул Гамзатов — в газырях и шароварах хана-главнокомандующего национальными формированиями. Твардовский в этой табели о рангах никак не ниже генерал-полковника.

Материальное обеспечение творчества, вопрос, на какие средства существует писатель,— тема, которая редко обсуждается в компендиумах истории литературы. Гораций получил в подарок поместье в Сабинских горах и мог не думать о гонораре; впрочем, в те времена гонораров не существовало. Тассо пользовался милостями феррарского двора, Гёте был министром герцога. Дела давно минувших дней. В XIX веке писатель еще мог жить и содержать семью на литературные заработки, но уже Достоевский, преследуемый займодавцами, жаловался, что редактор платит ему меньше, чем Тургеневу, у которого вдобавок есть имение. Кафка, несмотря на сложные отношения с отцом — торговцем мануфактурой, всю жизнь был вынужден пользоваться его поддержкой. Джойс, добровольный изгнанник, перебивался частными уроками, а русский эмигрант Гайто Газданов провел четверть века за рулем ночного такси в Париже. После второй мировой войны материальная база писательского труда была окончательно подорвана, и сегодня в западных странах прозаик, серьезно работающий в литературе,— чаще всего бедняк и принужден постоянно искать средства для пропитания; о поэтах и говорить нечего.

Организованная литература радикально решила этот вопрос. На гонорар от книжки скромного объема можно жить по меньшей мере год припеваючи. Как продается книга, раскупается ли она, не имеет значения, «бабки» выплачиваются, как только сочинение подписано к печати. Что касается стихотворцев, то один из испытанных способов недурно зарабатывать — переводы фантомных национальных поэтов.

Продуманная система гонорарного вознаграждения предусматривает многократный барыш за публикацию одного и того же романа: в лично руководимом журнале, в трехмиллионной «Роман-газете», в издательстве «Советский писатель», в областных издательствах, в серии «Библиотека рабочего романа», в серии «Библиотека сибирского романа», в трехтомнике «Избранное», в собрании сочинений... Публикации сопровождаются хвалебным хором критиков, намечается экранизация, маячит Государственная премия. Как всякий вельможа в этой стране, живой классик организованной литературы пользуется бесчисленными поощрениями и привилегиями, его образ жизни, жилищные условия, стол и гардероб сопоставимы с условиями жизни партийного бонзы, генерала КГБ или атомного академика.

Этот образ жизни, этот тип социального бытия порождают характерную кастовую психологию. Советские писатели образуют особого рода сословие, наподобие офицерского. Представителю организованной литературы не придет в голову мыслить о проблематичности его ремесла, как офицеру не придет в голову спросить, для чего нужна армия. Писатель не спрашивает себя, зачем нужна литература, нужна ли она вообще. Он не сомневается в том, что привилегии, которыми оградили его от жестокой жизни заботливый Левиафан, естественны и справедливы.

Он твердо знает, что уж он-то нужен. Кому? Времена меняются, и, сообразив наконец, что с режимом не все в порядке, он уже не заявит, как некогда Маяковский, что сознательно предоставляет свое перо в услужение коммунистической партии и т. п. К концу 60-х годов организованному писателю становится неловко повторять слова Шолохова о том, что «наши сердца» принадлежат партии и, стало быть, мы пишем по велению сердца. Зато он охотно исповедует популистский миф. Этот миф баюкает его совесть.

Писатель пишет о народе и для народа. Народ ждет от своего писателя произведений, нужных народу. Писатель вдохновляется любовью к родине, родина выше всего, он должен оставаться с ней, он обязан ей служить, другими словами, он должен во что бы то ни стало печататься. Вот основания этого мифа. Представитель либерального крыла официальной литературы говорит себе: нет, я не то, что эти партийные дубы и блюдолизы, я не желаю иметь с ними ничего общего. Он прав. И вместе с тем он как будто не замечает, что по-прежнему сидит на цепи, по-прежнему служит идеологии, которая давно уже отказалась и от пролетарского интернационализма, и от самого марксизма, превратившись в идеологию оголтелого государственного патриотизма.

В этой литературе — и в этой среде — серьезный дискурс о современном искусстве, в сущности, невозможен. Философия творчества сведена к школьным прописям. Всякая сложность изгнана. Ирония и скепсис представляются зловредным западным изобретением. Писателю организованной литературы незнакома рефлексия, он убежден, что она и не нужна. О такой литературе можно сказать, что она была самой простодушной литературой в мире и оттого самой лживой.

Разумеется, эта литература немислима без того, без чего немислимо и невозможно это государство, — без повсеместного присутствия тайной полиции. Без слежки и доносительства, без разветвленного аппарата репрессий, без тайны, о которой все знают, без того, что известно каждому, но о чем никто не говорит.

Организованная литература не существует без своей нижней половины. Этот писатель, словно мифологический монстр, двуприроден: сверху — тело человека, снизу — нечто поросшее шерстью. Над трибуной возвышается дородная фигура литературного сановника в дорогом заграничном костюме, с планками орденов, со звездочкой лауреата; загляните вниз — там хвост и копыта. Под светлыми залами и кулуарами дворца советской литературы расположены подвалы.

Что и говорить, по крайней мере со времен Радищева и Чаадаева русский писатель привык иметь дело с политическим сыском. Полицейское дело, гласный или негласный надзор — обычная история. Ничего подобного, однако, тому, что можно называть брачным союзом литературы и «разведки», не существовало в старые времена. Речь идет не только о грубом насилии, но и о долготелом сожительстве. Точнее, как это часто бывает в браке, насилие и сожительство — две стороны одного и того же. Связь советской литературы с ведомством тайного террора выражается, в частности, и в том, что многие сотрудники этого ведомства сами являются писателями, а многие писатели — сотрудниками ведомства.

Тут мы рискуем вломиться в открытые двери, потому что об этом сказано и рассказано уже немало: что-нибудь около десяти процентов правды. Люди живы, и живы органы. Архивы могут еще пригодиться.

То, что известно, относится главным образом к репрессиям сталинской поры. Все знают или хотя бы слышали о замученных писателях. Среди них было, увы, немало самых преданных и правоверных. В любом случае дело не обходилось без доносчиков, осведомителей, так называемых свидетелей и экспертов, и, если репрессии носили массовый характер, массовым и повсеместным было и доносительство. Кто же эти люди?

Результаты работы комиссии Гаука, которая занималась расследованием деятельности бывшего министерства госбезопасности ГДР, могут служить материалом для сравнения. Каждый, кто знаком с документами Stasi, может лишний раз убедиться в том, что это учреждение рабски следовало советскому образцу. Брак литерату-

ры и Органов был таким же правилом в Восточной Германии, как в СССР. Процент писателей, состоявших на жалованье в качестве «неофициальных сотрудников», убийствен. Среди них известные беллетристы, поэты, критики.

Едва ли мы узнаем о всех зубчатых колесах, шкивах и приводных ремнях, соединивших тайную службу с организованной литературой. Кровавая гадина успела замести следы. Но невозможно усомниться в том, что по крайней мере в годы расцвета советской политической полиции преуспевание именитых, увенчанных лаврами и осыпанных дарами представителей организованной литературы не могло состояться без заслуг перед секретным ведомством. И теперь мы спрашиваем себя: что нам делать с этой литературой?

Придет следующее поколение и потребует отчета. Что мы ответим?

Томас Манн писал в известном письме к Вальтеру фон Моло:

«Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933-го по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом пустить в макулатуру» (перевод С. Апта).

Небольшая глава, посвященная Андре Жиду, в четвертой книге мемуаров Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди, годы, жизнь», популярность которых оставила позади не только художественную продукцию автора, но и всю беллетристику той поры, основана на личном знакомстве писателей. Было время, когда Жид горячо сочувствовал коммунизму и Советскому Союзу. На фотографии середины тридцатых годов он стоит на митинге в честь открытия улицы имени Максима Горького в парижском предместье Вильжюиф с поднятым кулаком — рот-фронт! Андре Жид был почетным участником прокоммунистического Парижского конгресса в защиту культуры летом 1935 года, удостоился там восторженной оvation. В июне следующего года он выступал на траурном митинге памяти Горького в Москве, стоя на трибуне Мавзолея рядом с вождями — Сталиным и Молотовым. В СССР вышло собрание сочинений Андре Жида.

Все кончилось в одночасье, после того как он опубликовал тоненькую книжку «Retour de l'U.R.S.S.» («Возвращение из СССР»), ныне известную и в России. Автор был объявлен сволочью, наймитом реакционных сил, Лион Фейхтвангер заклеил предателя в гневной статье, сочинения Жида были изъяты из библиотек. О нем не рекомендовалось даже упоминать. Но Эренбург вспомнил, и читатели мемуаров «Люди, годы, жизнь» были благодарны уже за то, что он осмелился это сделать.

Он вспомнил о Жиде через много лет, когда бывшего коммуниста давно не было в живых. «Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил на своем жизненном пути». Итоги этого раздумья печальны; портрет, набросанный Эренбургом, не внушает симпатий. Андре Жид — легкомысленный, не заслуживающий ни доверия, ни уважения человек-мотылек, грязноватый старик, писатель-эпигон, уже забытый и справедливо забытый; ко всему прочему, содомит.

Разумеется, Эренбург знал, что автор «Земных яств», «Имморалиста», «Тесных врат», «Фальшивомонетчиков», замечательного Дневника и так далее не только не забыт, но принадлежит к первому ряду писателей века. Знал и о том, что читатели в СССР не имеют возможности прочесть Андре Жида и составить о нем собственное мнение. Но в конце концов нет таких священных коров, которых я не имел бы права критиковать. Жид мне не нравится, прекрасно. Вот только одна странность: характеристика Жида трогательно совпадает с точкой зрения начальства.

Здесь говорилось о том, что литературу нужно оценивать по ее рядовым, типичным образцам. В нашем случае это означает: по произведениям писателей-подражателей, писателей-рептилий, критиков-пасквильантов, публицистов-фискалов, — имя им легион. Но с ними, собственно, все ясно. Более тонкие механизмы организованной литературы, очевидно, следует изучать по книгам авторов другого уровня, по литературным документам, против намерений писателя фиксирующим почти трагическую коллизия ума и таланта с глубокой, вошедшей в состав крови несвободой.

С какой неискренней искренностью, слегка наигранной исповедальностью, притворной наивностью написаны эти мемуары, с каким умением почти ничего не сказать, якобы сказав все. Я понимаю, что это впечатление — взгляд из сегодняшнего дня, а тогда «попробовали бы вы...». Эренбург попробовал, и результат не замедлил сказаться: мемуары «проходили» с великим трудом, с мучительными испытаниями для автора.

Драгоценное дополнение к воспоминаниям «Люди, годы, жизнь» — ныне опубликованные письма Твардовского к Эренбургу о готовящихся к публикации в «Новом мире» главах. Деловые замечания Твардовского, дружеская помощь Твардовского, гнев Твардовского. Святая уверенность в том, что редактор может и должен указывать автору на его заблуждения, подсказывать седовласому мэтру правильные оценки, короче, быть его цензором. Вот это и есть главное: цензором, не только по служебной обязанности контролирующего литературного чиновника, но и по убеждению.

Между тем времена смертельной опасности давно миновали. Что останавливало старого, уже охваченного предчувствием смерти писателя, что мешало ему плюнуть на всех цензоров и редакторов и написать о пережитом и увиденном все, что он думал? Какой памятник он воздвиг бы времени и себе!

Глупый вопрос и глупое предположение. Он не мог написать свой *opus magnum* иначе. Он писал именно то, что думал: полуискренность давно стала его натурой, полуправда — творческим методом. А ведь речь идет об одном из лучших, о человеке, за которым числится немало добрых дел. Но Эренбург хотел печататься у себя в стране, он был членом организованной литературы и хотел в ней оставаться. Как остался в ней и главный редактор.

Все проходит; мы были свидетелями последних дней этой литературы. После истории с «Доктором Живаго», после того, как начались самиздат и бег из страны, организованная литература только агонизировала. Ее последней надеждой были писатели-пейзаны, Белов и Распутин, так многообещающе начавшие и так скверно кончившие.

«Но ведь были и другие».

Были, разумеется. Нужно только вспомнить, что с ними случилось. Все подлинное и талантливое неизбежно оказывалось на обочине, сбрасывалось в кювет, отторгалось как чуждое и вредоносное; в лучшем случае встречало глубокое непонимание.

Нам, однако, возражают, нам говорят: хватит копаться в старом белье, обвинять, и разоблачать, и разжигать вражду, и stalkивать лбами писателей. Мы все — представители единой литературы, дети одной родины.

Парадокс состоит в том, что требование побрататься с прошлым есть не что иное, как требование забыть прошлое.

Один из самых поразительных документов этой тенденции ко всеобщему примирению — манифест литературной и политической реставрации — солидно изданный двухтомный библиографический словарь «Русские писатели. XX век» под редакцией Н. Н. Скатова, один из первых опытов энциклопедии русской литературы нашего столетия, как указывает редакция (нигде не упомянувшая об известном «Лексиконе русской литературы XX века» Вольфганга Казака). Книга, успевшая привлечь к себе внимание. Словарь выпущен издательством «Просвещение» в качестве пособия для учителей и учащихся старших классов, представлено более пятисот авторов.

О желании усадить всех в одну лодку свидетельствует большое количество до-революционных и эмигрировавших писателей, не забыты и погибшие, расстрелянные, не вернувшиеся из лагерей, выскобленные из официальной литературы. И тут же как ни в чем не бывало, как будто ничего не случилось, как будто не было десятилетия позора и крови — «корифеи».

Можно расхотаться — или заплакать, — читая тексты за подписью В. Шошина, Р. Шошина, П. Бекедина, Т. Вахитовой, Н. Грозновой, В. Чалмаева, посвященные Георгию Маркову, Николаю Грибачеву, Анатолию Софронову, Всеволоду Кочетову, Сергею Михалкову, Михаилу Алексею, Петру Проскурину, Александру Проханову, Ивану Стаднюку, Василию Лебедеву-Кумачу, Ванде Василевской и так далее. Все эти имена не просто упомянуты, но удостоены обширных панегирических статей, все написано удручающе бездарно, образцовым советским языком — фанера из опилок. Все как в доброе старое время. Нет, я не предлагаю сдать этот скорбный труд в макулатуру. Я предлагаю его хранить и читать — чтобы помнить о том, чем была великая советская литература.

## Взгляд на город, похожий на Петербург

*Вскользь о двух конференциях. Поэзия и проза  
Малой Садовой. Новый журнал. Деррида Лио-  
тару — Делёз.  
Полотна Арона Зинштейна.*

«Пожалуй, эта вот панорама напоминает одну из венецианских — вид на Сан Джорджо Маджоре и Арсенал», — сказал мне итальянский поэт-филолог, приехавший прошлой осенью в Питер на университетскую конференцию «Genius loci», на которой докладчики, в основном люди ученые, в очередной раз исследовали завитки «петербургского текста» русской культуры... Впрочем, ничего похожего на Сан Марко за нашими спинами не наблюдалось, в лучшем случае — доходные дома Петроградской.

Чуть раньше участница другой конференции — о нынешних проблемах и достижениях «толстых» журналов и их читателей — по-московски легко сбила с меня гиперборейскую спесь: «А, так это же — как в Париже!» — проговорила она, когда я подвел ее к вращающемуся гранитному шару-фонтанчику на только что лишившейся транспортногo движения Малой Садовой.

Может показаться: итальянец польстил моим патриотическим чувствам, а москвичка съязвила. На самом деле, думаю, проблема глубже и любопытней. «Всемирная отзывчивость» русской души, как и любая черта того или иного национального менталитета, сама по себе ни хороша, ни плоха — проявления ее могут быть и величественными, и карикатурными.

Но вернемся на Малую Садовую. Эта улица, ведущая от Итальянской к Невскому, и правда, невелика — десяток зданий. Но она, как и многое в Петербурге, весьма перспективна (в самом прямом смысле слова) — нечто вроде подзорной трубы для разглядывания пышного памятника Екатерине и строгого фасада Александринского театра. В двух шагах — Российская Национальная библиотека, организатор того самого межжурнально-межбиблиотечного семинара.

В семидесятые годы здесь уютился недорогой кафетерий, полюбившийся истинным маргиналам от литературы (это когда литература не столько даже и текст, сколько житейский жест — клошарская широкополая шляпа, бальмонтские усы и кудри, обэриутские псевдонимы) — «поэтам Малой Садовой».

Эта группа, объединяющая Владимира Эрля, Евгения Вензеля, Александра Мирнова, Тамару Буковскую, существует и по сей день: в конце ноября в Фонтанном Доме прошел их вечер, собравший стойких поклонников. Как бы прощальный — с топонимом по крайней мере. Вряд ли им теперь уютно на их бывшей улице: нынче тут — елки в кадках, обогреваемая мостовая, описанный выше фонтанчик. И, конечно, венецианская дороговизна. Клошарский (не путать с «бомжовским») дух вытеснен «буржуазным» — как выразился бы излишне ангажированный Ролан Барт, о котором речь еще впереди.

Я совершенно не понимаю стихов Эрля, но чрезвычайно ценю его как одного из ведущих вагиноведов, знатоков творчества Константина Вагинова, чье столетие, казалось, должно было б торжественно отмечаться в северной столице 3 октября: трудно вообразить себе более петербургского — исключительно петербургского — прозаика и поэта. Но увы...

Зато появились в продаже «Сочинения» Бориса Поплавского — почти исчерпывающий свод стихов, впервые собранный под одной обложкой.

Каждый кулик хвалит свое болото. (Я в данном случае не о Петербурге — о поэтическом цехе.) Вот и первый номер критико-библиографического журнала «Новая Русская Книга» не в последнюю очередь привлек мое внимание обилием рецензентов-поэтов. Кроме Виктора Кривулина, отрецензировавшего «Плексус» Г. Миллера, представлен более молодой Сергей Завьялов (тонкие рассуждения специалиста-античника и одновременно поэта-авангардиста о проблемах «русского Еврипида») и еще более молодые Александр Скидан и Дмитрий Голышко-Вольфсон... Читатель может подивить-

ся моему стихотворческому оптимизму, но это только кажется, что четырех поэтических имен на номер, содержащий около сорока рецензий, как бы и маловато, — А. Скиданом написаны семь, Д. Голышко-Вольфсоном — пять.

Издатель журнала — Гуманитарное агентство «Академический проект» — предполагает дать читателю «надежный компас в бурноватом море современной книги». Будем надеяться: ведь в числе авторов первого выпуска и ведущие сегодняшние историки литературы — Роман Тименчик, Александр Лавров, Глеб Морев — и такой скандальный, но яркий критик, как Михаил Золотоносов.

Если что и смущает, то чрезмерность философствующей филологии и гипертрофия «всемирной отзывчивости», свойственные, видимо, редакции «Новой Русской Книжки», а главное — неоригинальность этих преувеличений. Как всегда, часть текстов почти непонятна (точнее сказать — неупотребима для понимания) из-за вкрапленной в них псевдофилософической фени французского происхождения (меня занимает вопрос: не следует ли возвратиться и к старому немецкому любомудрию, перевести его заново, сохранив все «дазайны» и «динканзихи»? ). Как всегда, в центре внимания — Ролан Барт, Жорж Батай, Чарлз Буковски, Жан Жене, Славой Жижек, Жан-Люк Нанси, Милорад Павич...

Не хочется выплескивать малыша вместе с мыльной постмодернистской водой, но было бы досадно, если бы новый журнал — в поисках чего-то среднего между «Новым литературным обозрением» и «Ad Marginem» — стал в итоге библиографическим приложением к «Митиниуму журналу», последние номера которого тоже, перефразируя Бродского, «сильно загажены дурно понятым постмодернизмом».

Что мне до французских профессоров и французских же газетных обозревателей (имею в виду, скажем, Барта), разочаровавшихся в столь горячо любимом ими до того сталинизме, а посему решивших, что Гегель (с его якобы тоталитарной Идеей) уже помер? Что мне в конце концов до самого Гегеля, коли остается Сократ платоновских и кинических диалогов?

Следует сперва уразуметь, откуда, куда и почему пришли нынешние философские гунны, прежде чем бездумно заучивать их язык и глядеть на мир их глазами. Ведь когда разговор заходит не только о вершках постмодернистской «деконструкции», но и о ее корешках, картина провозглашенного «кризиса» культуры становится куда более прозрачной и занимательной.

Рекомендую прочесть две книги профессора Констанцкого университета (Германия) Игоря Смирнова, вышедшие в свет этой осенью в его родном городе — «Ното homini philosophus...» (СПб., «Алетейя») и «Свидетельства и догадки» (СПб., «Журнал "Звезда"»). Автор их отнюдь не старовер или традиционалист, к тому же он весьма остроумен, о чем, полагаю, свидетельствуют хотя бы следующие высказывания:

«На постмодернистском пути (начертанном в трактате Деррида «О грамматологии») мы потеряли и Логос, и фаллос. Ни тебе подумать, ни бездумно продолжить род. Какая-то отчаянная ситуация, — как сказал бы Зощенко».

«Но и от французов меня как-то воротит... Особенно от современных... Lyotard et Gilles Deleuze довели меня до слез. Довели они меня до этого состояния своей наглой безответственностью. Посулили, что ни мифов, ни эдипальности больше не будет, сами отдали Богу душу, а нам — там, где ни хушеньки не осталось, живи! Всё есть. Не надуете! В Питере есть всё».

Есть, например, в Питере замечательный живописец и график Арон Зинштейн, чья большая персональная выставка состоялась в сентябре в конногвардейском Манеже.

Весьма вероятно, что и его искусство легко интерпретировать в духе времени, отыскивая в его работах «цитатность» и «полистилистичность». Фактура мазка — словно от французских импрессионистов или Ван-Гога; кричащая яркость красок — от немцев времен Веймарской республики... Но вот — нечто, идущее от Рембрандта, от Гойи... Вот — умилительная местечковость, напоминающая мне рисунки галицийского писателя Бруно Шульца... Или — совсем неожиданно — реминисценции египетских иероглифов, шумерских таблиц; рядом — японская прозрачная невесомость... И при таком смещении — все неотделимо друг от друга, как в амальгаме...

Довольно глупое занятие — пытаться пересказать живопись, если она неподдельна. (Кстати, в жизни Арон удивительно косноязычен — и это, подозреваю, хороший знак.) Для меня же существеннее всего то, что «всемирная отзывчивость» его холстов и гравюр — нерукотворна и неразложима на плоские толкования.

У Зинштейна есть (хотя их и не очень много, что тоже, по-моему, неплохо для питерского художника) городские пейзажи. На них (большая редкость!) изображен Петербург, а не город, «похожий на Петербург».

## ОБЖ, ЕБЖ

●  
**Владимир Салимон. БЕГУЩИЕ  
ОТ ГРОЗЫ.** М., «Золотой век», 1999.

●

Писать о Салимоне, авторе целого ряда поэтических сборников (среди которых вышедшие только за последние пять лет «Невеселое солнце», «За наше счастливое детство», «Красная Москва», «Брильянтовый и золотой» и наконец «Бегущие от грозы»), а также издателя альманаха «Золотой век» легко и трудно.

Легко потому, что его литературная судьба сбывалась не в условиях тайного личного «подполья» или же общественно-декларативного «андеграунда», а более или менее на глазах у почтеннейшей публики — от показательного разгрома в 1981 году («Литгазета») первой «молодогвардейской» книжки до периода, когда поэт трудился в журнале «Юность», где в то время печатались «метаметафористы», и до времен создания «Золотого века», этого «запретного плода» нашей гласности и демократии, налитого недобродившими соками целого поколения рухнувшей перестройки.

Свой среди своих. Гуляка праздный. Поэт-работяга. Моцарт и Сальери в одном лице, поскольку, являясь поэтом чьей-то милостью, многочисленных «моцартов и сальери» неустанно печатал, давал им право голоса и текста.

Трудно писать о Салимоне — через «тусклое стекло», услужливо подставляемое веком. И «лицом к лицу» — тоже, оказывается, трудно, потому что, как было сказано другим гулякой праздным, так тоже «лица не увидать». И метафоры заведут слишком далеко...

Салимон же ведет свою речь, руководствуясь не одними лишь метафорами, и куда она его заведет — бог весть, да, может, еще и сам поэт.

Мы же, не будучи слишком искушенными в искусстве стихосложения, всяческих там аллитерациях и ассонансах, попытаемся методом бесхитростного «близкого чтения» уяснить, что же такое нам хотят сказать — столь же доверительно и просто.

Вначале было: «Ненастье. Морок. Сырость. Грязь. К несчастью, жизнь не уда-

лась...» Приметы «москворецкого побережья», наводящие на мысль о «медвежьем объятье родины моей» и о том, что «все искривь и вкось», а если и случаются среди мертвого хлама иные, неожиданные и веселые приметы — дождь, напиток Богов на троих, искусство или любовь, то им все равно сопутствуют слякоть, похмелье и безрадостная тоска.

Вновь сердце переполнено мое  
любовью,  
но всякий раз любовь мою сыновью  
направить норовят на вторсырьё.

Скука — смертная. От «бузины в огороде» на великой русской равнине до «дыры в кладбищенской ограде», куда заглядываешь «потехи ради»... Что это? Поэзия сумерек и безысходности, вложенная в уста «нового лишнего» нашего времени, пытающегося заразить нас чувством обреченности «по Надсону»? Но поэт, похоже, усмеяется над нами:

Обычная история. Почти  
по Гончарову...  
По Иванову. По Петрову.  
Весна. Распутица. Отсутствие пути.

И тут же утешает — по Саше Чёрному:

Порадоваться жизни повод есть —  
мест хуже нашего не счесть.

Эти прозой жизни выверенные поэтические строчки можно цитировать до умопомрачения, до дурноты. Пейзаж: «из окна полоса отчужденья видна между мусорной свалкой и девственным лесом, эволюцией и прогрессом». Поэтический жест: «хочу я спросонья, обнаружив причину зловонья». Деталь, она же причина, состоящая «в дохлой крысе, раздавленной навверняка многотонной громадиной грузовика. Околесицей мусоровоза. Такова есть презренная проза». Что отчасти и извиняет нашу дерзость, цитируя, нарушать поэтическую строфику. Да это и не цитация в прямом смысле — разговор с текстом. Собеседование...

«...И высветил во мгле/ бутылку на столе  
луч света в темном царстве...»

«Приемщица белья/ не знает,/ но между  
тем — так жить нельзя,/ жизнь между  
пальцев утекает...»

«...все получу сполна я,/ по полной мере  
за труды:/ и кнут, и пряник,/ и лед и пламень:/  
путь крестный и надгробный камень/  
билет счастливый на «Титаник»...»

Впрочем, нет. Стоп. Впору прервать сей задушевный разговор. Сам поэт его

«прервет», оставив прежние откровенности, нерезко, но и недвусмысленно: «Что проку мне ломать комедь, лезть в инженеры. Во всем должно быть чувство меры». И мы сами не заметим, как из сопереживальщиков и братьев по иронии вдруг превратимся во что-то совсем иное, равно как и сам поэт становится иным. И это не перемена «точек отсчета», не побег от собственной «позы», не щегольство «антипозами». Просто *всё* вдруг *переменится*, перемелется и займет свое должное место под «невеселым солнцем» — как у Екклезиаста. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки...» Вдруг она возникнет — особая по отношению к себе и «своему» читателю позиция; М. Бахтин придумал для этого термин «внеаходимость», она-то и переориентирует наше чтение. Например, в направлении «новой античности», которая будет не просто задана требованиями эстетической «ретрухи» того же альманаха «Золотой век», а начнет прорастать, вырастать вместе с этим детищем Салимона в некую картину мира как благого и спаянного одним общим, неэгоистическим интересом всех населяющих его личностей, со всем их лично-духовным скарбом. Это по-иному наполнит стихи — ощущением «бога каждой вещи», неотменимости каждого произнесенного слова. И в конечном итоге перелется в новый «пафос» (погрешки «страсть») — утверждения искусства как тончайшего и точнейшего чертежа жизненных форм, отживших, существующих и только еще готовых народиться.

Тут тоже многое можно процитировать. Заодно обретая свою, новую по отношению к тексту «внеаходимость»: созерцательный покой и бесконечно отдаляющийся смысл.

«Из путешествия на край/ земного диска:/ здесь — сущий рай/ средь вереска и тамариска».

«Конец всему./ Но верится еще —/ достаточно, навек сходя во тьму./ лишь трижды сплунуть через левое плечо».

«Должно быть лето чуть пожарче,/ а солнце красное поярче/ светить,/ чтоб не прервалась жизни нить».

«Потугосторонних сил/ влияние/ я на себе внезапно ощутил,/ как резкое похолодание».

«Запечатленный поцелуй./ общенародным достоянием ставший,—/ пожухлый лист, однажды павший/ средь холодных струй».

«Под снегом, как под пеплом неспроста —/ весь с головы до пят./ до кончика хвоста — мир первозданный сохранен/ для будущих времен».

«Всю нашу дружную семейку/ по свету/ развело в конце концов./ Ни славных воинов. Ни царственных жрецов./ Предела совершенству в мире нету».

«Свежестью дохнуло,/ Липой сладкой./ Так, как будто сливочной помадкой./ поманили нас издали/ тающие в небе облака».

Назад  
возврата нет.  
Сейчас бы рад,  
да крепко держит белый свет.

Не отпускает ни на миг.  
Слились навеки первый крик  
И вздох последний воедино.  
Жизнь — золотая середина.

Не образ на ущербе стоящего и ждущего своего реванша литературного поколения, так и не собравшегося под крышей «Золотого века», не пожелавшего осознать его своим Домом со всеми вытекающими отсюда последствиями, чувством меры и ответственности, а также и ее самой, золотой середины,— совсем не этот образ мерещится мне за чтением дай Бог не последней книги Салимона, а нечто совсем другое. Прибежище лирики, которую я бы назвала гражданской. Потому что здесь, может быть, впервые за годы нашего «новостроя» мы сталкиваемся не просто с сильным лирическим голосом или же частным поэтическим философствованием, и тем более уж эта поэзия — не рупор каких-то захватывающих течений-направлений. В ней я вижу то душевное *делание*, которое само по себе строительство и есть. Отсюда и «пафос» — нашего «общего дела», которое рождается из личного и частного, а откуда же еще ему взяться?

Философ И. Ильин, много страниц посвятивший вопросу строения государства на основе жизненной и духовной, написал: «Государственное дело начинается именно там, где живет общее, то есть такое, что всем важно и всех объединяет, что или сразу у всех будет, или чего сразу у всех не будет; и если не будет, то все развалится и упразднится, и все рассыпется, как песок». В наличии такого «частного вождения» прозревались не просто райские кущи и шумящие леса госучреждений, а гарантия безопасности жизни. Вот так, не больше и не меньше. Теперь эту науку преподают в школе в младших классах, и называется она «Обеспечение безопасности жизни», сокращенно ОБЖ. Как не устроить пожара, не ударить себя током, спастись от грозы...

То, о чем писал философ, для нас по-прежнему — Золотой век, которого всем так не хватает. Поэзии же Салимона хватает. С ней жизнь если не безопасна, то сохранны, и все мы, Бегущие от грозы в но-

вой книге его стихотворений, еще можем осознать себя живущими в едином усилии движения. И это через всех нас и для нас лепится вечно живой, бессмертный образ. ЕБЖ. Если будем живы...

Светлана ВАСИЛЬЕВА

## Мыслящий стилист

Игорь Клех. **ИНЦИДЕНТ С КЛАС-СИКОМ.** М., «НЛО», 1998.

Для широкого читателя Игорь Клех начался с «Хутора во Вселенной». Элитарные малотиражные издания давно заметили автора из Львова, но так уж повелось, что в литературный контекст приходишь через толстый журнал, и та новомирская публикация означала — по принятым правилам игры — «открытие» нового имени. И, надо сказать, была вполне репрезентативна, сразу выявив эстетические и стилистические особенности писателя, который вписывался и — одновременно — держал дистанцию по отношению к литературному «мейнстриму». Клех входил в контекст углом, нестандартно: не отказываясь от повествования, отвергал беллетризм; привязанный к реальности, то и дело убежал в культурные ассоциации; а еще спокойно вставлял снижающие детали, коробившие некоторых критиков, а еще словечки всякие непривычные... Зря в общем-то коробилась критика — чем и ценен писатель, так это в первую очередь «лица необщим выраженьем». А также умением собрать и осмыслить в тексте (даже на малом пространстве!) ту самую Вселенную, что крутится возле любого, если вдуматься, хутора.

Потом было пространное эссе «Зимания. Герма», окончательное утвердившее Клеха как мыслящего стилиста, предпочитающего беллетристическим конст-рукциям пристальное вглядывание в жизнь, в судьбу и затейливое воплощение своих мыслей и переживаний. Следом вышла и книга, солидный и прилично изданный том, который представлял автора в полном объеме. Точнее, дополнял известное — насколько я знаю, издатель поставил условие: в книгу включать только неопубликованное, а его набралось к тому времени предостаточно.

Первая книга автора, пишущего более двадцати лет, — праздник и ответственность, радость и мука. И тщательная выст-

роенность книги говорит о том, что автор основательно помучился с составлением, надо думать, в странном этом процессе открывая себе — себя же. Ну и нам открываясь с самых разных, привычно-непривычных сторон и задавая загадки: например, жанровые.

Игорь Клех пишет не рассказы, не повести и, разумеется, не романы. К повествовательной прозе, как уже сказано, он вообще испытывает легкое отвращение, а точнее, скуку, причины которой можно понять: беллетристика и правда поднадоела, она волей-неволей порождает штампы, затягивает текст в жесткий корсет стандартных форм и в конечном итоге воспроизводит несвободу. А творчество по определению есть скачок из царства необходимости в царство свободы; и автор его делает, выбирая жанр эссе, наиболее свободный и наименее ограниченный рамками. В свое время Лидия Гинзбург говорила: вместо того чтоб создавать интеллектуального героя, слово может взять сам интеллектуальный автор. В нашем случае мы и имеем дело с интеллектуальным автором. Хотя... На этом найденном определении — «эссе» — можно было бы успокоиться, если бы автор сам его время от времени не опрокидывал: в его текстах мелькают тени то Кафки, то Гоголя, то Борхеса, и там столько личного, что уже выпадает за рамки суховатого слова «эссе». Поэтому рискну сказать, что в конечном итоге жанр этих коротких — в основном в двести страниц — текстов определяется двумя словами: Игорь Клех.

Другую загадку прозаика Клеха будет легче разгадать, если процитировать одно из его высказываний о Бруно Шульце: «Шульц примыкает к тому ряду прозаиков XX века, которые провели внезапную и стремительную операцию по захвату исконных территорий поэзии, смело введя языковую проблематику в плоть своей прозы, сделав упор на фактуру слова и долготу дыхания фразы, на сам характер высказывания, на языковую по преимуществу интуицию размера целого. Способ речи потеснил у них и перевесил традиционные прозаические “добродетели”...» Все это можно отнести и к нашему автору: при всем интеллектуализме его прозы, то есть при кажущемся главенстве мысли, способ речи, построение фразы, лексика, синтаксис для Клеха не менее, если не более важны. И обманываться здесь не стоит, а именно — не стоит числить автора в сугубых интеллектуалах или, к примеру, во фрейдистах; цель его иная, и она недостижима хотя бы в силу несовершенства и грубости самого языка.

Фрейд упомянут не случайно — время от времени тот возникает на страницах

книги, и его методика даже служит для интерпретации некоторых явлений. И это естественно, если учесть, что родина Клеха — Львов, Лемберг, Леопольс — город срединной Европы, о которой он пишет: «Географический центр Европы — место, где бдят пограничники пяти государств, где границы отвердевают, а люди размягчаются и отрываются от собственных судеб, где все контуры дwoятся и накладываются один на другой, как пакет слайдов, где сквозят и просвечивают друг через друга эпохи и этносы — дряблая сердцевина европейского дерева, как всякая сердцевина, годящаяся только на карандаши и спички... То край, чья судьба кажется мельче его собственной тоски». Так определяется большая родина — от Мюнхена до Диканьки, просторы бывшей Габсбургской империи, где появились и Фрейд, и Захер-Мазох, и Кафка, и Гоголь (и Роман Виктюк, к слову сказать, тоже ведь символическая фигура). Но если вчитаться в прозу нашего автора, увидишь, что от Гоголя он взял гораздо больше, чем от Фрейда. У Клеха не фрейдовская методика, а фрейдовская метафорика, это опять же способ расширения языка. И если говорить об эротических мотивах, то у Клеха скорее эротическое отношение к слову, а не к телу; если он и стремится чем-то овладеть, так это овладеть языком.

С другой стороны, невозможно автора раззять на части: здесь, мол, язык, а здесь мысль. У Игоря Клеха, как и у всякого настоящего писателя, присутствует сразу все, присутствует органика, и его точные и зачастую парадоксальные мысли вплетены в густо метафоричную словесную вязь, как золотая нитка в ткань.

Так, после сжатой и динамичной истории иезуитского ордена и его деятельности в разных странах поражаешься мысли, достойной Борхеса: Игнатий Лойола (современник Гутенберга) был изобретателем своего рода пишущей машинки, предназначенной для переписывания мира; а литератами в ней были члены общины. Или в отрывке о Марке Чапмэне (этом современном Герострате, убийце Джона Леннона) Клех подмечает деталь: Чапмен, оказывается, всю жизнь не расставался с книгой Сэлинджера «Над пропастью во ржи», она была его любимейшим чтением, и три дня перед убийством почти дословно воспроизводит три дня в Нью-Йорке Холдена Колфилда, героя Сэлинджера. От прямых обвинений удержимся (и автор от них удерживается), но связь любопытная, она побуждает задуматься.

Говорить о прозе Клеха не просто, во всяком случае, в привычной терминологии. Хочется, например, выдать такой штамп: перед нами, несомненно, книга ма-

стера. Но сразу же попадаешь в контекст книги, где уже иронически обыграно булгаковское противопоставление Мастера с большой буквы, то есть гения, и толпы. И вместо оценок, думается, стоит процитировать фрагмент из «Записок сорокалетнего» (именно этой вещию открывается книга): «Нет проблем, о чем писать, — у всех есть о чем — есть проблема жанра, открытия формы. Все твои богатства, которые есть и у самого неимущего, должны пройти через горнило жанра — что-то здесь сгорит, что-то не пройдет. И это — самое трудное. ...единственное, что может сделать писатель из того, что от него зависит, — это сказать себе громко и внятно: “Ты — свободен!”»

Так что один из уроков, который преподносит нам прозаик Игорь Клех — это урок свободы, не от формы вообще, а свободы от стандартных форм и тем. Клех может писать о сале как сакральной украинской пище или о колбасе как политической величине; может писать о мифе кинематографа или феномене радио, что лишь на поверхностный взгляд кажется мелкотемьем. Какая уж тут «мелкость», когда автор жестко и точно анализирует важнейшие современные супермифы: например, кино. «Начиналось и заканчивается кино как балаган, как чистое зрелище. В промежутке уместились трагедия и драма авторского кино — Тарковских, Бергманов, Бунюэлей, Феллини. Эти пришли сделать из кино искусство и что-то еще. И оно изрыгнуло их. Или переварило». Клех рассматривает сновидческую природу кинематографа и подробнее фигуру главного сегодняшнего навевателя «снов золотых» — Стивена Спилберга. Без пафоса разоблачительства, без истерики Клех раззясняет, почему известный фильм «Список Шиндлера» — все-таки подмена. Отмечается умелая эксплуатация зрительских чувств, манипуляция ими, а также обаятельный цинизм режиссера, ведь Спилберг принадлежит к тем творцам, каждое душевное движение которых (вспомним фильм «Сталкер») должно быть отмечено публикой и оплачено — и тем выше, чем оно благородней.

Достается и радио, которое автор сравнивает с дудочкой сказочного Крысолова. Куда она нас всех манит, без умолку сообщая политические новости и круглосуточно транслируя музыку? И куда нас заведут «новые редукционисты» от изоцистства и литературы, со смешками и ужимками убивающие то и другое и превращающие дар и мучительную работу над формой в попсовую клоунаду?

Однако самые удачные и интересные вещи, на мой взгляд, у автора получаются, когда сходятся собственная судьба, Исто-

рия, эмоция и мысль; тогда же, как правило, появляется и какая-то событийность — не сюжет, скорее намек на него. Таков упомянутый «Хутор во Вселенной» или маленькая повесть (назовем ее так) «Поминки по Каллимаху», которая замыкает книгу и символически представляет все творчество Игоря Клеха, который не доверяет повествованию, иронически высвечивает его двусмысленность, но, делая обходной маневр, все-таки создает прозу. История итальянского поэта Каллимаха Буонаккорси и его возлюбленной Фаниолы перемежается в повести с авторской рефлексией по поводу сюжетности вообще: мол, суета сует, твое время разучилось рассказывать истории, и к чему тогда будоражить тени? Тем не менее история движется, захватывая читателя, чтобы в конце взорваться: в жизни исторического Каллимаха, оказывается, было многое иначе! Но, хотя мы видим, как породившее романтическую версию воображение разбивается вдребезги о стену под названием Факт, авторские сомнения отнюдь не подтверждаются. Мы имеем и Факт, и романтизм, и ту самую «эпистемологическую неуверенность», породившую постмодернистский дискурс, и — что важно! — преодоление неуверенности. Соблазн постмодернизма здесь преодолевается отчаянной и прекрасной волей к творчеству, которая тащит тебя через тернии и репейники усталого современного сознания к результату. Какому? А вот такому, какой получился, и где есть сразу все.

Первое серьезное «собрание сочинений» Игоря Клеха, без сомнения, оказалось удачным. Будем надеяться, что новый опыт автора, пройдя *«через горнило жанра»*, подарит нам интересные и оригинальные тексты.

Владимир ШПАКОВ

## Рабле двадцатого столетия



**Генри Миллер. РОЗА РАСПЯТИЯ.** Трилогия. Перевод В. Бернацкой, В. Минушина, Н. Пальцева, Е. Храмова. Послесловие Н. Пальцева. В 2-х тт. М., «Институт ДИ-ДИК», ООО «Фирма «Издательство АСТ»», 1999.



Не буду кривить душой и говорить, будто прочитала трилогию впервые. К сча-

стью для меня, я прочитала ее почти вовремя, где-то в начале 1970-х годов. Не зная предыдущих произведений писателя, но вполне представляя его всеамериканскую и всеевропейскую славу, я была поражена, озадачена, смущена... Чем? В первую очередь исповедальной и излишней, как мне показалось, откровенностью автора, переходившей границы «допустимого в приличном обществе». Мне было известно, что романы Миллера запрещались и в Европе, и в Америке как раз за то, что смутило и меня: за подробное описание сексуальных радостей. Но потом романы разрешали, и они в полной мере получали признание и ругань как критиков, так и читателей, которые тем не менее раскупили их в большом количестве и в самых разных странах, где цензура не мешала каждому отдельному человеку выбирать для себя то, что он или она хотели получить из произведений живописи, кино, драмы и, конечно же, прозы и поэзии. Но почему запрещали? Из-за скандальной репутации автора? Из-за «клубнички»? Из-за выставленного напоказ грязного белья? При чем выставленного нарочно, ибо писатель даже и не думает скрывать биографичность всех трех романов, называя главного героя собственным именем.

И вот через какое-то время меня стали преследовать (в мыслях, естественно) не очень-то любимый мной даже в комсомольской юности писатель Николай Островский и его Павка Корчагин. Какая связь? Я тоже не сразу понял. Но ведь Островский написал: жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно... И он прожил свою жизнь так, как хотел ее прожить. Подобно самому Островскому, Корчагин — свободный и счастливый человек, главным содержанием жизни которого были Любовь и Творчество.

Миллер — современник Островского. В 1930-е годы его первый роман, тоже биографический, тоже «неприличный», тоже поначалу запрещенный — «Тропик Рака» — получил признание и сразу прославил своего создателя. Потом были «Черная весна», «Тропик Козерога», вместе с «Тропиком Рака» составившие первую великую трилогию Генри Миллера.

Первый роман из второй трилогии («Роза распятия») — то есть «Сексус» — Миллер начал писать в 1941 году. Окончательно вторая трилогия, включая романы «Плексус» и «Нексус» (все якобы латинские названия придуманы Г. Миллером), сложилась к концу 1950-х годов.

Наверное, кому-то это покажется странным, но именно счастливый Корчагин, свободный в своем жизненном выборе, стал моим первым помощником в по-

нимании персонажа Генри Миллера из «Розы распятия» Генри Миллера. А вторым был Рабле. Да, француз Франсуа Рабле из шестнадцатого столетия, создатель Гаргантюа, Пантагрюэля, Панурга, певец радостей, предоставляемых людям земной жизнью. Понемногу накапливая знания о Миллере, я совсем не удивилась, узнав, что Рабле был его любимым писателем. В нашем сознании давно отложилось, что «любитель хорошо поест» должен быть хорошим человеком. Вот и Гаргантюа — добрый, разумный правитель, даже если рассказы об его обжорстве поражают воображение и затмевают все остальное. «Проверка ценностной иерархии духа органикой плоти»; — как пишет в послесловии Николай Пальцев, один из немногих настоящих знатоков творчества Миллера в нашей стране.

Итак, пройдя долгий путь от первого чтения трилогии в начале 1970-х годов до теперешнего, на русском языке, в солидном двухтомном издании, я могу точно сказать, что проза Генри Миллера вовсе не свободный поток сознания автобиографического героя, только и занимающегося муссированием мотивов секса в разных вариациях, как полагали в свое время некоторые критики, в частности в России, где многие читали самого Миллера, зато многие читали, что читать его не надо, ибо автор «не подымается выше примитивной эротики».

Во-первых, поток сознания Миллера, появившийся не на пустом месте, а имеющий великолепную традицию в англоязычной прозе, — явление само по себе виртуозное и тщательно продуманное, сочетающее страстный порыв и ледяную рассудочность. Для литературных гурманов хочу заметить, что труд четверых переводчиков дает отличное представление о прозе Миллера, ибо четыре единомышленника, сойдясь в главном, тем не менее отлично дополняют друг друга, приближая русский вариант к американскому оригиналу.

Во-вторых, Генри Миллер как герой автобиографической трилогии — на редкость счастливый человек, даже когда бултыхается в грязи на самом дне, даже когда почти совсем теряет веру в себя, даже когда упивается собственным ничтожеством. Инстинкт и творчество были и будут заложены в любом человеке, но прошли четыре века после написания «Гаргантюа и Пантагрюэля», прежде чем американец Миллер вновь не отдельными сценами, не отдельными персонажами, а сутью своего сочинения посягнул на границы дозволенного и вновь прославил радости плоти и радости духа. И достиг цели.

В-третьих, все произведения Генри Миллера суть гимн индивидуальной свободе личности. Но почему же, отстаивая эту свободу, Миллер в первую очередь обращается к сексуальной жизни человека? С тех пор как великие умы эпохи Возрождения провозгласили самоценность человеческой жизни, не прекращается политическая, литературная, религиозная борьба за и против этого постулата. И если Хемингуэй, писатель не менее влиятельный, чем Миллер, привел своих читателей в ужас трагедией мужественного, сильного, талантливого человека, подчиняющего себя требованиям общества, то Миллер начал свой путь к индивидуальной свободе с поправки «общественных норм» относительно секса. «Мы пытаемся, — писал он, — втиснуть секс, как и все остальные проявления человеческой жизни, в какие-то рамки, установить нормы, но норма — это понятие статистическое, выуженное из жизни множества мужчин и женщин. То, что считается разумным и полезным в отношении большинства, не может считаться критерием поведения, когда речь заходит об отдельной личности... Это материя тонкая и сугубо интимная, она не терпит, когда ее загоняют в прокрустово ложе общепринятых представлений о морали». Вот так, начиная с «Сексуса» («Соития»), через второй роман «Плексус» («Сплетения») и заканчивая «Нексусом» («Узами»), Генри Миллер восходит к высшим жизненным ценностям.

Л. ВОЛОДАРСКАЯ

---

## Существо поэзии

●  
Игорь Меламед. В ЧЕРНОМ РАЮ.  
М., «Книжный сад», 1998.

●  
Десяток лет назад в другой стране и в другой жизни, предваряя подборку Игоря Меламеда для альманаха «Латинский квартал», я обмолвился, что он «находит в себе силы писать стихи так, как будто не было в поэзии “века серебряного”, обращаясь непосредственно к “золотому” XIX». Вполне полемическое и (на тот момент) некорректное утверждение оправдано последующей практикой автора.

Книга Игоря Меламеда «В черном раю», выпущенная в твердом переплете и на хорошей бумаге, — удивительное по на-

шим временам подтверждение тому, что стихи могут еще издаваться *прилично*. Ее приятно подержать в руках, с ней можно завалиться в кровать, дабы перечитать на сон грядущий давно знакомые (и мною чрезвычайно любимые) стихотворения. Она в конце концов не затеряется на книжных прилавках среди непомерного количества изданных за счет авторов стихотворных брошюр.

Лично для меня выход этого сборника — *событие*. Конечно же, замечательно, что истинный поэт, пользовавшийся «глухой» полуподпольной славой, обретает читателя. Но свой читатель, строго говоря, у Меламеда был довольно давно. Событие в том, что выход под одной обложкой двух книг стихов (первой — «Бессонницы», 1994, и новой — «В черном раю», давшей название сборнику) и одновременно статей автора, не только декларирующих собственную эстетическую позицию, но предлагающих связный очерк всей русской поэзии от Ломоносова до наших дней, — факт *нормальной* литературной жизни, по которой истосковалось сердце стихотворца.

Наличие в книге теоретических работ автора провоцирует их использование при анализе собственно стихотворений. Поэт, как известно, подсуден законам, которые сам над собой признает. Однако уникальность ситуации в том, что Игорь Меламед в своих статьях не только формулирует эстетическое кредо, но и *судит* всю предыдущую (и современную) русскую поэзию. Причем судит, исходя из подчеркнуто субъективной точки зрения. Сознвая уязвимость избранного подхода, автор честно признается, что при столкновении с противоположным мнением ему приходится прибегать к неотразимой аргументации чеховского отставного урядника: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Позиция судьи, традиционно малопривлекательная, оправдана-таки тем, что развертываемая автором панорама русской поэзии не имеет ничего общего с бичом XX века — утопией превосходства критика (интерпретатора) над творцом. Это написано реально, искренним, довольно уязвимым поэтом не столько как манифест — скорее как заклинание самого себя, попытка удостовериться в правильности собственного пути.

«В сущности, это и есть единственно оправданный “союз” в литературе: *по-разному* смотреть на *одни и те же вещи*», — пишет, вспоминая литинститутское дружество, в послесловии к книге Павел Басинский.

Подписываюсь обеими руками!

Мой взгляд на литературу чрезвычайно отличен от взгляда Игоря, но *одни и те же*

*вещи* волнуют не только нас обоих, но всякого, кому возможность поэзии сегодня не безразлична. Именно эта розность, роднящая суверенность взгляда, делает для меня книгу Меламеда событием, которому радуешься, но с которым и имеешь честь не соглашаться.

Декларированное в статьях понимание *существа поэзии* в его соотношении с поэтической практикой автора делает эту книгу не только замечательным эстетическим чтением, но и приоткрывает завесу тайны над святой святых — мастерской художника. В случае Меламеда правильное сказать: кельей. «Гармонический строй и лад, строение и состав русской поэзии формируются благодатно», — утверждает автор. Благодать никоим образом не зависима ни от гения художника, ни от его человеческой индивидуальности; даже «неравенство талантов не имеет здесь решающего значения». Благодать внеиндивидуальна, ибо синонимом индивидуального служит самовыражение — противопоставленное совершенству: «Искусство, в особенности в XX веке, дает немало примеров гениальной самореализации; благодать же через художника является миру отзвук божественной гармонии». Припомнив знаменитую формулу Бюффона «Стиль — это человек», приходим к выводу, что наличие собственного стиля попросту *мешает* художнику достигнуть «благодатно даруемого совершенства» (разрядка автора. — **В. К.**).

Непоколебимая убежденность Меламеда в религиозных основах любого эстетического опыта вызывает уважение. «Совершенное произведение, — отмечает он, — всегда исполнено гармонии, даруемой свыше, и потому оно — лучшее доказательство Бытия Божьего, нежели у Ансельма Кентерберийского или Декарта». Но, противопоставив свое эстетическое доказательство аргументам онтологическим, Меламед практически ставит вне закона все *иные* сферы эстетики. Он резко противопоставляет «высокое искусство, сотворенное человеком» (примерами которому приводятся Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Хлебников), «чудесному совершенству, дарованному ему свыше» (Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет). Замечательно здесь само иерархическое соотношение «выше-ниже», ибо (не удержусь процитировать Бродского) «на этих высотах иерархии не существует».

Кстати, полемически резкое утверждение: «Совершенство же всегда является атрибутом Того, о Ком сказано в Евангелии», — причудливым образом намекает не только на несовершенство гомеровского эпоса, но и на «несовершенство» книг Ветхого завета.

Меламед принципиально отвергает возможность демиургической функции поэзии. Очевидно его резкое неприятие символизма и философии Владимира Соловьева — той его мысли, что наделенные *свободой воли* люди иерархически выше ангелов. В иерархии Меламеда ангелы несоизмеримо выше. Они же — по совместительству — играют роль камен.

Для эстетических построений автора характерна непрерываемая, иногда прямая, но чаще подспудная полемика с Иосифом Бродским. Poleмика тем более актуальная, что голос самого Меламеда в такой его крупной вещи, как «Бессонница» (и не только), явственно зависим от дикции Бродского — как минимум от его «Большой элегии Джону Донну». Замечательно, что в этом тотальном отторжении Бродского не наличествует оттенок сальеризма — оно, бесспорно, происходит по закону любви. Любви, полагающей себя обманутой.

Возможность созидания поэтом собственного языка трактуется Меламедом не как соучастие в божественном акте творения, но как кощунственная претензия на равенство человека Господу. «Экспансия стиля» в поэзии есть, по существу, «экспансия человека», его индивидуальности. Меламед характеризует окрашенное личностным началом творчество (самовыражение) как предуготовительное, как некое ученичество перед благодатью творчества истинно гармонического. В качестве примера приводятся Блок, Пастернак и Заболоцкий, в поэзии которых — как следствие встречи с чудом — произошло «гармоническое преобразование индивидуального стиля». То, что благодатье найти может быть воспринято каждым поэтом *по-разному* (а уж в случае Заболоцкого — не без внеэстетических причин), как-то не принимается в расчет. Как не принимается в расчет разница между XIX и XX веками.

Меламед честно констатирует: «Несовершенство мира, увы, не опровергается гармоническим искусством, ибо последнее не имеет отношения к первому. “Райские песни” Моцарта никак объективно не опровергают Освенцим», — забывая довольно актуальный для современного художника вопрос Теодора Адорно («Как можно писать музыку после Аушвица?») и ответ на него, данный в Нобелевской лекции поэтом поколения, *такую* музыку создавшего.

Если, по Блоку, назначением поэта является внесение гармонии в мир, то ужасы, привнесенные в жизнь человеческую веком XX, требуют уже новой гармонии, новой Музы, обновленных слов, подразумеваемых в числе прочего и пресловутую

«филологическую ересь». Ставшую, в свою очередь, каноном. Для Меламеда, похоже, сама мысль о возможности такой новой гармонии ужасна. Он, как от наваждения, отрешивается от эстетики раннего Пастернака и позднего Мандельштама — не говоря уже о Бродском. Все настойчивее звучит и жалоба на «искание благодати в новейшем искусстве», единственным позитивным примером которого приводится «исполненное классического благородства» творчество Ивана Жданова (такими не связанным с поэтикой скрытых реминисценций, «пропущенных звеньев» и «метафорических шифров» позднего Мандельштама?!).

Спорить с позицией, сформулированной Игорем Меламедом, можно долго и подробно. Но, как было подчеркнuto в самом начале, драгоценно не сходство во взглядах — драгоценно различие. Автор «Совершенства и самовыражения» не убоился поставить себя и читателя перед сложной и весьма насыщенной проблемой: «Одной из задач моей работы было показать, что гений и совершенство — две вещи не всегда совместные». Можно не соглашаться с его выводами, но не уважать искренность и убежденность автора невозможно. Как и невозможно постраусячь не замечать самой проблемы.

Стихи самого Меламеда в какой-то степени подтверждают его теоретические построения, но, будучи в первую очередь *стихами*, отказываются укладываться в предуготовленные рамки. Определяющим, конечно же, является понимание автором их написания как *служения*, но ни в коем случае не овладения материалом или его преодоления. Именно в этом высоком и рискованном смысле слова стихи Меламеда как бы *не-литература*. Понятия «мастер» и «ремесло» для него, похоже, отвратительны. Мастер — «профанный псевдоним художника». Соответственно в своих стихах Меламед избегает, как ереси, модернистского технического инструментария. Рифмовка его подчеркнута невыразительна, а голос порой слаб и монотонен. Поминаемая Меламедом в связи с «Посмертным дневником» Георгия Иванова «безыскусность после “искусства”» служит, пожалуй, наиболее точным определением его собственной поэтики.

Меламед явно отвергает цветавскую идею о сотворчестве читателя. Ему важнее читатель сочувствующий, соперничающий. Книгу открывает стихотворение, ставшее, на мой вкус, уже классическим:

...И опять принимаю я к ней ненасытно.  
Этой музыки теплая, спелая мякоть.  
Когда слушаю Шуберта — плакать не стыдно.  
Когда слушаю Моцарта — стыдно не плакать.

Это «стыдно не плакать», помню, поразило при первом знакомстве более всего. Плакать, сиречь выставлять напоказ эмоции без их предварительной эстетизации, ныне вроде как невозможно, почти непристойно. Слезы Меламеда — это не «всухмятку мычу и мяукаю» Гандлевского, не «сквозь прощальные слезы» Кибирова, а нечто из вовсе уж невместного сентиментализма. Сентиментализма карамзинского, без прилагательных. То есть именно соленая влага, произвольно набегающая на глаза и предполагающая подобную же реакцию у читателя. (Замечательно, что он исхитряется вызывать эти встречные слезы не только у бедных Лиз и Макаров Девушкиных, но и у циничных по необходимости профессиональных литераторов.)

Прикосновение к чуду происходит в двух его книгах стихов по-разному. Лирический герой (да простит мне этот термин Игорь, полагающий филологическую науку «чудовищной») «Бессонницы» (стихи 1982—1988 годов) — «полубезумный», «бедный двойник», характеризуемый следующим образом:

бледный, взлохмаченный, мокрый, нагой,  
хищно спросонья оскалась очками,  
слово луж разбивая ногой,  
слезы пустые глотая зрачками...

родственен как Ходасевичу («Перед зеркалом»), так и герою 5-й главки «Литовского дивертисмента» Бродского:

И ты в потемках одинок и наг  
на простыне, как Зодиака знак.

Потаенный сюжет «Бессонницы» — примерка на себя, почти тяжба двух властных эстетик, разрешенная впоследствии в пользу одной из них: «Случается ведь, что благодатью осеняется меньший, а не больший дар. Бродский был, несомненно, талантливей Арсения Тарковского, но в отличие от последнего почти не имел творческой благодати».

Выбор, совершенный поэтом, сделан в пользу не только благодатности, но и целостности («Совершенство всегда целостно»). «Абсурд цельности» (Анненский) оказался милее «беглого языка намеков, недосказов, символов» (он же). В теоретических построениях Меламеда «двойственность» всегда подразумевает инвективу; возможность взгляда на одно явление с более чем одной точки зрения совершенству противопоставлена: «Само существование его (Мандельштама. — В. К.) известных двойчаток нередко означает, что у стихотворения нет небесного прообраза или поэт не сумел к нему прорваться». Но сквозная для «Бессонницы» беседа поэта с двойником, «ночным отраженьем» («Свет зажигаю под ноющий дождь» и др.), пред-

полагает именно двойственность, расщепленность авторского сознания. Да и завершающее эту книгу стихотворение «Два голоса» апеллирует к диалогизму Бродского 60-х годов.

Во второй книге Игоря Меламеда (включающей стихи 1989—1998 годов) совершается прорыв к целостности. Вся она — опровержение абсурда этой жизни. Именно опровержение, а не противостояние ему. Замечательна в этом смысле «Колыбельная» (1995), которую хочется процитировать целиком:

Усни, дитя мое! Над миром  
царит покой и благодать.  
Лишь призрак, созданный Шекспиром,  
повелевает нам страдать.

Не плачь, мой мальчик! Успокойся!  
Любовью Божий мир объят.  
И лишь в воображенье Джойса  
возник нечаянный разлад.

Ну что ты?.. Зеленеет травка.  
Не плачь же! Солнышко блестит.  
А что выдумывает Кафка —  
пустое! Бог ему простит!

Герой второй книги — это «плачущий мальчик», «недетским охваченный страхом». Припоминание блаженных минут «в черном раю» советского детства, где еще жив был отец, детская вера в то, что «кончится смерть», черная пластинка, сулящая «музыкальное бессмертье», — все это парадоксальным образом роднит автора с поэтами «московского времени», с «критическим сентиментализмом» Сергея Гандлевского.

В «Бессоннице» реалии весьма абстрактны, символистичны («Этот поезд отходит навек./Этот поезд отходит в крушение»). В «Городских ямбах» второй книги совершенно иная, живая и узнаваемая картина:

В глубинах городского ада  
кричит рассерженная галка,  
автомобиль ревет протяжно.  
И ничего уже не надо,  
и ничего уже не жалко,  
и ничего уже не страшно.

Невольная скорее всего перекличка с «совершенными и страшными» (Меламед) стихами Георгия Иванова обнажает здесь одновременно силу и слабость авторской позиции. Эти стихи лишены трагизма мировосприятия, который суть единый хлеб поэзии, внепричастны отверзшейся Иванову метафизической бездне, но зато в них можно жить, как в уютной (пусть и не вполне комфортабельной) квартире: растить ребенка, любить любимую, дружить с друзьями, писать стихи... Жалобе христианского греха отчаяния (в «Бессоннице») пришла на смену жалоба смирения:

Не вырваться... Всегда одно и то же:  
 дерева, люди и автомобили.  
 И мне порою кажется, о Боже,  
 Они мне будут снится и в могиле.

Для книги «В черном раю», на первый взгляд не столь яркой, как «Бессонница», характерна редкостная в современной поэзии благородная сдержанность. Автор, в теоретических построениях призывающий обращаться с метафорами крайне осторожно, дабы не притянуть насильственно друг к другу «далековатые» идеи и предметы, дарит предметы удивительно органичной метафорике («вот здесь твоя могила родилась»; «Ходит кругами секундная спица —/ существованья скудеет клубок» или «...затем, что мы сойти обречены/ с лица земли, как сходят с лиц улыбки...»). Как отличны они от мощных, эмблематичных метафор «Бессонницы»:

Боже, как холодно в мире твоём!  
 С каждым глотком твоя чаша бездонней.  
 Словно гагары подбитые, пьем  
 ласковый лед из любимых ладоней.

Или:

Жизнь против стрелки часовой  
 к небытию стремится.  
 Там рыбы с крыльями со мной  
 и с плавниками птицы.

В последнем стихотворении книги «В черном раю» («В который раз прошу: не умирай...») автор — в давнем споре с поэтикой Бродского — не страшится привлечь откровенно «бродские» реалии, но его «Божий куст/ в слезах осенних», отсылающий вроде бы к «Исааку и Аврааму», звучит отнюдь не как скрытая цитата. Игорю Меламеду, одному из немногих в нынешней «пост-бродской» поэзии, удалось почти невозможное: вернуться к изначальному смыслу слова, очистить его от чужих семантических напластований. Мотылек, завершающий это стихотворение:

И сердце затихающее бьется,  
 как мотылек в бесчувственной горсти,

независим ни от метафизического мотылька Бродского («Но мотылек по комнате кружил»), ни от идиллически вкушающего нектар «малютки-мотылька» Вордсворта — в собственном, Меламеда, переводе. (Включенные в книгу переводы из По и Вордсворта, несомненно, заслуживают отдельного разговора.)

Книга Игоря Меламеда вряд ли являет, перефразируя Пастернака, в слове образ мира, но образ человеческого отношения к миру — целомудренного, честного и трепетного — являет несомненно.

Виктор КУЛЛЭ

## Теза — антитеза — СИНТЕЗ

●  
**В. В. Набоков. КОММЕНТАРИИ К «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ».** СПб, «Искусство», Набоковский Фонд, 1999. Научный редактор В. П. Старк; перевод Г. Дашевского и др.

●  
 Комментарии Набокова к «Евгению Онегину» давно уже стали легендой. Наконец они изданы по-русски. В предисловии приведено суждение Е. Чуковской: «Для его критического метода вообще характерно строить свои статьи так: сперва с большим преувеличением развить и утвердить какую-то мысль, затем — другую, как бы противоположную ей, а в конце, в заключении, объединить их в совершенно ясном, хотя и сложном синтезе». Стоит отметить, что дед Елены Чуковской был в числе немногих русских ученых, положительно отнесшихся к труду Набокова.

Стиль набоковских комментариев, конечно же, донельзя далек от тех безличности и бесстрастия, которые считаются признаками научности. Даже бесспорные в общем-то вещи он ухитряется сказать так субъективно, так по-своему, чтобы взбесить одних и восхитить других. Вот характеристика «Руслана и Людмилы»: «В этой поэтической сказке говорится о приключениях галлоподобных рыцарей, дев и колдунов на фоне картонного Киева». Но часто Набоков попросту высказывает дискуссионную или сомнительную (в глазах специалистов) мысль безапелляционным, не терпящим возражения тоном. Скажем: вражда «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса» «не имела никаких последствий для русской литературы и отличалась дурными манерами с обеих сторон». Князь Вяземский — «малозначительный поэт, жестоко страдавший от влияния французского рифмоплета Беранже». Вообще поэтов пушкинской плеяды — Жуковского, Батюшкова, Языкова, Катенина и в особенности Баратынского — Набоков явно недооценивает. Исключение делается для Грибоедова, Крылова и позднего Кюхельбекера (здесь очевидно влияние работ Тынянова, на которого Набоков, якобы в принципе не признававший советского литературоведения, несколько раз уважительно ссылается). Есть два-три случая, когда Набоков сообщает читателю вещи явно неверные:

например, о самоубийстве Веневитинова или о *синекуре* Крылова в Публичной Библиотеке.

Гораздо больше примеров вторжения в ткань научного текста личной, писательской и человеческой ноты. Совершенно потрясающий пример — примечание к строке «и радуги на снег наводят» (про окна карет): «Мои воспоминания пятидесятилетней давности сохранили не столько сугробы с радужными отсветами двух боковых фонарей кареты, сколько стрельчатое мерцание за заиндевевым окошком уличных фонарей, рассеивающихся у края стекла». Даже высказывая вполне научную (и доселе не опровергнутую) версию о дуэли Пушкина и Рыльева в Батове между 6 и 9 мая 1820 года, Набоков не может удержаться от воспоминаний о своих «потешных дуэлях с кузеном в grand allee батовского парка».

В той избыточности, с которой Набоков приводит одиннадцать примеров употребления слова «педант» разными европейскими авторами (от Монтеня до Аддисона) и все для того, чтобы опровергнуть идиотскую мысль Н. Л. Бродского, что слово «педант» по отношению к Онегину означает «декабрист» (стоило ли труда?), чувствуется не только пародийный *педантизм*, но и чисто писательское любовование материалом. В еще большей мере — в каталоге личных вещей Бруммеля, знаменитейшего «денди лондонского». Вообще Набоков всячески стремится найти иностранные источники и параллели (здесь явная попытка реализовать свои преимущества и компенсировать ими главную слабость — отсутствие доступа к рукописям). Если обнаруженный источник повлиять на Пушкина не мог (хотя бы чисто хронологически), Набоков не скрывает огорчения. Во время антикосмополитической кампании мысль о том, что на сказки Пушкина влияла не только Арина Родионова, но и братья Гримм, стоила М. К. Азадовскому больших неприятностей. Набоков — космополит из космополитов. Всякий фольклор, всякая этнография, всякое укорененное в быте, неиндивидуальное творчество вызывают у него презрение. «Русских комментаторов... опьяняет идеал “простой женщины из народа”, которая рассказывает старые сказки (увы, почерпнутые из дешевых итальянских брошюр) “нашему народному поэту” — “как будто истинный поэт может быть народным!”» — почти брызгливо замечает он.

Это теза. Антитеза: в собственно научной части своего труда — вне всех этих субъективных оценок и гениальных писательских излишеств — Набоков проявля-

ет не только научную истовость, но и удивительную интуицию. В комментариях научного редактора там и сям можно встретить такую фразу: «Не располагая рукописями, Набоков тем не менее сделал правильный вывод...» (хотя, конечно, и редактор — директор дома-музея Набокова — небеспристрастен). Так или иначе ученые, морщась, вынуждены обращаться к «ненаучному» труду великого писателя. Он делал то, чего не делал больше никто (до Лотмана): тщательно высчитывал хронологию романа, расстояния, которые приходилось преодолевать его героям, реконструировал топографию, воссоздавал культурно-бытовой контекст.

Пожалуй, он слишком мало сказал о главном: о структуре пушкинского произведения, о том, *зачем* «Онегин» написан. Понятно, что роман Пушкина не был для него «энциклопедией русской жизни», — тогда чем? Может быть, Набоков отчасти ответил на него структурой своих примечаний. Этот текст, где на строгий каркас ученого комментария навешивается огромное количество личных воспоминаний, оценок, «ненужных» сведений обо всех сторонах жизни, — не является ли он в своем роде двойником комментируемой книги?

Может быть, именно здесь и лежит «ясный, хотя и сложный синтез»? И тогда комментарий к «Онегину» — еще один шедевр русской литературы, созданный по иронии судьбы на другом языке...

Марк АНТОНОВ

## Как жить в Европе, не выезжая из России

●  
**В. К. Кантор. ФЕНОМЕН РУССКОГО ЕВРОПЕЙЦА.** Культурфилософские очерки. М., Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

●  
Новая книга известного философа и писателя Владимира Кантора — ответ на госзаказ пресловутой новой идеологии. Ответ этот, сразу же отметим, резок по форме и негативен по содержанию: никакая спускаемая откуда-то сверху официальная идеология никому не нужна. А

нужна нам, по мысли автора, идеология свободного человека, имеющего возможность реализовывать способности во всех сферах бытия, что стало европейским принципом развития.

Носителем такой естественной, не нуждающейся в дополнительном стимулировании идеологии и должен стать «русский европеец», как некогда назвал сам себя Достоевский. Хотя в наибольшей степени это определение подошло бы, по мнению Кантора, Петру I и им подаренному России Пушкину (по выражению Марины Цветаевой, обладающему пока меньшей европейской популярностью, чем Достоевский), — имеется в виду, что царь сам привез знаменитого Арапа. Призыв Пушкина «не клонить гордой головы» «к ногам народного кумира» превращается в своеобразный полемический нерв книги.

Кантор отвергает упреки Петру, что тот нарушил эволюционный путь развития страны, осуществлявшийся посредством медленных реформ его предшественниками. По мнению автора, если бы не ускоренная петровская европеизация, страну бы ждали внутренний распад и внешнее завоевание. Примечательно, что ниспровергающие Петра славянофилы апеллируют не к разуму, а к мистическим чувствам. Собственно, сам этот феномен, «русский европеец», и есть объединительный «третий путь» в извечном русском споре западников и славянофилов.

Полемизируя с мнением Александра Зиновьева, что место Европы уже занято самой Европой, Кантор ссылается на Владимира Соловьева: «Европеец — это понятие с определенным содержанием и с расширяющимся объемом». Впрочем, получается, не только с расширяющимся. Европа тоже знала «вертикальное вторжение варварства» (Ортега-и-Гассет), ее проблема в том, что она сама еще не вполне Европа. Поэтому «бегущим отсюда можно сказать, что одичавшая, раздираемая на части национальными и региональными амбициями Россия достигнет своих блудных сынов распадом АЭС или ядерным ударом в любой точке земного шара, что единственная альтернатива мировому катаклизму — идеология русского европеизма. Та идеология, что позволяет критически смотреть и на Россию, и на Запад, ибо эти две части Европы — родные для русского европейца, а потому он имеет право желать их улучшения».

Становление личности — процесс по сути своей революционный и болезненный, особенно в ситуации, когда рушится империя, не дождавшаяся нового Петра. Ведь большевистский эксперимент в целом

оказался антиевропейской авантюрой, искажившей само европейское понятие (по мнению Кантора, революция — это реформы Петра, а 1917 год, тем более сталинские чистки «под пахана», — это контрреволюция). В авантюризме этом для Кантора едины что Сталин, что Горбачев. «Самоубийственная политика идеологов горбачевского политбюро в известном смысле была прямым продолжением политики Сталина по русификации идеологии... Социальные и экономические причины якобы прозападной ориентации горбачевского правительства хорошо известны. За новую технологию надо было платить. Решили заплатить тем, что им самим мешало: остатками марксизма, который по самой сути своей был чужд партократическому паразитическому типу жизни. То есть хотели в очередной раз обмануть Запад. Вы нам технологию, а мы за это выкидываем на свалку давно опстылевший марксизм».

Кантор склонен не то чтобы успокоить общественное сознание в связи с разгулом насилия и террора в посткоммунистической России, но объяснить их принципиально иной, чем ранее, характер. Теперь это *делегитимизированное* и *деидеологизированное* насилие. «Бандитские отряды, хоть и недоступны бессильным правоохранительным органам, но *внезаконны*. Они не являются частью *официальной* государственной машины. Насилие, по удачному выражению Карла Шлёгеля, *приватизировано*». Что ж, может быть, столь жесткая рефлексия и успокоит кого-либо из читателей.

В книгу включена любопытная, ставящая еще не отрефлектированные проблемы философская повесть «Поезд “Кельн — Москва”». Два идейных «челнока» — западник и славянофил — ведут философские диалоги в обществе стихийных западников с тюками промтоваров (и порой с лицами кавказской национальности). Как и любой из подобных диалогов, начиная с самих платоновских, по форме это в известном смысле игра в поддавки. Но почему-то без ответа остается призыв нечистоплотного оппонента лирического героя крепить российско-европейское единство в противовес Америке (хотя сам этот оппонент видит сейчас единственный выход для славян в том, чтобы прикинуться идиотами, как солдат Швейк). В самом деле, если Европа еще не совсем Европа, то насколько Европа то, что еще западней самой Европы?

Проблемы бытия решаются в повести на фоне текущих бытовых проблем мздоимства проводников (вплоть до указания

сумм взятки за провоз багажа) и таможенников (с особым предостережением насчет аппетита польской таможи), оживляемых забавным парадетективным сюжетом перепрыгивания денег нового философического Швейка. Что и придает книге в целом характер практического переводителя по текущей российской европеизации.

Александр ЛЮСЫЙ

## История любви

●  
**Виктор Топоров. ДВОЙНОЕ ДНО. ПРИЗНАНИЯ СКАНДАЛИСТА.** М., «Захаров-АСТ», 1999.

●  
 Имя петербургского критика, публициста, поэта-переводчика и в первую очередь профессионального *скандалиста* Виктора Топорова известно и в северной столице, и в Москве, правда, лишь внутри литературно-политической тусовки. Видимо, в расчете на эту скандальную славу в узком кругу издатель Захаров выпустил книгу мемуаров Топорова большим по нынешним временам тиражом (6000 экземпляров).

Стоит ли ее покупать и читать? Попряд, может быть, и не стоит: если вы не узкий профессионал, едва ли вас заинтересуют подробности борьбы В. Топорова за вступление в Союз советских писателей. Не знаешь, чему больше поражаться, — страсти, с которой преуспевающий поэт-переводчик чаял некогда документально подтвердить своей *советскости*, или необъективности собратьев по перу, отказывавших ему в этом праве. Как ни относиться к его переводам, они были в среднем не хуже минимального «совпи-совского» уровня. Другое дело, что, как многие поэты-переводчики (в том числе и выдающиеся), Топоров не находил в рамках профессии выхода своим творческим амбициям и общественному темпераменту. В годы перестройки он выступил как публицист (дебютом, помнится, был страстный протест против повышения демократическим Ленсоветом цен на водку) и в то же время пытался стать «вдохновителем и организатором» петербургской поэтической жизни. («Когда смело всю советскую мишуру... свято место осталось пусто — и его следовало оставить пустым! Потому что место это, разумеется, не свя-

то, а проклято». Чистейшая правда! Однако в начале 1990-х Топоров изо всех сил стремился именно это место занять.)

Содержание книги — история нежной и самоотверженной любви автора к себе. Настоялькой нежной и самоотверженной, что она временами остается без взаимности. Топоров любит себя, переводящего Гёльдерлина и попадающего по пьянке в участок, ругающегося с коллегами и подающего советы царям (шутка сказать, с Горбачевым пил, «и не минеральную воду»). Он восторженно цитирует свои старые остроты и эпиграммы (образчик юмора: «Григорьев и жена его — великолепный брак: поддельная Панаева и подлинный дурак»). Дружеская шутка в адрес ближайшего соратника). И в то же время он одержим мучительными комплексами. Через всю книгу проходит мотив *карликового роста* рассказчика. Он снова и снова подчеркивает, что ни на что не претендует как поэт и притом снова и снова цитирует свои стихи. Он одержим своим еврейством и не любит всех остальных евреев. Он сотрудничает в газете «Завтра», слова «демократ» и «либерал» употребляет только в самом бранном контексте — и жалеет, что в такой стране, как Россия, нельзя голосовать за людей вроде Явлинского. В общем, сложная личность, противоречивая, как изобретенный им, по собственным словам, напиток — кофе с водкой.

Других людей в книге, можно сказать, нет. Не то чтобы вовсе нет, но характеристики их грешат известным однообразием: «"крестный отец" (ленинградских переводчиков.— В. Ш.) Корнеев», «непоправимо глупый Яков Гордин», наконец, Борис Стругацкий — «брат фантаста, печатавшегося под псевдонимом "Аркадий и Борис Стругацкие"». Все это (и злее) уже было в топовских статьях. Ни одного живого лица, ни одного яркого портрета. «Никто мне никогда — кроме самого себя — не был по-настоящему интересен. Многого из того, что мне говорилось, я просто не запомнил — я не слушал».

Из вышесказанного можно было бы сделать вывод, что книга Топорова — всего лишь психологический документ. Но наряду с этим в «Двойном дне» есть любопытные (жаль, немногочисленные) страницы, посвященные родословной автора, его матери, выдающемуся адвокату Зое Топоровой. Есть забавные (и омерзительные) эпизоды литературного быта. Мир взаимного подсидывания и сплетен, борьбы без правил за выгодный договор и т. д. хорошо знаком автору и описан смачно. Любые эстетические и политические расхождения Топоров — вольно или невольно — сводит на этот, кухонный уровень.

Маститый переводчик распустил слух о смертельной болезни коллеги, чтобы перебить денежную работу; известная политическая деятельница проломила череп любовнице мужа... Что дальше? «Я редуционист — и многое в мире воспринимаю упрощенно». Точнее, уплощено. Впрочем, это свойственно и переводам Топорова — огрублять оригинал, «снижать» его на один-два регистра. Мир, в который попадает читатель его статей и его мемуаров, так же одномерен, лишен высоты и глубины. В нем нет ничего серьезней Союза писателей и Государственной Думы.

Рассказчик в этом мире — шут, человек, которому негласной конвенцией позволено хамить и бить стекла (и который при этом ощущает себя не то Чацким, не то Манфредом). Петербургский либеральный литературный бомонд, как вся-

кое сообщество зависимых друг от друга и ненавидящих друг друга людей, нуждается в «злой собаке», которая сегодня укусит Петрова, а завтра, к радости Петрова, — Сидорова. Московским изданиям приятно получать из первых уст информацию об убожестве петербургской литературной жизни. Газете «Завтра» очень кстати человек, декларирующий свое еврейство и при этом разоблачающий литературный кагал, — такие всегда были в цене... Топоров — слепок с современной литературной тусовки, как бы они субъективно друг к другу ни относились. А противоречие между байроническим самоощущением автора и его действительной литературно-общественной ролью способно доставить читателю книги особое, тонкое наслаждение.

Валерий ШУБИНСКИЙ

## Глубокая тахизма

(КОМПОЗИЦИЯ НОМЕР РАЗ)

В чудесных воспоминаниях писателя Льва Гумилевского, искренне озаглавленных «Судьба и жизнь», что звучит нынче несколько пародийно, есть эпизод (привожу его по памяти, может, что-то на ходу и домыслив). Идет Гумилевский мимо то ли магазина, то ли лавочки и видит обширную, выведенную красивыми буквами вывеску «Метизы». Как? Что? Ничего не понять, но любопытно. Входит. Вокруг кастрюли, котелки, сковородки. Всего довольно. Но никаких метизов. Зато продавец на месте.

— Чем могу служить?

— А покажи-ка мне, братец, эти самые метизы. В жизни не видел.

— Да вот же они, — говорит продавец и широко разводит руки.

— Это — метизы? — удивляется Гумилевский.

— А что же еще? — в свою очередь удивляется продавец.

— Да это ж кастрюли! — негодует точный на слово писатель.

— Ошибаетесь, гражданин, это — метизы, — поправляет его вежливый продавец. Немая сцена, во время которой каждый вслух характеризует собеседника, и характеризует не слишком лестно.

А на самом деле в основе этого выразительного эпизода лежит обычное недоразумение.

Чего никак не могли простить большевикам (пусть Кремлевская стена будет им пухом!), так сказать, мыслящие граждане — это не репрессий, у нас народу-то целый Китай, а поиздержались — доблестные наши бабы враз нарожают. И не голод — голодать со своей страной — все равно что с чужой обедать. И не унижения — перед другим распластаться, над собой воспарить. А вот что, подлецы, с русским языком учинили!..

Был великий, даже могучий, единый и неделимый, крепостью напоминавший французский, выразительностью японский, емкостью древнеегипетский, и притом родной, трехцветный, великодержавный. А теперь? Не язык, сплошное лаянье. Где обстоятельность, где плавность? Одни аббревиатуры, впору к любому выражению прикладывать словарь Даля под редакцией Бодуэна де Куртенэ, чтобы, вооружившись пятым томом, переводить сказанное на исконный русский язык. Ведь нет бы произнести как люди: Общество содействия авиационно-химическому строительству. Так — Авиаким! Что бы стоило гордо вымолвить: Российская Советская (да пусть хоть советская!) Федеративная Социалистическая Республика. Посильнее Российской Империи будет. Так они пробормочут: РСФСР. Или почему бы не заявить веско: Комитет государственной безопасности, ведь в каждой стране есть свой комитет, отвечающий за свою государственную безопасность, это ж аксиома, основа государственности. Комитет! Звучит? А они выдумали КГБ, и всю торжественность словно рукой сняло.

За что боролось? За что не ели и снашивали последние подтяжки? За что глотали при обысках бриллианты и скрывали социальное происхождение? Однако было мыслящим гражданам невдомек, что причиной тому не особая подлость, не желание кого-либо унижить. Победители социальной битвы и хотели бы говорить, да не умели. Речевой аппарат badly плох. Обезьяна куда похожа на человека, едва отличишь, а ведь не говорит, верещит гортанно, а медуза и вообще молчит. Сколько времени должно пройти, чтобы какая ни то амеба, все возвышаясь и возвышаясь на черной лестнице эволюции, миновала стадию миноги (у той и не рот, а присоска, и сама она не рыба, а червь) и вот, отринувши немоту, рожденную происхождением, добралась хотя бы до уровня птицы. Щebetать, шелкать, курлыкать.

Вновь история повторяется. Без единого выстрела взяты и Зимний, и Летний, и телеграф, и телефонные станции (тут же взлетели тарифы на переговоры), взяты телевидение, радио, типографии и редакционно-издательские комплексы. Новая власть, пытаясь наладить отношения с рабоче-крестьянскими массами, студентами и прочими мелкими гражданами, старается убедить, что пришла она надолго, расстреливать никого особенно не собирается, а сама она, гуманная и просвещенная, выпускает листовки, рекламные проспекты и даже книги.

В листовках предлагается голосовать за того, кого надо, а не за того, за кого не следует. В рекламных проспектах испуганных обывателей убеждают покупать исконно русскую одежду — дубленки от сорока до сорока тысяч долларов за штуку (ночью дешевле, а в темном перулке и совсем даром). А в книгах эта власть, как и всякая, хочет представить прошедшую историю на собственный лад, выделив важное, а неважное опустив. Поскольку же своя история еще не написана, в ходу сочинения переводные, но пригодные к моменту.

Вот один из образцов такого агитационно-революционного искусства — «Полная хронология XX века» («Вече», «АСТ», М., 1999). Не беда, что хронология, переведенная с английского языка, доходит лишь до 1995 года, зато она «полная» и уделено в ней место как событиям историческим, так и событиям из области культурной.

Стоит открыть припухлый том, и узнаешь, что были на свете писатель Фрэнк Уэдекиннд, скульптор Антуан Певзнер, кинорежиссер Йозеф фон Штернберг и культуролог Д. Б. Хьюзинга. Также любопытно прочитать, что Анри Бергсон создал некое сочинение под названием «Со смехом», Осип Мандельштам накатал книгу «Камни», Джеймс Джойс изобразил «Портрет художника как молодого человека», а Д. К. Честертон сочинил роман «Человек, который был в четверг» (хорошо хоть пришел, а то всю неделю плохая погода, то дождь, то снег).

Кроме литераторов поработали и художники: Владимир Татлин изваял «Контррельеф в углу», Эрнст Кирхнер нарисовал картину «Обнаженная женщина, сидящая в позе со скрещенными ногами» (!) То же, что вышло из-под дрожащей (что поделать — дропинг!) руки Джексона Поллока, называется просто: «Композиция № 1 (тахизма)».

Механизм выработывания нового языка легко уразуметь по тому, как писатель Саки в переводе превращается в Сейки (вероятно, по аналогии с японской фирмой). Так и сказано: «Умер Сейки». Значит, стоп, машина, оттикала.

Разумеется, можно было бы эти недоразумения и ошибки переложить на совесть переводчика. Руководствуясь революционной целесообразностью, приставить его спиной к переведенной им хронологии и вынести ему из верного винта десять лет без права переписки. Можно, но нельзя. Ведь переводчика нет как нет. То бишь он, разумеется, где-то присутствует, есть у него и паспорт, и кредитные хлебные карточки, да вот нет его самого. Нет ни редактора, ни выпускающего, ни корректоров. А коли есть, что же, всех под общую гребенку? Групповое изнасилование подстрочника? Невозможно. Всех не перестреляешь. Ведь бедность. Тех же патронов мало-мало полный магазин потребует. Этак по миру пойдешь. Лучше сказать: их нет. Нет никого, кроме языковой данности, плохо налаженной конструкции нового языка.

И все повторяется в этом мире. Постепенно войдут в оборот и будут усвоены и Фрэнк Уэдекиннд, и Д. Б. Хьюзинга, точно так же, как вошли в оборот заимствованные из иностранных языков социализм, броневик, Разлив. Социализм сделался развитым, Разлив утратил прописную букву и взамен приобрел предлог, теперь самое исконное слово — в разлив, а уж броневик... Более того, они постепенно ассимилируются. Новые хозяева жизни выгонят старых хозяев из ниш Кремлевской стены (еще бы, жилплощадь в пределах Садового кольца!), займут места, нагретые урнами с их прахом, и теперь стена станет пухом для них.

Будет все. Только не сейчас, чуть-чуть потом. А пока будет сплошная глубокая тахизма. О птичий язык очередной социальной революции!

*ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ*

### ***Краткий толковый словарь для бывших людей, живущих в новую эпоху***

Ведекиннд Франк (1864—1918), немецкий драматург и писатель. Прославился дилогией, состоящей из пьес «Дух земли» (1895) и «Ящик Пандоры» (пост. 1901, изд. 1904).

Бергсон Анри (1859—1941), французский философ, разработавший проблемы интуитивизма и философии жизни. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927), автор работ «Смех» (1899—1900), «Творческая эволюция» (1907) и др.

Джойс Джеймс (1882—1941), ирландский писатель. Его перу принадлежат сборник рассказов «Дублинцы» (1914), романы «Портрет художника в юности» (1917) и «Улисс» (1922).

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938), русский поэт, автор нескольких книг, в том числе сборника стихотворений «Камень» (1913).

Певзнер Антон (Нота, Натан) Абрамович (Беркович) (1884—1962), скульптор и живописец, по происхождению россиянин. Жил как в России, так и за границей. В 1923 году покинул родину навсегда.

Поллок Джексон (1912—1956), американский живописец. Испробовал разные жанры, в том числе тахизм (от фр. *tache* — пятно). Много внимания уделял технике живописной работы, в частности, применял дропинг (англ. *dripping* — капание) — особый способ нанесения краски.

Саки (Гектор Хью Манро) (1870—1915), английский прозаик, автор детективных и фантастических произведений.

Татлин Владимир Евграфович (1885—1953), русский художник и скульптор, авангардист, конструктивист. Автор знаменитого памятника III Коммунистическому Интернационалу (1919—1920), с 1914 года создавал также особого рода конструкции — угловые контррельефы.

Хёйзинга Йохан (1872—1945), нидерландский историк и философ. Самые известные работы «Осень Средневековья» (1919) и «Ното ludens» (1938) посвящены философии культуры.

Честертон Гилберт Кит (1874—1936), английский писатель и мыслитель. Среди его многочисленных произведений наиболее известны сборники рассказов о детективе отце Брауне (1911—1935) и роман «Человек, который был Четвергом» (1908).

Штернберг Джозеф фон (1894—1969), американский кинорежиссер, по происхождению австриец. Снял фильмы «Подполье» (1927), «Голубой ангел» (1930), «Шанхайский экспресс» (1932) и др.

## Массовая и элитарная

**П**онятие «массовая культура» — одно из самых загадочных: им все пользуются, но большинство людей окажутся в тупике, если их попросят дать определение. Или хотя бы объяснить, что они имеют в виду, произнося эти слова. Между тем в русском языке к словам, производным от слова «масса», есть какое-то народное недоверие. Видимо, потому, что народ очень не любит, когда его называют массой.

Мы бы хотели поговорить о массовой культуре, о ее понятиях, которые порой возникают раньше, чем предмет этой культуры.

Рубрика «Актуальная культура» будет включать в себя все то, что взаимодействует с обществом здесь и теперь. Не обязательно созданное здесь и теперь, но обязательно взаимодействующее сейчас.

Унылые завывания о засилье массовой культуры так же бессмысленны, как гневные обличения снегу и холоду, а также зиме вообще. Или надо эмигрировать в Сахару (запереться в башне из слоновой кости либо черного дерева), или завести шапку с шубой, а потом пойти в гости по морозной улице (жить и создавать произведения искусства, принимая в расчет существование больших масс людей со схожими вкусами). Иначе говоря — надо понять, что происходит вокруг.

Массовая культура формирует иную, ту, что называют высокой, или лучше — элитарной. Причем по разным оценкам потребителями элитарной культуры в Европе на протяжении нескольких веков остается примерно одна и та же доля населения — что-то около одного процента. Именно массовая культура — индикатор многих сторон жизни общества и одновременно коллективный пропагандист и организатор его, общества, настроений.

Внутри массовой культуры существуют своя иерархия ценностей и иерархия персон. Взвешенная система оценок и, наоборот, скандальные потасовки, драка за место у престола.

Массовая культура — это часть общей культуры, отделенная от элитарной лишь большим количеством потребителей и социальной востребованностью. Эта отделенность не строга, более того, объекты переходят через эту условную границу довольно часто. Все остальные признаки подобного отделения только следуют из количественного фактора.

Музыка Моцарта в зале филармонии остается явлением элитарной культуры, а та же мелодия, отцифрованная в упрощенном варианте, звучащая как сигнал вызова мобильного телефона, — явление культуры массовой.

Есть несколько процессов, которые происходят между массовой и элитарной культурой постоянно.

Первый из них связан с течением времени. Джером Джером в своей книге «Трое в лодке, не считая собаки» писал: «Ведь все теперешние сокровища искусства три-четыре века тому назад были банальными предметами повседневного обихода. Я часто спрашиваю себя, действительно ли красивые старинные суповые тарелки, пивные кружки и щипцы для снятия нагара со свечей, которые мы так высоко ценим, или только ореол древности придает им прелесть в наших глазах. Старинные синие тарелки, украшающие теперь стены наших комнат, несколько столетий тому назад были самой обычной домашней утварью, а розовые пастушки и желтенькие пастушки, которыми с понимающим видом восторгаются все наши знакомые, в восемнадцатом веке скромно стояли на камине, никем не замечаемые, и матери давали их пососать своим плачущим младенцам».

Заурядные произведения массовой литературы восемнадцатого века, вырванные из контекста, превращаются в произведения высокой культуры, будучи правильно введенными в контекст современного сознания. То же происходит и с вполне утилитарными произведениями советского авангарда двадцатых годов.

И второе: во многих школах «Преступление и наказание» подается как детектив — элитарная культура, вернее, ее образы легко превращаются в образы массовой культуры, так происходит с героями классической литературы, становящимися героями самого народного жанра — анекдотов. Так происходит и с литературными сюжетами — например, с историей про то, «как один студент двух бабок замочил».

*Рубрика предполагает публикацию ряда статей, которым можно было бы дать общий заголовок — «Лексикон массовой культуры», и начнем мы с понятия «лексикон».*

### Лексикон

Слов модных полный лексикон.

А. С. Пушкин

Лексикон, словарь — вот то, что объединяет людей и мнения. Более того, именно Лексикон определяет суть высказывания.

Иногда даже понятие «дискурс», то есть, по Ж.-К. Коке, «сцепление структур значения, обладающих собственными правилами комбинации и трансформации»\*, используется не в качестве понятия «стиль», а в качестве понятия «словарь».

Один из самых успешных романов последнего времени называется «Хазарский словарь». Он успешен не только потому, что Милорад Павич предложил новый метод чтения, не только потому, что роман набит под завязку парадоксальными метафорами и оснащен детективной интригой и мистикой. Он популярен еще и потому, что автор угадал тягу современного читателя к словарю.

Словарь есть пересказ окружающего мира, сведение беспорядка и разнообразия к алфавитному порядку. Словарь есть структурирование мира, формализация восприятия.

А именно массовая, но не элитарная культура стремится к формализации отражаемого, упрощению технологии высказывания.

Словарь, устаревшее название которого — Лексикон, создает идеальный способ чтения — постоянное (и бесконечное) перечитывание.

Тот баланс между expected и innovated (ожидаемым и новым), который приносит успех произведениям массовой культуры, в словаре присутствует по определению.

А сама актуальная культура создает собственный Лексикон. Обычные слова становятся архетипическими понятиями в разговоре о массовой культуре. Шпион — совсем не то, что разведчик. Магическое сочетание «виртуальная реальность» объясняет все и в то же время ничего. Деньги в массовой литературе значат совсем не то, что в обыденной жизни. Они превращаются в символ, в двигатель сюжета и вместе с тем становятся все более и более абстрактными.

Круг замыкается. Надо создавать новый словарь.

### Автор

Понятие Автора — одно из ключевых понятий актуальной культуры. Здесь оно означает нечто иное, чем, скажем, «писатель» в традиционном понимании.

В силу того что к массовому искусству причисляют литературу и кинематограф, драматург попадает в эту интуитивно создаваемую обойму, если по его пьесе ставится фильм, причем роль Автора от драматурга, превратившегося в сценариста, переходит к режиссеру. Мало кто знает сценаристов знаменитых «Титаника» и «Терминатора». Зритель массового или — еще интереснее — массово-культурного фильма запоминает актеров и режиссеров. Сценарист буквально остается за кадром.

В литературе ситуация упрощена. Существует Автор книги. Автор массовой книги — это тот, кем эта книга подписана, а вовсе не тот, кем эта книга написана. Еще во времена Дюма обсуждался институт литературных негров. Имена их безвестны. Имена их нанимателей сохранила история литературы.

Автор в массовой литературе — прежде всего торговая марка. Иногда это коллективный псевдоним, что случается сплошь и рядом, а иногда — организатор производства валовой печатной продукции.

Количество названий книг, выпущенных Барбарой Картленд, — несколько сотен, почти тысяча. Именно названий — то есть это разные книги. Другое дело, что это всегда любовные романы, часто с уклоном в историю, однотипные, предсказуемые, дающие читателю вполне предсказуемые ощущения. Но этот коммерческий процесс не может обслуживаться одним человеком, тут требуется аппарат: группа продвижения литературного товара на рынок — система литературных агентов, юристов и т. п.

Требуется и аппарат помощников — секретарей, внутренних редакторов, переписчиков, людей, собирающих информацию в библиотеках и поставляющих тот самый исторический колорит, который в любовных романах выглядит, как пакетик специй, вложенный в однотипные упаковки китайской вермишели. Именно этот пакетик и создает покупательский интерес, отличающий «вермишель с грибами» от «вермишели с курицей».

Так Автор превращается в торговую марку. Потому что на рынок выходит не книга, содержащая на последней странице длинный кастинг (список) производителей, а книга, имеющая на обложке одно имя. В этом смысле «Братья Стругацкие» не два писателя, а один.

\* См.: «Современное зарубежное литературоведение». М., «Интрада», 1996, с. 45.

Понятно, что сотрудники Автора могут не только собирать материалы, вычитывать текст и расфигуривать надиктованные Автором магнитофонные кассеты, но и сами писать фрагменты текста, а то и всю книгу. Этика коммерческих отношений уже снимает пленку унижения с понятия «литературный негр», поденщина становится просто работой.

Конечно, марки бывают разные. Если Автор отвечает за конечный результат — текст, если он относится к нему придирчиво, как Макдоналдс к своей майонезной и булочной продукции, — это одно. Если фабрика поставляет продукт некачественный, если ее руководителя не смущает, что к качественному мясу добавилась кошка, свалившаяся в мясорубку, — тут дело другое. То есть на современном литературном рынке присутствуют как «Запорожцы», так и «мерседесы».

Но в жизни Автора есть и иное обстоятельство.

Происходит настоящая гибель Автора (именно «гибель автора», а не «смерть автора» — не путать с известной статьёй Барта шестьдесят восьмого). По Барту, смерть Автора заключается в том, что текст не имеет единственного автора, состоит из сылок, а авторство коллективно. Действительно, настоящий Автор появился в литературе только в новое время (в средневековой литературе главным автором был Господь Бог), и вот теперь Автора вновь убивают — убивает технология массовой литературы.

Его смерть происходит в тот момент, когда эстетика серии начинает довлеть над коммерческой маркой Автора. В тот момент, когда покупатель, потребитель массовой литературы, делает свой выбор, основываясь на марке серии (издательства), а не Автора.

К примеру, в издательстве «Радуга» уже много лет издается так называемая «белая» (по цвету обложки) серия любовных романов. Она издается совместно с издательством «Арлекин», одним из известнейших в мире. Это бесконечный свод стилистически выдержанных, лишенных брутальности историй любовных отношений героинь англосаксонского типа с героями этнически близкими либо экзотических национальностей. Так вот, в этой серии для читателя абсолютно не важна фамилия Автора, представленная на книжке, а важны логотип издательства и легко узнаваемый стандартный переплет. К тому же каждая книжка серии снабжена номером, и диалог у книжного развала происходит почти как в известном анекдоте об историях по номерам:

— Вам какой номер? Сто тридцать?

— Нет, сто тридцатый у меня уже есть... И сто тридцать первый. Сто тридцать второй, пожалуйста.

Это и есть не философское, а вполне реальное исчезновение Автора, поскольку имена авторов этой серии можно вполне поменять местами. Автором становится издательство.

Есть и следующее обстоятельство.

В массовой культуре псевдоним, как нигде, заменяет реальное имя Автора.

Поэтому Мэрилин Монро — навеки Мэрилин Монро, а не Норма Джин Бейкер Мортенсон, певица Мадонна так и остается для потребителя Мадонной, хотя бы он и знал, что ее зовут Мадонна Луиза Вероника Чиччоне.

В российской массовой литературе псевдоним часто брался Автором из-за того, что сам Автор и его круг воспринимали коммерческий заказ как нечто недостойное и дистанцировались от своего текста придуманным именем. Однако такая дистанцированность проявлялась не только во вторичном имени, но и во вторичном тексте, за который Автор не намеревался отвечать ни перед потомками, ни перед современниками.

Самые известные псевдонимы времени, выбранные совершенно по другим причинам (причинам профессиональной корректности), — Александра Маринина (Алексеева) и Кир Булычёв, а также Всеволодов (Можейко), примеры псевдонимов, превратившихся в нормальные марки.

Но есть еще и пушечное мясо массовой литературы, сбившееся в однородную массу. Интересно, что это не ставит крест на качестве текста в целом. Нам не обязательно, чтобы на одноразовой зажигалке стояло клеймо «Картье», в девяноста девяти случаях из ста важно только то, чтобы она без осечки произвела на свет огонек. Функция валовой, серийной литературы иная, нежели функция авторских марок.

Впрочем, тема функциональности массовой литературы — уже совсем иная история.

Получается, что разговор об авторстве в кинематографе снимается сам собой, — создание фильма и продвижение его на рынок невозможно усилиями одного или нескольких человек. То же касается и шоу-бизнеса. Эту позицию можно оставить без комментариев. Как ни странно, шоу-бизнес — как раз самая хорошо описанная, освещенная прессой и индустриализованная отрасль массовой культуры, даже более, пожалуй, индустриализованная, чем кино.

---

*Читайте в следующем номере*

роман

**АНАТОЛИЯ КИМА**

**«БЛИЗНЕЦ»**

**«Невозможно перечислить все предметы, рукотворные и натуральные, всех людей и животных, птиц, рыб, насекомых, героев книг, в которых внедрялась моя душа по прихоти его фантазии.**

**В особенности стали многочисленными и непоследовательными — по времени и пространству моих воплощений — “командировки” для меня в тот период, когда мой брат-близнец занялся литературным сочинительством. Какими только мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми не побывал я — в большей части почему-то людьми непривлекательными, несчастными, слабодушными. Василий Немирной, этот яркий представитель так называемого русского постсоветского модернизма, не знал, как и всякий безответственный писатель, что своим сочинительством плодит и множит вполне реальных существ, в том числе и человеческих».**

---

**УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**  
**В 2000 году «Октябрь»**  
**предполагает опубликовать:**

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Новый роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга третья.

Владимир КАЧАН. **Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Близнец.** Роман.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Конец Арбата.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

**Стихи.**

Юрий ОЛЕША. **Письма к жене.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Новочеркасские рассказы.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Западный экспресс.** Продолжение книги.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Леонида ФИЛАТОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Подписка принимается во всех отделениях связи по Каталогу «Роспечати». Индекс подписки для Российской Федерации: на полугодие — 73293, на год — 72375, для стран СНГ — 79209. В розницу журнал можно приобрести в следующих магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.